ФАНЯ ПИГОЛИЦЫНА

МЕСТЁРСКИЙ ЛЕТОПИСЕЦ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Герой этой повести, крепостной крестьянин Иван Александрович Голышев (1838–1896), жил в слободе Мстёра Владимирской губернии — центре иконописи и офенства. Потомственный иконописец, он открыл в глухой Мстёре первую сельскую литографию и стал издавать народные картинки (лубок), помогал Н. А. Некрасову распространять через коробейников его знаменитые «красные книжки» для народа. Собрал огромный материал по старинному русскому быту, тщательно его описал, издал одиннадцать альбомов, более тридцати книг и брошюр и опубликовал около 600 статей в газетах, в том числе во «Владимирских губернских ведомостях».

Книга иллюстрирована литографиями И. А. Голышева, звучит в ней и живое голышевское слово: автором использованы его «Воспоминания», статьи, письма.

- Приближение к герою (Вместо предисловия)
- Часть I Истоки 1838-1849
- ГЛАВА 1 Вотчина князей Ромодановских и графов Паниных
- ГЛАВА 2. Корни рода
- ГЛАВА 3 Раскольничья Мстёра
- ГЛАВА 4 Мертвое время
- ГЛАВА 5 Холуйская ярмарка
- ГЛАВА 6. На пороге новой жизни
- Часть II Московские университеты 1849–1858
- ГЛАВА 1 В Строгановской школе
- ГЛАВА 2 В людях
- ГЛАВА 3 Юный литограф
- Часть III Возвращение на родину 1859–1861
- ГЛАВА 1 Свадебные звоны
- ГЛАВА 2 Открытие литографии
- ГЛАВА 3 Лубочные картинки
- ГЛАВА 4 День офеней
- ГЛАВА 5 Член губернского статистического комитета
- Часть IV После реформы 1861–1868
- ГЛАВА 1 Царская «свобода»
- ГЛАВА 2 Приезд Некрасова
- ГЛАВА 3 Меценат, учитель, корреспондент
- ГЛАВА 4 Несбывшиеся надежды
- ГЛАВА 5 Начало Голышевки,
- ГЛАВА 6 Трагический циркуляр
- ЧАСТЬ 4. От гадальных книжек до научных монографий

- ГЛАВА 1 Первая монография
- ГЛАВА 2 Серапионова пустынь
- ГЛАВА 3 Делегат первого археологического съезда
- ГЛАВА 4 Переезд в новый дом
- ГЛАВА 5 «Древности Богоявленской церкви»
- ГЛАВА 6 Горестный и счастливый 1871 год
- ГЛАВА 7 Старинные пряничные доски
- ГЛАВА 8 «Памятники старинной русской резьбы по дереву»
- ГЛАВА 9 «Памятники деревянных церковных сооружений»
- ЧАСТЬ 5 Осознание своего пути 1878–1896
- ГЛАВА 1 «Воспоминания»
- ГЛАВА 2 Потеря друга
- ГЛАВА 3 «Альбом русских древностей»
- ГЛАВА 4 «Памятники русской старины»
- ГЛАВА 5 Суздальское торжество
- ГЛАВА 6 Последние издания
- ИЛЛЮСТРАЦИИ

Приближение к герою (Вместо предисловия)

Герою этой повести, Ивану Александровичу Голышеву, крепостному крестьянину графа Панина из мстёрского имения Владимирской губернии, писали графы и бароны. Императоры и наследники царской власти слали ему в далекую Мстёру драгоценные подарки и благодарность за его альбомы о русской старине.

Два класса церковно-приходской школы да неполных три курса Строгановской московской рисовальной школы — вот и все его образование. Но природный талант, неустанный труд, самообразование позволили Голышеву войти в круг больших ученых, которые с интересом заслушивали на своих заседаниях его доклады о мстёрской иконописи, лубке и офенстве (коробейничестве).

Потомственный иконописец, Иван Голышев в подростковом возрасте самостоятельно изучил в Москве литографское дело, открыл во Мстёре первую в России сельскую литографию и стал печатать лубочные народные картинки, которые офени-коробейники разносили по всей России.

Прослышав про необычного крепостного, приехал к Голышеву во Мстёру Н. А. Некрасов и через него потом распространял свои знаменитые «красные книжки» для народа.

Оставил нам Голышев в наследство одиннадцать альбомов со своими литографиями. На них изображены предметы старины, старинные пряники, рисунки исчезнувших теперь деревянных церквушек, древние поминальники — синодики.

Альбомы его, книги и брошюры хранятся сейчас, как редкие издания, в Музее книги Библиотеки им. В. И. Ленина в Москве.

Лубочные картинки — в главных культурнь х хранилищах страны: в Русском музее и в Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина — в Ленинграде; в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и в Историческом музее — в Москве.

Когда И. А. Голышеву было всего лишь сорок лет, Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона посвятил ему более семидесяти строк.

В советское время его имя, полузабытое и даже оклеветанное, выпало из энциклопедических словарей, произведения не переиздавались.

Сейчас интерес к наследию И. А. Голышева возрос: в разных центральных изданиях появились статьи о нем, исследования по

голышевскому лубку.

Предлагаемая книга — первое, обобщающего типа, жизнеописание этого замечательного представителя русской крестьянской интеллигенции XIX века.

Работая во владимирском, московских и ленинградских архивах, изучив огромную переписку Голышева, более тридцати изданных им книг и брошюр, около шестисот статей во «Владимирских губернских ведомостях» и центральной периодической печати, я была поражена тем, какой интереснейший материал по нашему русскому старинному быту собрал этот неутомимый археолог, систематизировал и описал, как прилежный летописец. Это и позвало меня писать книгу не научную, а — повествовательную, чтобы показать ту прелюбопытнейшую бытовую и социальную атмосферу, в которой складывался характер этого самобытного человека, в которой он жил, страдал и творил; чтобы привлечь внимание к наследию и судьбе этого замечательного человека.

Иван Александрович Голышев

Часть I Истоки 1838-1849

С 1825 года в России началось царствование Николая I. Новому императору было двадцать девять лет. Уже восемь из них он был женат на дочери прусского короля, принцессе Шарлотте, которая, став православной, приняла имя княгини Александры Федоровны. Появился и наследник.

Молодой царь получил общую программу царствования от известного историка Николая Михайловича Карамзина. Программа так Николаю понравилась, что он готов был озолотить своего советника, снарядил фрегат, чтобы везти заболевшего Карамзина в Италию. Путешествие не состоялось, так как Карамзин вскоре умер. Тогда император перенес свое благоволение на семью ученого, назначив ей пенсию в пятьдесят тысяч рублей.

Намерения Николая I были «преобразовательные», и выступление декабристов оскорбило его. Возмущенный, он лично вел допросы восставших. Высказываемые на них мысли декабристов заинтересовали Николая, он дал указание делопроизводителю следственной комиссии Боров-кову составить особую записку по мнениям декабристов о государственном устройстве. Выводы этой записки говорили, что необходимо «даровать ясные,»положительные законы», «водворить правосудие», «возвысить нравственное образование», «направить просвещение юношества…».

Однако из этих заключений император сделал своеобразный вывод. Он посчитал, что каждому сословию нужно лишь такое, ограниченное, образование, при котором у людей не возникало бы желания переходить в другое, выше стоящее сословие. Просвещение же крестьян он хотел ограничить особым указом. Однако его убедили, что такой шаг не будет понят в Европе и подорвет авторитет России. Тогда Николай послал специальный «рескрипт» министру народного просвещения Шишкову, по которому было реорганизовано первоначальное образование. Раньше уездное училище было как бы первой ступенью к гимназии, теперь же преемственность нарушалась. Для каждого сословия предназначалось законченное низшее образование: гимназия — только для дворян и чиновничества, уездное училище — для мещан, купцов и дворян, а для крестьян — церковно-приходские школы.

Июльская революция 1830 года изгнала из Франции друга Николая I — Карла X. Крушение Нидерландской монархии, где королевой была сестра Николая Анна Павловна, окончательно

настроило Николая на террор. В день своего тридцатилетия он издал указ о создании специального корпуса жандармов. И если брат его, Александр I, поделил Россию на учебные округа, Николай 1 поделил ее на округа жандармские, повелел устроить на дорогах заставы, чтобы ловить убегающих от помещиков крестьян и всех вольно шатающихся.

Наступило, по словам современников, «глухое», «мертвое» время в России, когда подавлялось малейшее свободомыслие, попиралось элементарное человеческое достоинство, воспитывался «зажатый человек николаевской эпохи», эпохи».

ГЛАВА 1 Вотчина князей Ромодановских и графов Паниных

Родился и прожил большую часть жизни Иван Александрович Голышев во Мстё-ре Владимирской губернии, той самой Мстёре, которая ныне славится на весь мир своими лаковой миниатюры шкатулками. Местечко живописное, древнее, с богатой историей.

Слово Мстёра — угро-финское, осталось от живших в этих местах угро-финских племен и означает — «топкое, низменное».

Входило триста лет назад это местечко во владения князей Стародубских, а при Петре I за «особое усердие в службе» было пожаловано князю Федору Юрьевичу Ромодановскому.

«Служба» его проходила в потешной компании Петра, где князь шутливо числился генералиссимусом и королем Пресбургским. Когда царь уезжал, Ромодановский становился главою кабинета, председателем Думы.

Любитель розыгрышей, он держал дома медведя, которого научил подносить гостям большую чарку крепкой перцовки. Если гость пугался или отказывался пить, медведь хватал его за одежду, срывал шляпу и парик.

На одной из шутливых петровских свадеб Ромодановский запряг медведей в упряжку, сам сел в сани, а пятого медведя пристроил сзади, в качестве лакея.

Но не только веселыми и пьяными потехами запомнился современникам князь Федор Юрьевич Ромодановский, а и кровавым тиранством. Во время стрелецкого бунта он лично ловил, пытал и казнил восставших. Сам Петр I назвал его как-то зверем, а историк Ключевский — «министром кнута и пыточного застенка».

Ромодановские построили в этом болотистом глухом местечке Суздальского уезда на берегу реки Мстёры два монастыря — мужской и «девичий». Вокруг этих монастырей, на погосте, прозванном в честь монастырского храма Богоявленским, и зачиналась будущая Мстёра.

Пахотной земли вокруг было немного, да и она оказалась плоха для хлебопашества — поселившиеся от него отказались. Крестьяне платили князьям оброк, зарабатывая одни — кузнечным делом, другие — рыбной ловлей. Речек и озер вокруг было предостаточно, а в версте текла многоводная река Клязьма. Кто-то работал мельником на княжеской мельнице, кто-то освоил гончарное ремесло. Так что стал называться погост, из-за разнообразия развившихся ремесел, слободой Богоявленской.

После смерти кровавого «генералиссимуса» Богоявленская слобода перешла к его сыну, Ивану Федоровичу, который унаследовал и «шутовской колпак» отца. Потешая Петра на карнавале в честь Ништадтского мира, он плыл в большой лодке с медвежьими чучелами. В делах он был так же сумасброден и кровожаден, как отец.

Другой Ромодановский командовал на польской границе стрелецким полком. Однажды стрельцы пожаловались ему, что голодают и так поизносились, что мерзнут и вынуждены ходить по миру, просить одежду и еду. Князь посчитал жалобу бунтом, приказал окружить стрельцов, бить батогами и рубить.

Еще один Ромодановский остался в документах своей эпохи как взяточник и участник жестокого подавления крестьянского восстания 1648 года в Устюге.

Можно представить, как жилось крепостным под таким игом.

Богоявленская слобода стала и «местом успокоения» всех Ромодановских. Почти полтора десятка гробниц их стояло во мстёрском Богоявленском соборе, ими построенном. А над ними, как икона, висел портрет князя-кесаря, «потешного генералиссимуса» Федора Юрьевича Ромодановского. Народ считал гробницы чудодейственными, полагая, что лежат там нетленные мощи князей. Когда от сырости в храме на гробницах выступала влага, крестьяне собирали ее и мазали ею больные места.:

Мстёра стояла на «втором великом водном пути» с Востока, который шел через Каспийское море, по Волге, Оке, Клязьме и Москва-реке. Именно это и определило образ жизни мстерян. Большинство их стало или ремесленниками, производящими то, что можно продать, или торговцами. Еще в XVII веке в Богоявленской слободе на сто шестьдесят дворов было пятьдесят семь лавок, то есть почти треть домохозяев была торговцами. А к моменту рождения Ивана Голышева слобода называлась уже Мстёрой и была большим торговым селом.

Потом слободой владели графы Головкины, Панины, Тутолмины и опять — Панины. Генерал-майор Иван Васильевич Тутолмин был московским губернатором, а под старость — начальником московского воспитательного дома. Мстёра перешла к нему как приданое невесты Софьи Петровны Паниной, однако с оговоркой, что после его смерти имение снова вернется к Паниным.

Генерал умер раньше своей жены, а Софья Петровна перед смертью завещала Мстёру племяннику Виктору Никитичу Панину, внучатому племяннику воспитателя Павла I, Никиты Ивановича Панина.

Отцом Виктора Никитича Панина был известный в свое время дипломат, а матерью — урожденная графиня Орлова.

Хозяева Мстёры менялись, но по-прежнему из слободы шли в первопрестольную или в Петербург, где жили графы, обозы с луком, рыбой и садовой ягодой, на графской конюшне секли провинившихся, крестьяне платили оброк и искали способ прокормить семью.

В монастырях Суздальского уезда издавна процветало иконное дело, и основным занятием мстерян еще в XVII веке стало иконописание, уже тогда этот промысел во Мстёре был наследственным.

Иконописание сделало эти места центром любопытнейшего явления русской истории — офенства, бродячей торговли. Несколько сот подвод с дешевыми иконами вывозили ежегодно из Мстёры гуртовые торговцы-офени, и сотнями разносили в коробах и мешках офени-ходебщики, коробейники. И в середине XIX века всех мстерян можно было поделить на иконописцев и торговцев. Из торговцев большинство уходило осенью по первопутку во все концы России, а часть торговала в лавках самой Мстёры и на ярмарках — Холуйской, Вязниковской и Нижегородской.

А еще мстеряне кормились садами и огородами, особенно — огородами, для которых тут была подходящая почва. И во Мстёре было принято выбирать жену «не в хороводе, а в огороде».

Слобода вольготно раскинулась на пологом склоне к реке Мстёре. За рекой на версту до Клязьмы тянулись пойменные луга. А за Клязьмой и вокруг слободы синели сосновые боры.

Расстроилась Мстёра вокруг двух каменных храмов — Богоявленского собора XVII века и церкви Иоанна Милостивого, более позднего времени.

Семнадцать довольно плотно застроенных деревянных улиц Мстёры в 1832 и 1833 годах почти полностью выгорели. Невредимыми остались только каменные церкви да стены двух десятков каменных домов.

Во Мстёре застучали топоры. Новые дома строили на манер городских, с мезонинами, часто в два этажа, так что вся слобода вскоре светилась свежими срубами и пахла сосновой стружкой.

Центром ее как была до пожара, так и осталась торговая площадь возле Богоявленского храма. Тут стояли два каменных корпуса торговых рядов со складами и 72 лавками, да еще двадцать лавок, деревянных, пристроились рядышком.

На площадь смотрели окна двухэтажного каменного здания, в котором размещалось сельское управление: бурмистр (после крестьянской реформы — старшина), его помощники по сбору податей, писец, блюстители порядка. В этом же здании было

церковно-приходское училище.

В слободе было несколько иконных мастерских, мастерских по прокату фольги для икон, кожевенный, кар-тофеле-паточный, поташный и кирпичный заводы, несколько фабрик — две мыльных, полотняная, миткалевая. На реке Таре, огибающей Мстёру с юга, стояло несколько мельниц.

Проживало во Мстёре четыре с половиной сотни икон-ников, пятьдесят сапожников, по два с половиной десятка кузнецов и чеканщиков.

На 350 дворов приходилось 70 лошадей, две с половиной сотни коров и несколько десятков овец, коз и свиней.

Мстёра была подлинно русским уголком. Православные мстеряне аккуратно ходили в церковь, проводили в год четыре крестовых хода. Но Мстёра наполовину была раскольничьей, и в слободе было семь кладбищ, ибо каждая раскольничья секта хоронила умерших отдельно, на своем кладбище.

По субботам и в храмовые дни в слободе устраивались ярмарки. На пристани летом шла бойкая торговля привозимыми с низовых губерний хлебом и рыбой: севрюгой, сазанами, судаками, которые мстеряне закупали большими партиями, а потом развозили, торгуя, по всей округе. Таких торговцев прозвали тут «сазанниками».

Торговцы низовых губерний возвращались домой не порожними, нагружаясь местным строевым лесом, дровами, луком, телегами и прочей деревянной утварью.

На центральной, широкой, в два порядка, Большой Миллионной улице жили в основном «первостатейные», слободчане побогаче. По ней же проходил, с юга на север, Шуйский тракт, с довольно бойким движением.

Проезжие останавливались отдохнуть или поменять лошадей на постоялом дворе Паниловых. Двухэтажный (низ — каменный, верх — деревянный) дом их, с большим двором и конюшнями, стоял на Нижней улице, рядом с Базарной площадью.

От Большой Миллионной высоко в гору поднимались улицы Кузнечная, Вязовая, Успенская, Никольская…

Параллельно Миллионной, чуть выше, шла Сотельная, на которой жил люд победнее, а дома тут стоили не более сотни.

На Вшивой горке жили тягловые крестьяне, а в грязных и запутанных Собачьих переулках — беднота.

Но в целом, как писал потом сам Голышев, мстеряне умели «нажить деньгу», но также они умели и прожить ее разом на пирушке, когда «последняя копейка ребром». Для этого в слободе было два питейных дома, трактир, ренсковый погреб и еще несколько мелких питейных лавочек.

ГЛАВА 2. Корни рода

Итак, Голышевы были крепостными. Однако род их старинный и не раз упоминается в древних актах.

В церковных метрических книгах середины прошлого столетия большинство крестьян, не только крепостных, а и казенных, фамилий еще не имели, писались: Иван Петров, отец коего, значит, Петр, Тимофей Кузьмин, Ксения Игнатьева… То есть это еще не фамилии, а то, что стало теперь отчеством. Не было фамилий и у большинства крестьян крепостной Мстёры.

Голышевы же несли свою фамилию из XVII века. В «переписных Владимирских книгах» 1646 года упоминается сторож при одной владимирской церкви «Олешка Емельянов сын Голышев с сыном Гришкою». Неизвестно, приглашены ли были Голышевы во Владимир, учились ли там иконописному мастерству или просто жили. Но в XVIII веке они уже во Мстёре и числятся иконописцами.

Князья Ромодановские, владевшие в то время Мстёрой, выписывали мстёрских иконников к себе в Москву. Среди таких выписанных иконников числится и Голышев. Значит, тогда уже Голышевы были неплохими иконописцами.

В документах XVIII века эта фамилия упоминается довольно часто. В 1732 году Иван Семенов Голышев был отпущен, от февраля до ноября, в «разные города и уезд-ды» «для прокормления иконописным… ремеслом». В последующие годы иконники Голышева ходили «с промен-ными иконами» до Сызрани и Самары, в Коломенский и Московский уезды и туда, где им «прилучитца». С «промен-ными» — значит, с написанными дома иконами, которые они выменивали на старые иконы или другие старинные вещи. Там же, «в ходьбе», они писали иконы и по заказам, а также «поправляли» поврежденные, то есть чинили.

Дед нашего героя Козьма Иванович Голышев числился одним из лучших мастеров иконописи и особенно был мастер по финифти. Он умер задолго до рождения внука, в 1826 году.

Все это Иван Голышев сам потом изучит, проведя многие дни и часы в архивах церквей и монастырей, — исследует историческое прошлое своей Мстёры, поймет незаурядность этого местечка, своего рода и ремесла всех своих предков.

Отец, Александр Кузьмич Голышев, имел «природный ум и некоторую начитанность» — напишет потом в «Воспоминаниях» Иван Голышев. Мать, Татьяна Ивановна, дочь бедного причетчика из глухого селения, была «женщина слабая и бесхарактерная». Она была совсем неграмотна, «находилась под гнетом» мужа и

«не имела самостоятельности».

Из раннего детства остались в памяти Вани Голышева теплые руки матери, зыбкий, в цветочках полог над люлькой, ласковая материнская колыбельная и корчащие дурацкие рожицы сестренки Аннушка и Настена.

Потом мир стал расширяться. Привлекло внимание пение канарейки в клетке. Желтым пушистым комочком она суетилась, прыгала и порхала.

Невдалеке от канарейки, на соседнем подоконнике, любила сидеть кошка, рыжая, в коричневую полосочку.

Кошка пряталась за большими, темно-зелеными и гладкими листьями фикуса, стоящего рядом с окном в большой деревянной кадке, следила горящими глазами за канарейкой и принюхивалась к герани на подоконнике.

В комнату входил отец, большой, бородатый. Открывал футляр часов, подтягивал гирю. Потом брал сына на руки, щекотал усами. Улыбаясь, подбрасывал два-три раза мальчика к потолку, клал обратно в люльку и зажигал лампаду под образами. В колеблющемся тусклом свете лампады сверкали серебряные оклады и позолота икон.

А вот Ваня увязался за отцом в лес собирать лечебные травы. Александр Кузьмич выписывал из Петербурга и Москвы разные лечебники. От отца узнал некоторые лечебные свойства растений.

Они вступали в таинственный полумрак хвойного леса. Ваня закидывал голову и смотрел на уходящую в самое небо золоченую сосновую колоннаду. Потом прямо к их ногам упал совенок, пушистый, большеглазый птенец, они принесли тогда его домой. На глухой лесной тропе прямо из-под ног выскочил заяц и опрометью кинулся в чащобу. Ваня так испугался от неожиданности, что вскрикнул. Потом они шли через дурно пахнущие папоротники и густые, некошеные, душистые поляны. Отец объяснял:

— Это вот лилово-розовый тимьян, а это, сине-фиолетовые, — ятрышники, тут — желтые лютики, красноколосый иван-чай, бело-желтые ромашки, а вот, красно-лиловые, — кукушкины слезы.

Из леса они возвращались с охапками зверобоя, череды, росянки, сон-травы, румянки и журавельника. И в сенях все лето лежали на полу и висели на крючьях и веревках только что собранные, подсыхающие растения и готовые лечебные пучки.

Развесив лечебные травы, отец усаживался на ступеньках крыльца и составлял гербарии: разглаживал листья и цветки и укладывал их меж страниц книг. Ваня вдохновенно помогал ему.

— Запоминай, Ванятка, — учил отец, — лук — от зубной

боли, листья сирени — от ревматизма, а черемуху мать кладет в ларь от ржанова червя.

Отец собирал также коллекции насекомых и бабочек. К тому же в доме у них всегда было полно еще и всякой живности. В избе в клетках жили филины и совы. По двору расхаживали хромая цапля и журавль с подбитым крылом. В ящиках обитали горностаи, барсук, заяц и две белки. В бутылках и кринках — ужи и ящерицы.

Кто бы из мстерян ни поймал где птицу или зверька, живыми или убитыми притаскивали к ним в дом. Живые жили до выздоровления, а то и надолго задерживались. Из мертвых животных отец делал чучела.

Ребятишки всей Мстёры завидовали Ване, тому, что у него такой отец.

Дома — хорошо. С отцом — хорошо. Но уже не всегда. То и дело отец возвращался домой взвинченный, ругливый, кричал на мать, шлепал ни за что старших Аннушку и Настю, перепадало порой и Ване, хотя отец его любил больше дочерей, Ваня все это явно чувствовал.

В доме часто звучали непонятные слова: староверы, раскольники, нетовцы, поморцы, спасовцы…

А раз Ваня стал свидетелем стычки отца с односельчанами. Приехал он с сестрами и отцом на пристань покупать хлеб у приезжих торговцев. До семи больших мокшан с хлебом приставало к мстёрской пристани. Их 37 дней вели из Тамбовской губернии по рекам Цне, Мокше, Оке и Клязьме бурлаки.

Ваня засмотрелся на мокшаны и вдруг услышал нервный выкрик отца:

— Да каке вы русские, армянским кукишем креститесь, в чертовы предания верите, — стадо, стадо и есть.

— А вы, никонеанцы, — басурмане-еретики, мордвино-во порождение. И стадо-то — вы. В вашу церковь загонять приходится, а — плоха та церковь, в котору загонять приходится. Христос этому не учил, чтобы плетьми в церковь сгонять. А вы и помолиться-то ленитесь, укоротили все службы…

— Ведь бог-от один и в трех лицах, потому и молиться надо троеперстно.

— Ну, что бог един в трех лицах — это так, да естества-то у него токмо два: бог-отец и бог-сын, а дух святой — како же естество? Ento — голубь, птица. Тремя-то перстами токмо кур щупают. Вы все — троеперстники — курощупы.

Потом дома сестры рассказывали матери, как отец столкнулся с раскольниками. Ваня приставал к старшей, Аннушке:

— Кто это, раскольники?

— Ну, ты же видел кто. Ответ ничего не прояснял.

Потом, когда в великий пост устраивали гусиные травли, Ваня опять услышал эти слова:

— Смотри, смотри, наши против нетовцев идут, — кричали в толпе пацаны.

Зрелище Ване не нравилось, но он был не в силах уйти с улицы, когда два стада гусей начинали гнать друг на друга. Дорога тут же расчищалась для гусей, а люди: взрослые, дети, старики — окружали стада плотной толпой, сквозь которую невозможно было пробиться.

Раз Ваня оказался внутри толпы, прямо перед гусями, и наблюдал всю драму гусиной травли с начала до конца.

Сперва гуси оглушительно кричали, вытягивали шеи, потом принялись гоняться друг за другом. Толпа шумела и поддразнивала их:

— Бей нетовцев!

— Поддай нечестивцам!

Растопыренные крылья разрезали воздух, наполненный уже струящимися перьями из гусиных хвостов.

— Ставлю рубль вон на того, белого, с серым пером! — кричал рядом с Ваней какой-то парень.

— А я на серого, вон того, голенастого.

— Рубль?

— Два.

— Тогда и я — два.

Закончился бой окровавленными шеями гусей. Дорога, на которой проходила потеха, была усеяна перьями и каплями гусиной крови.

— А этот, нетовский, серый — молодец, как налетал, как налетал! Без всякого страха!

— С характером! — говорили расходящиеся по домам зрители и долго еще обсуждали травлю, сидя на завалинках. А иногда, когда страсти особенно раскалялись, гусиные сражения заканчивались людскими — между болельщиками или между православными и раскольниками.

Ваня уже понимал, что отец его самый главный в слободе. К нему шли подписывать какие-то бумаги, что-то просить, на кого-то пожаловаться. При этом низко кланялись, как батюшке в церкви, а то и подарки приносили в виде яиц, пряников или другой какой снеди.

Поклоны отец принимал как должное, а подарки отвергал, а если просителям удавалось всучить принесенное жене Татьяне Ивановне, отец ругал ее за то, что взяла.

Одни говорили о нем по-доброму:

— Кузьмич — неподкупный. Другие язвительно и зло:

— Колдун проклятый.

Колдуном отца звали раскольники за то, что варил всякие зелья, умел лечить разные болезни, что держал в доме животную нечисть и устраивал ведьмины шабаши, в результате которых из-за забора голышевского двора взлетали в небо снопы искр. Это Александр Кузьмич, изучив по книгам, устраивал для домашних маленькие фейерверки.

Осенью вся Мстёра духовито пахла луком. Мстёрский лук славился далеко за ее пределами. Его подводами вывозили на ярмарки, за ним во Мстёру приезжали из дальних губерний.

Восьмого сентября, в рождество пресвятой богородицы, начиналась уборка лука с гряд, и по слободе катилась волна луковых почисток. То один, то другой дом «созывал на помощь» к себе родственников, соседей, подруг дочерей, а то и просто желающих.

Соспевший лук свозили с огорода в дом и рассыпали под окнами. Тут он немножко подсыхал и ножами его очищали от корней и лишней кожуры, чтобы сложить в зиму на полати.

Работа долгая, нудная, порой со слезами, если нечаянно заденешь сочное яблоко луковицы.

Когда же собирались помочане, работа не только спорилась и быстро заканчивалась, но и становилась праздничной.

— Помогай бог! — приветствовала работающих входящая. — Пособить, что ли?

— Пособи, голубушка, пособи, — ласково встречала хозяйка новую помощницу.

Жонглируя и шурша крутобокими оранжевыми, коричневыми и красными луковицами, бабы без умолку болтали. Присказки, поговорки и прибаутки сыпались, как из мешка:

— В нашем краю словно в раю: рябины да луку не приешь.

— Лук да баня всё правят.

— Кому луковка облуплена, а нам тукманка некуплена…

Ваню в эти дни не отогнать было от помочанок, а мать сердилась, потому что «бабы-помочанки на язык остры, чешут им, не остерегаясь, мало чего скажут, не для мальчишечьих ушей». Ваня притаивался где-нибудь в уголке или за спинами женщин и жадно вслушивался в разговоры, часто не понимая их.

По окончании работ хозяева «прилично угощали» помочан, пекли луковник, а некоторые и деньги платили.

Прощаясь, помощницы говорили:

— Кто на помочь звал, тот и сам иди.

Так и гуляли луковые почистки по слободе до конца

сентября, а уж там начинались засидки, капустники… Вся осень была полна праздников, связанных с уборкой урожая.

Татьяна Ивановна опять ходила брюхатая, и все говорили Ване, что скоро у него появится сестренка или братишка. Сестренок у него уже было три, а братика хотелось.

Дети не очень приживались у Голышевых. Еще до Ивана родители похоронили сына. Через год после Ивана — второго. Он прожил только полгода, и Ваня не успел его запомнить.

Татьяна Ивановна, уверенная, что бог наказывает их за грехи, решила год не допускать мужа до себя.

Александр Кузьмич не меньше жены переживал смерть сыновей и постоянно боялся, что умрет и Ванятка, но «пост», устроенный ему Татьяной Ивановной, считал унизительным. И, дав жене месяца три для траура по умершему сыну, пригрозил, что, если она не перестанет «поститься», найдет себе молодку.

Татьяну Ивановну угроза не взволновала, нежности к деспотичному мужу она не испытывала. Она испугалась только скандала.

После умершего Александра появилась Фелицата, которой шел теперь третий год.

Но все эти рождения и смерти прошли еще мимо сознания Вани. А вот следующую сестренку, которую назвали Александрой, он помнил хорошо. Она лежала плотно увязанная пеленками в зыбке и таращила на него круглые серые глазенки. Мать квохтала вокруг нее, как наседка, а отец, мельком взглянув на новорожденную, обращался лишь к Ване и был с ним подчеркнуто ласков.

Ваня догадывался, что девочку в люльке отец любит меньше, чем его. Александр Кузьмич ждал сыновей, наследников, а от девок какая радость? С девками одни расходы: воспитай так, чтобы жених нашелся, накопи приданое, выдай замуж…

А вот мать к сестренке Ваня ревновал, хотя девочка и нравилась ему. Она редко плакала. Когда была мокрая, начинала кряхтеть, голодная — щелкала язычком.

Когда Ваня подходил к зыбке и осторожно встряхивал ее, Сашонка опускала на него вскинутые до того к потолку глаза и внимательно разглядывала, а иногда улыбалась.

Родители всегда были чем-то заняты. У старших сестер, Аннушки и Насти, были свои, взрослые игры. Фелицата играть пока еще не умела. Ване было скучно, и он шел к маленькой Сашонке и разговаривал с нею.

— Вот подрастешь немножко, и мы с тобой будем играть в чижика.

Сашонка радостно улыбалась и сучила ногами, будто хотела

сейчас же бежать с братиком играть в чижика.

Летом мать стелила на лугу полушубок и выносила Сашонку под липы, наказав Ване следить за сестренкой, как бы свинья не съела или собака не облизала, сама с дочерьми шла на огород пропалывать гряды.

Жили Голышевы на Большой Миллионной. Их дом стоял на пригорке. Ваня пристраивал сестренку спиной к своим коленям, обнимал ее, и они оба смотрели на проезжающие внизу по дороге телеги, рыдваны, тарантасы.

— Не сажай ее, рано, спинка кривая будет, — ругала мать, увидев четырехмесячную дочь сидящей.

— Ей скушно лежать, — заступался Ваня за сестренку. С приходов первых холодов Сашонка начала кашлять, просыпаться по ночам от удушья. Татьяна Ивановна неделю не спала, отваривала лечебные травы и сидела возле зыбки по ночам.

Однажды утром Ваня, привыкший уже засыпать и просыпаться под кашель сестры, удивился тишине в боковушке, куда его не пускали с начала болезни Сашонки.

Обрадовавшись, что Сашонка поправилась, он заглянул в боковушку и увидел, как мать, стоя над зыбкой, тихо плачет.

Заметив сына, Татьяна Ивановна замахала на него руками, сдерживая рыдания, а потом вывела его из боковушки, не дав взглянуть на Сашонку, и, не покормив, увела к крестной на другую улицу.

— Ох-ох-ох! — заревела крестная. — Я вчерась вечером мимо вашего дома шла, а Жучка ваша мордой вниз так и взвыла, не слыхали? Я и подумала: мордой вниз — это к покойнику.

Днем, играя с ребятишками, Ваня забыл об умершей Сашонке, а вечером, когда, не спросясь у крестной, один вернулся домой, увидел, что такое «умерла».

Сашонка спала в деревянном ящике на столе. На ящике возле ее головы колыхалось пламя тоненьких свечек. Там же, за аналоем, баба в черном читала вслух молитву. Мать, отец, крестная, сестры и еще какие-то люди, все в черном, молча молились.

С внутренним холодом, испытанным впервые и похожим на страх, Ваня вдруг понял, что Сашонка не спит, а умерла, как говорила мать, и что деревянный ящик — это гроб, который он видел впервые, но уже слышал о нем. Гробом их, малышей, пугали старшие дети. И еще он вспомнил, что гроб закапывают в землю на кладбище возле церкви и это называется — могила.

Ване стало страшно за сестренку, за себя, и он бросился к матери, громко ревя.

— Что ты, что ты, родимый?! — обнимала и ласково

успокаивала его Татьяна Ивановна.

— Малый, а смерть понимает, — сказал кто-то.

— Пожалел сестренку, — согласился другой голос. Татьяна Ивановна передала Ваню свояченице-старушке, и та повела его укладывать спать.

Сашонкина зыбка в боковушке была уже снята и вынесена. В углу, у образов, теплилась лампадка, и сладко пахло ладаном.

— Ее в землю закопают? — спросил Ваня старушку.

— Всяк от земли и в землю отыдет, — перекрестилась

старушка и продолжала: — Полно тебе о покойнице-то калякать. Господь прибрал ее, безгрешную, в рай и отправит. Давай я тебе лучше сказку расскажу.

Сказку она рассказывала знакомую, много раз от матери слышанную, но слова у нее были такие мягкие и теплые, будто она гладила мальчика по голове. И Ваня скоро уснул.

С тех пор Ваня стал бояться смерти и гробов. Боялся гробниц, стоящих справа и слева в церкви, от них веяло могильным холодом.

— Ну полно, милый, — успокаивала его Татьяна Ивановна, — это ж святые мощи князей Ромодановских, бывших тута помещиков. Они и храм воздвигли.

Ваня стал бояться и плащаницы, которую в страстную пятницу переносили из теплой церкви в холодную, а осенью — из холодной в теплую. Плащаница была сделана в виде гроба, который стоял на носилках. В гробу лежал Христос, а вокруг него стояли фигурки скорбящих.

С трепетом рассматривал теперь Ваня и картинки, развешанные отцом по стенам передней. Смерть разгуливала на них в самом обнаженном виде — скелетом с косой в руках. Александр Кузьмич, любитель Апокалипсиса, сам рисовал и раскрашивал апокалипсические картинки, знал наизусть их толкования и любил рассказывать их всем, бывавшим в доме. И Ваня слышал непонятные, но страшные слова: «тьма кромешная», «огнь и червь неусыпаю-щий», «плач и скрежет зубов».

Он знал уже, что за грехи и пороки человек после смерти попадает в ад. И картинки наглядно показывали адские муки грешников. На одной грешники кипели в огненном серном озере. На другой летели вверх тормашками в пропасть. На третьей многоголовое, огнедышащее чудище заглатывало грешников в свою страшную пасть. В пасть летел и человек, не хотевший ходить в церковь. И как ни тяжко было Ване расставаться по утрам со сном, он покорно вставал и шел с родителями к утрене, чтобы не попасть в зубы этому страшному дракону.

Ваня любил смотреть на картинку Георгия Победоносца.

Храбрый воин на коне с красной сбруей вонзал в горло дракона копье. У коня развевалась грива. Над головой всадника ангелы держали корону. Картина давала слабенькую надежду, что Георгий Победоносец защитит Ваню от огнедышащего дракона.

ГЛАВА 3 Раскольничья Мстёра

Прошел ноябрь-ледень. Холоден ноябрь, да не зима. Но вот уж и Федот на воду лед навел, и Гурьян на пегой кобыле проехал. Установился санный путь, за-снежились, заледенели горки.

Во Мстёре чуть не каждая улица — одновременно и гора. Десятки санок, выстраиваясь вереницей и в одиночку, с утра до ночи неслись по улицам к уклону, выезжая на саму реку Мстёру.

Начинались с приходом зимы, особенно по воскресным дням и праздникам, катания и взрослых, в расписных санках, запряженных лихими лошадьми с приличной городской упряжью. Ребятня с гиканьем гонялась за этими санками. А вот в проулке появилась толпа взрослых, однако еще не женатых парней. Толпятся, шепчутся, — значит, развлеченье готовят. Малышня тоже притормозила, затаилась перед занятным зрелищем. Чего там замышляется? По Кузнечной, к Миллионной улице, важно развалившись в пролетке, шуба нараспашку, ехал недавно женившийся сын мстёрского мельника с молодой женой.

Не подозревая подвоха, новобрачный заносчиво обнимал свою жену, как вдруг из проулка с восторженным гиканьем выкатилась ватага парней — человек пятнадцать. Одни схватили лошадь под уздцы, другие выволокли новобрачного из пролетки и потащили к приготовленным старым саням-дровням.

В пролетке испуганно верещала молодица. Она была взята со стороны и не знала местного обычая холостых парней — потешаться в течение первого года над новобрачными. Как ни остерегались молодые супруги, их непременно где-нибудь подлавливали. И чем тяжелее это давалось, тем слаще была потом потеха. Если парни встречали молодого мужа одного, то пропускали его сквозь строй, награждая довольно чувствительными тумаками.

Мельникова сына парни с гиканьем повалили на дровни, сами плюхнулись вслед за ним, и сани стремглав, подгоняемые большим грузом, помчались с горы к реке.

Молодуха, стоя в пролетке, вскрикнула и замерла с открытым ртом, видимо посчитав себя уже вдовой. Но тут все было рассчитано, никакого убийства не замышлялось. Одна разудалая забава.

Франтоватый, а теперь извалянный в снегу, помятый и напуганный (чего там парни еще вычудят?), новобрачный карабкался в гору обратно самостоятельно. Парни стреляли в него шутками и хохотали.

В этом и состояла потеха: сбить с молодожена спесь. Пусть он

чуточку потеряет форс в глазах юной супруги.

Не спасало от потехи ни богатство, ни положение. Капиталистов, так во Мстёре называли богатых крестьян, владельцев иконописных мастерских и других промыслов, прокатывали еще с большим удовольствием, как бы уравнивая их таким образом с бедными.

Собранный развлечением народ не расходился, задерживался группами по скамейкам перед домами, а у избы Хромовых на двух лавках расселось до десятка мужиков. Там, где взрослые, там и дети, вертятся вокруг, взрослые разговоры подслушивают.

День стоял теплый, солнечный.

— На святу Николу зима прежде с гвоздем ходила, а ноне с крыш каплет, — посетовал Григорий Логинов.

— Да, теплая ноне зима. Скоро уж солноворот, а там и святки, — поддержал его сосед.

Ваня играл с мальчишками и не заметил, как тихий разговор мужиков о погоде перешел на высокие тона.

— Кому вы исповедуетесь?! — кричал мучной торговец Большаков. — Продажным попам! Один такой, исповедуя умирающего, украл у него деньги из-под подушки; другой, по пьянке, собаку окрестил. Кляузники ваши попы, крестом дерутся. Одно кумовство и взятки — ваша церковь.

Мальчишки бросили беготню и пристроились к лавкам, ожидая новую потеху.

Во Мстёре действовало несколько раскольничных сект: поморская (перекрещенцы), нетовская (Спасово согласие) и смешанная. Свое объединение имели единоверцы, ближе всех стоящие к православию.

Жили православные и раскольники домами вперемежку и нередко, собравшись вот так, по-соседски, или где на базаре, говоря на какие-то житейские, общие темы, незаметно переходили на религиозные, и тогда, как сейчас, разгорались горячие споры, которые, бывало, заканчивались и драками.

— Да уж, ноне царство небесное трудно получить, — говорил семидесятилетний старик-раскольник, — и помучиться-то за Христа нельзя: все на деньгу пошло.

— А вы, фанатики-изуверы, — возражал православный, — других не любите и себя гробите. Вона в Нижегородской губернии тридцать пять нетовцев головы друг другу поотрубали.

Раскольники за словом в карман не лезли, фактиков против официальной церкви у них было предостаточно, приговорок старинных и присказок — полный запас.

— Вам попов поставляют токмо за деньги или по сродству, а наши за мзду благодати святого духа не продают. Превратили

ваши попы служение богу в доходное ремесло, алтарем торгуют.

Он был прав. Священники официальной церкви боролись меж собой за приход с раскольниками: чем больше раскольников, тем больше доход. Государство требовало, чтобы раскольники ходили к исповеди, крестили детей и венчались в церкви. Это было против их веры. И чтобы не нарушать своих обетов и не ссориться с властями, раскольники за деньги выкупали у священников справки, что были у исповеди. Даже заочно такие справки выдавались, только плата за них была повыше.

— У вас больно верущи, — не сдавались православные. — Вон в Городце одна девка Фекла совратила в раскол двенадцать мужиков, чай, не верой совращала…

— Дак в Костромской губернии, — поддержал его другой православный, — раскольники-купидоны на сходбищах нагие сидят.

— У монтан так и вовсе свальный грех, — поддержал его третий.

— Ента как же?

— Пляшут, пляшут, а потом…

— Царствие небесное!

— Это не наши, — спокойно возразил спасовец Янцов.

— Ваши не ваши, в ваших толках сам черт не разберется.

Янцов отшатнулся. «Черт» у них было запретным словом. Православные, действительно, совсем не разбирались в многочисленных толках и сектах раскольников. О сути же учений и сами приверженцы сект частенько мало что знали, придерживаясь только ритуалов.

Молодые мстёрские поморцы, дети богатых раскольников, и обычаи не всегда соблюдали, одевались по журнальным картинкам, что считалось у поморцев греховным, и ездили на балы, а это было грешнее, чем в православную церковь сходить.

Кто-то придерживался раскола из-за торгово-промышленных связей, а связи у раскольников были по всей стране, и довольно крепкие. Некоторые молодые люди, состоя в расколе, говорили просто: «Как родители жили, так и нас благословили», — порой механически совершали согласные этой вере таинства.

С очередного мирского собрания Александр Кузьмич Голышев пришел поздно и взвинченный. Поддал ногой подвернувшуюся кошку, цыкнул на жену, попытавшуюся уточнить дошедшую до нее страшную новость.

— В Москве к заутрене звонили, а на Вологде звон слышали, — оборвал он жену. — Собери на стол, брюхо не гусли: не евши, не уснет.

Татьяна Ивановна вытолкала испуганных детей в переднюю,

они успели поужинать, а сама принялась на кухне собирать на стол.

Муж ходил взад-вперед и неистово ругал раскольников.

— Неужто так и заковал их в цепи? — не вытерпела Татьяна Ивановна.

— Дак оне что удумали?! — вскричал Александр Кузьмич. — Жалобу на меня графине накатали, а там — одно вранье. Графиня ж далёко, из Питера ей ничего не видно, опять я виноватый выйду…

— Да ты бы по-хорошему…

— По-хорошему, по-хорошему! — взвился опять Александр Кузьмич. — Они говорят: «Откажись сам от бурмис-терства, тогды оставим тебя в покое, а не откажешься — пожалеешь». Что? Значит, самому отступиться?! Все мирское дело пустить под их басурманскую дудку? У них уж опять и выдвиженец свой есть, без денег бурмистром быть согласный, — Александр Кузьмич осклабился.

— А можа, отступиться?

— Можа, можа, да токмо не гоже! На что жить будем? Детей по миру? Да всё одно оне не дадут мне житья, хошь и отступлюся. Вот послушай, что они, проклятые, вручили мне.

Александр Кузьмич достал из кармана сложенную бумажку, развернул ее, встряхнул, чтобы лучше распрямились сгибы, и принялся читать:

— Богоявленской слободы Мстёры бурмистру Александру Кузьмичу Голышеву от мирского общества слободы Мстёры. Прошение. Позвольте нам написать ее сиятельству графине Софье Владимировне Паниной всеобщее прошение о желании болезном нашем, для блага всему обществу, избрать на место Вас из крестьян слободы Мстёры в бурмистры на трехгодичное время, без платежа жалованья тысячи пятисот рублей ассигнациями, а единственно из платежа оброчной суммы…».

Дальше следовали подписи тридцати двух крестьян, самых богатых раскольников.

Александр Кузьмич Голышев, потомственный иконописец, икон уже давно не писал. Как грамотного и начитанного, односельчане выбрали его писарем, когда ему было всего двадцать пять лет, и с тех пор он десять лет просидел над бумагами в земском сельском правлении, а теперь уже четвертый год был бурмистром.

Только шесть процентов населения России к середине девятнадцатого века были грамотными, еще сто двадцать пять тысяч обучались в школах. Так что «образованность», хоть и начальная, Александра Кузьмича Голышева была во Мстёре

заметным явлением. Заняв же должность бурмистра, он вообще стал первым человеком в слободе.

Александр Кузьмич презирал раскольников за их догматические обряды и двойную жизнь.

Помещики Панины разрешили выбирать в бурмистры только православных, на выборах выдвинутые кандидатуры обязаны были предъявлять удостоверения священников в том, что придерживаются православия, и раскольники, рвущиеся к власти, покупали себе эти удостоверения за тысячу рублей серебром.

Покупалось всё. Раскольничья вера не признавала венчания и крещения. Но по государственным законам дети невенчаных родителей считались незаконнорожденными и не могли наследовать имущество отцов. И раскольники платили священнику по пятьдесят рублей за то, чтобы, не венчая молодых, тот записал их повенчанными и, не крестя ребенка, записал его крещеным.

Раскольников сразу, при Никоне, в XVII веке, когда произошел раскол, правительство начало жестоко преследовать. «За впадение» в раскол ломали клещами ребра, «сожигали», «резали языки и рвали ноздри».

И чем строже преследовались раскольники, тем отчаяннее и сильнее становилось их сопротивление. Не дожидаясь, когда их сожгут царские преследователи, тысячи раскольников сами сжигали себя.

Во второй половине царствования Петра I, когда гонение на раскольников ослабло, они стали не только не опасными для правительства, но оказались и полезными. Смелые до отчаянности, оборотистые и настойчивые, они проникали в самые отдаленные уголки России, осваивали новые торговые пути и способствовали, как отмечают историки, например, процветанию олонецких железных заводов, помогали Петру укрепиться на Балтике. Раскольники содействовали Демидову в разработке руды на Урале, они стали первыми привозить в Петербург хлеб для продажи. Но они по-прежнему не признавали православной церкви. Зажав нос или уши, торопливо пробегали мимо нее, чтобы не чувствовать запаха ладана, выходившего из церкви, не слышать колокольного звона.

Если к раскольнику приходил сосед-никонианец, то его не пускали дальше сеней, разговаривали с ним неприветливо, а то и грубо, а после его ухода окуривали избу своим ладаном.

Поморцы приняли «молитву за царя» еще в начале раскола, потому им еще тогда разрешили открыто проводить богослужение. У мстёрских поморцев было несколько молелен. А у кожевенника Панкратова была своя семейная особница, и

только раз в году, на Николу зимнего, в молельной затевалась большая служба, на которую приглашались все мстёрские поморцы, а после нее устраивался обед.

Раскольники мстёрского Спасова согласия были двух толков: беспоповцы и «австрийской веры», т. е. «тайного священства».

Служба у беспоповцев велась в избе «у Кротовых девок», а кое-кто имел и свои молельни.

У Рассадиных собирались тайносвященцы, беглопопов-цы и приверженцы Белокриницкой иерархии.

При Александре I раскол из религиозной секты превратился уже в большую промышленную корпорацию производителей и торговцев. Но с 1827 года возобновились преследования раскола.

Жестокие меры применять к раскольникам правительство уже боялось, потому что они с религиозным благоговением принимали страдания.

Наставники раскола часто ходили в лаптях и бедных рубищах, а сами раскольники зачастую были очень зажиточными.

Мстёрские раскольники были тоже самыми обеспеченными людьми в слободе. Поморец Суслов имел «стильную» иконную мастерскую. Панкратов и Большаков были богатыми мучными торговцами, спасовцы Янцовы — тоже владели иконной мастерской, единоверцы Фатьяновы — содержали медно-прокатную фолёжную фабрику, Крестья-ниновы — иконную фабрику, а Мумриковы — фабрику по производству фольги.

Среди православных зажиточных было немного, только владельцы мельницы Носовы да бурмистр Голышев.

В бурмистры же старались избрать, по указаниям графа, все же обеспеченных крестьян, потому и оказывались на этой должности чаще богатые «тайные раскольники». Деньги, потраченные на ложное свидетельство, они с лихвой потом возвращали из общественных сумм, а также эксплуатируя силой власти крестьян-бедняков.

Некоторые разбогатевшие раскольники имели свои суда и ходили на них за хлебом в Тамбовскую губернию, наживая на хлебной торговле большие капиталы. Они нанимали на суда бедных мстёрских крестьян и, якобы за провинности и недоимки, заменяли наказание батогами бесплатной работой на себя, все более и более закабаляя бедняков.

Александр Кузьмич Голышев постоянно открыто возмущался этим и другими происками раскольников против бедных, слыл во Мстёре поборником справедливости, за что и был избран бурмистром.

Став бурмистром, Голышев решил в первую очередь прекратить это второе крепостное право, которое устраивали

богатые раскольники-хлеботорговцы беднякам. Вместе с бедняками он подсчитал сумму, заработанную ими у раскольников-капиталистов, и возбудил дело об ее уплате. Суд потребовал выплатить обманутым крестьянам тридцать тысяч рублей.

Раскольники взвыли и поклялись отомстить предприимчивому бурмистру. Они открыто грозили Александру Кузьмичу расправой и не раз подтверждали свои угрозы делом. Писали владевшей в то время Мстёрой графине Паниной ложные доносы на Голышева, но она отвергла жалобы, повелев разбирать их на месте, на миру.

Александр же Кузьмич, несмотря на угрозы раскольников, не унимался. Чтобы прекратить монополию раскольников-хлеботорговцев, он основал во Мстёре мирской банк, который в тяжелое время оказывал беднякам помощь.

Страстно преданный православию, Голышев не понимал, да и не хотел понимать, все раскольничьи отклонения от православных таинств. Призванный теперь своей бурмистрской должностью стоять на страже государственных законов и законов официальной, никонианской церкви, он позволял себе то, чего не мог позволить, даже если бы и захотел, священник.

Тайное предписание правительства запрещало священникам входить в дом раскольника, чему Александр Кузьмич всегда удивлялся. Как же проповедовать православие, если священник не может войти в дом и побеседовать с его хозяином о вере.

На бурмистра этот закон не распространялся, и Голышев по-хозяйски заходил в дома и молельни раскольников, что им совсем не нравилось, и не только из-за осквернения их православным, а и потому, что на моления раскольники часто приглашали своих, запрещенных законом, наставников веры, и во Мстёру то и дело приходили подозрительные, в рванье и лаптях, а то и босые, люди с заплечными, набитыми чем-то мешками. В мешках оказывались книги, агитирующие за раскол, а это было уж против царских указов, и тут Голышев напрямую мог привлечь хозяев за укрывательство подозрительных личностей, агитаторов ереси, за что людей сажали в тюрьму, судили и отправляли в ссылку.

Тогда раскольники решили любым способом сместить несговорчивого бурмистра. Они сами собрали мирской сход. Вызвали на него Голышева и вручили ему письмо с просьбой отказаться от бурмистрства добровольно, задолго до окончания срока перевыборов. Уже была подобрана кандидатура «тайного раскольника».

Когда Александр Кузьмич отказался сложить свои бур-

мистрские полномочия, они тут же сунули ему в руки заранее подготовленное другое письмо с просьбой дать разрешение пожаловаться на него помещице.

Наверное, все-таки могли богачи-раскольники написать жалобу прямо графине, и, скорее всего, прошение было преподнесено самому бурмистру с хитрым умыслом — вывести его из себя. Знали раскольники: горяч Голышев, и особенно горячится, когда затевается несправедливое дело.

Они все очень хорошо продумали, его враги. Письмо привело бурмистра в бешенство, и он, объявив протест раскольников бунтом, велел арестовать бунтарей и заковать в железо.

Бунтарями оказались самые первостатейные, богачи-раскольники. А «заковать в железо» тогда означало: надеть на руки и ноги оковы (кандалы), усадить в специальное кресло, а за шею арестованный замком приковывался к спинке кресла.

Этого раскольники, по всей видимости, и добивались. У них не было никаких обличающих бурмистра улик, и они только провоцировали Александра Кузьмича, грозя жалобой графине. Теперь у них появилось право жаловат ся помещице, минуя бурмистра, и к графине в Петербург был послан нарочный.

Но графиня в это время умерла, завещая Мстёру своему племяннику.

Виктор Никитич Панин только что вступил, после смерти тетки, в управление Мстёрой, не бывал там, но от тетки знал, что бурмистром Голышевым она была довольна, что он мужик умный, пламенный гонитель раскола и пользовался особой благосклонностью графини.

Самому ехать во Мстёру Панину было некогда, и он написал письмо управляющему своего брата, имение которого было в шестидесяти верстах от Мстёры:

«Милостивый государь Владимир Петрович! С согласия братца покорнейше прошу Вас немедленно отправиться в Мстёрское имение для строгого исследования принесенных мне от некоторых крестьян жалоб, сущность коих Вы усмотрите из прилагаемых при сем подлинных бумаг.

Мне очень прискорбно, что подобные беспорядки могли возникнуть во Мстёре, где всегда существовали порядок, согласие и почтение к властям, без коих не может быть прямого благосостояния. Старайтесь всеми силами укротить между крестьянами вражду и объявить им, что всякое превышение власти со стороны местного сельского начальства, равно как и неповиновение и непочтение к оному, не останутся без строгого взыскания…

Если, впрочем, по исследовании Вы найдете бурмистра

виновным, то я разрешаю Вам удалить его от должности и, если нужно, из Мстёры на короткое время и предоставляю мирскому обществу выбрать на один год другого бурмистра без производства ему жалованья и с тем, чтобы он был утвержден мною в сей должности, вступая предварительно с Вашего разрешения в исправление оной».

А у раскольников был только один довод против Го-лышева, и то добытый недостойным методом, — то, что Голышев заковал их в цепи. Поэтому они тайно преподнесли управляющему блюдо империалов, опять точно рассчитав ситуацию. Панин никогда не приедет во Мстёру и целиком доверится управляющему, так что деньги на его умасливание жалеть на надо.

Управляющий сместил Голышева из бурмистров и доложил графу, что смута прекращена.

Успокоенный граф написал новому бурмистру назидательное письмо:

«Вы старайтесь только не запустить пустых дел, не обижать друг друга, жить между собой дружелюбно и не приносить жалоб, не обдумавшись, что от меня миру и объявить…

Если вы будете жить в благости, трудолюбии, согласии и тишине, то между вами будет благосостояние и я Вас буду оберегать от притеснений…»

И в «знак искреннего» к ним расположения прислал образ Богоявления Господня в серебряной ризе.

Только тишины и благости не получилось.

Голышев негодовал. Где же справедливость? Он, защитник самодержавия, православия и интересов народа, не ворующий, всю жизнь отдающий мирским делам, — в опале, а богачи-раскольники, люди без чести и совести, зачастую просто пройдохи, — теперь в выигрыше?

И тут ему шепнули, что все дело в империалах, которые раскольники преподнесли управляющему. Голышев тотчас же известил об этом графа.

Трудно из Петербурга доискаться истины. Уличишь управляющего, кому тогда верить?

Панин прислал во Мстёру распоряжение: «…никто, ни по какому бы то ни было расчету или из благости или опасения, от своего имени или от имени другого, не делал бы, не посылал и не сулил подарков ни служащим в конторе, ни вотчинным начальникам, бурмистрам, старостам, выборным земским или посланным в имение ревизорам».

Раскольники поняли, что Голышев, и лишившись должности бурмистра, по-прежнему будет досаждать им, и решили совсем изгнать его из Мстёры. Они сделали на него «начет большой

суммы», якобы перерасходованной в бытность бурмистром, и отправили дело графу.

«Неужели и неподкупный Голышев проворовался?» — удивился граф и снова написал управляющему: «Проступки Голышева были велики и заслуживали бы примерного наказания, а в особенности за то, что он заковал самовольно крестьян в железо и преграждал обиженным принесение ему жалоб… Но, по уважению оказанного им прежде усердия, я его прощаю, кроме начета, который может оказаться по повторении счетных дел, что ты ему и объяснишь».

Раскольники провели начет тайно, и Александр Кузьмич только от вновь приехавшего управляющего узнал о нем. Это была тоже клевета. Все расходы бурмистр согласовывал с миром. Голышев послал графу подробный отчет о расходах, благо что у него была особая, за годы работы писарем созданная система четкого ведения бумаг.

Граф остался удовлетворенным и снова написал во Мстёру, что, «если бы и действительно были допущены в бытность Гсушшева излишние расходы, то счетчики обязаны были тогда же объявить о том миру», что мир эти отчеты подписывал, а Голышев «показал свои труды и усердие в других весьма полезных для вотчины делах». И так как «дело» происходило во время жизни родственницы его графини Софьи Петровны и своевременных жалоб на управление Голышева ни от кого не было, то предписывал дело о начете с Голышева прекратить…

После тех графских предписаний распри во Мстёре ненадолго утихли.

Зимой рано смеркалось. Набегавшись за день по морозу, дети забирались на печку, и в темноте старшие сестры рассказывали разные страшные истории.

— В полверсте от слободы, у Тары, возле того места, где родник бьет, есть березнячок, — таинственным, с придыханием, голосом начинала Аннушка, и Ваня уже замирал в страхе, по интонации сестры догадываясь, что рассказ будет жутким.

— Возвышается над тем березняком толстая-претол-стая сосна. Корни у нее — толщиной с полено, все поверх земли кривятся и здорово топором изрублены. Возле сосны по ночам у разбойников сборище главное. Награбленное добро они делят и в тайники прячут. Захотел как-то бедный мужик завладеть тем кладом. Пришел к сосне днем, когда разбойников нет, хотел разрубить толстые сплетенные корни, до тайника добраться. Да только ударил топором по корням, а из них искры посыпались. Удивился мужик и решил еще раз попробовать. Ударил опять топором, а из корней пламя вырвалось. Тоскливо стало мужику, и

пошел он домой. Токмо и дома ему покоя с тех пор не было, все тосковал да тосковал, а на третий день и помер. Прошло несколько лет. Другой мужик попробовал клад тот достать. Пришел к сосне, решил спалить ее, чтобы не мешала в тайник добраться. Токмо от огня того все нутро у сосны выгорело, а сама она и по сей день стоит, клад разбойничий сторожит.

— А у разбойников есть такая трава спрыг, колдовская, они ентой травой замки без ключей отпирают, — добавила к рассказу Настена.

Ваня жался поближе к старшей Аннушке: ведь коль разбойники замки травой спрыг открывают, то и их крючок на двери открыть могут. А сестренка начинала новую историю, про крестьянина и смерть:

— Поехал мужик в лес по дрова, а лошади у него — нету, на себе сани тянет. Сильно много дров наложил, утомился, сел отдохнуть и разговаривает сам с собой: «Ох, куда я беден, боже мой! К тому щин жена и дети, а там подушное, боярщина, оброк… И выдался ль когда на свете хотя один мне радостный денек?» В таком унынии, на свой пеняя рок, зовет он смерть. Она у нас не за горами, а за плечами. Явилась вмиг. И говорит: «Зачем ты звал меня, старик?» Увидевши ее свирепую осанку, едва промолвить мог бедняк: «Я звал тебя, коль не во гневе, чтоб помогла ты мне поднять вязанку».

Сестренка шпарила наизусть не раз читанную подпись под картинкой, которая висела на заборке над Ваниным сундуком.

На той картинке сидел на вязанке дров перепуганный мужик, рукавицы у него свалились в снег. Перед ним ходила смерть, скелет в покрывале, с косой в руках. Вдали виднелись избушки, крытые соломой.

Эпилог сказки был такой: «Из басни сей нам видеть можно, что как бывает жить ни тошно, а умирать еще тошней».

ГЛАВА 4 Мертвое время

Потеряв место бурмистра, Александр Кузьмич потерял и полторы тысячи рублей жалованья. Сам седьмой в семье и единственный добытчик, ломал голову, как ее теперь кормить.

Голышевы, как и большинство крестьянских семей, воспитывали детей строго, с пеленок приучая к беспрекословному подчинению старшим. За малейшее ослушание сестрам Ваня получал подзатыльник. За неповиновение — мать больно хлестала вожжами.

Татьяна Ивановна сама управлялась с детьми, отец редко вмешивался в воспитание, и все-таки его тяжелую руку дочери знали и разгневать отца боялись панически.

Прежде Александр Кузьмич бывал дома редко. Теперь — с утра до ночи. Угрюмый, раздражительный, он хватался то за одно дело, то за другое, постоянно был чем-то недоволен и куражился над женой и ребятишками. Татьяна Ивановна сначала громко причитала целыми днями:

— Пропадем! Детей по миру пустим! Но Александр Кузьмич как-то, когда детворы дома не было, так отходил ее вожжами, что она с тех пор замолчала и только часами истово молилась богородице.

Берегли теперь каждую копейку. Дети без спросу куска хлеба не могли взять. Мать стала носить часть молока на базар.

Александру Кузьмичу в первое время хотелось запить, но, человек деятельный и гордый, он нашел в себе силы не дать раскольникам еще повод торжествовать.

Выместив свое горе на домашних, Александр Кузьмич принялся за старое ремесло. Расчистил подвал, закупил доски и принялся писать иконы. В доме снова запахло тухлыми яйцами: на яйцах иконописцы разводили краски. Работалось Александру Кузьмичу тяжело. Рука мастера потеряла с годами гибкость и твердость. В его возрасте иконный мастер имел обычно мастерскую с собственноручно выученными подмастерьями. Во Мстёре давно уже действовал иконописный конвейер: одни мастера, «личники», писали только лица; другие, «долечники», — руки, ноги, одежды и пейзажи. Каждый набивал руку на своей «доле», и в день иконная мастерская выдавала десятки и сотни икон. Такие иконы были очень дешевы и возами вывозились из Мстёры.

Соревноваться с владельцами мастерских Александру Кузьмичу и думать было нечего, а значит, заработок будет так мал, что и семью не прокормить.

Каждый мастер к тому же имел своих торговцев — сбытчиков икон, офеней. Голышеву и офеней предстояло найти, точнее — от кого-то переманить. А переманивать было нечем, да и раскольники предупредили своих коробейников:

— Уйдете к Голышеву — обратно не возьмем. Александр Кузьмич решил придумать для начала что-то необычное, завлекательное для офеней. Видел он как-то в Москве, когда еще по бурмистрским делам ездил к бывшему владельцу Мстёры, генералу Тутолмину, стеклянные иконы и решил попробовать писать образа на стекле.

Много хлопот было положено на добывание стекла и специальных красок, а иконы не пошли. Офени не брали их, боясь разбить по дороге. На ярмарках народ любовался более яркими цветами стеклянных образов, но брать тоже остерегался: «Долго ли така икона проживет?!»

Татьяна Иванована ворчала, что стеклом завалили весь дом, шагу не шагнуть, чтобы чего-нибудь не разбить.

Александр Кузьмич закрывался в своей мастерской и запрещал кому бы то ни было заглядывать в нее.

Раз, когда Ванятка проходил мимо, дверь в мастерскую оказалась открытой, и он увидел расставленные вдоль стен подсыхающие образа.

Заинтересованный, он перешагнул порог, тихо вошел в мастерскую и замер за спиной отца, глядя, как рождаются под его кистью лики, одежды, церковные маковки. — Что? Занятно? — усмехнулся Александр Кузьмич, заметив сына.

Ваня думал, что отец накажет его за нарушение запрета, а тот даже не прогнал, а усадил сына рядом.

Ваня смотрел, как отец кладет на загрунтованную доску лист бумаги с ликом, изображенным множеством проколотых иголкой дырочек.

Потом отец притянул поближе робеющего сына, дал ему в руки мешочек с толченым углем и велел гладить рисунок мешочком, потряхивая его.

Ваня не понимал, зачем это нужно, но догадывался, что от того, как он выполнит поручение отца, будет зависеть дальнейшее к нему отцово доверие. Высунув от усердия язык, он изо всех сил тряс мешочком.

— Ну, довольно, довольно, — остановил его отец. — Язык-от спрячь, а то вороны склюют.

Ваня испуганно убрал язык, отдал отцу мешочек с углем и, взглянув на свои почерневшие руки, вытер их об штаны, за что немедленно получил от отца подзатыльник.

— Вымыть сперва надо руки-то, а потом о штаны отирать, вот

мать теперь тебе даст…

От подзатыльника Ваня едва устоял на ногах, надул губы, но не заплакал. Пытливость была сильнее обиды и боли. Мальчику не терпелось узнать, зачем он тряс этим мешочком.

Отец снял с доски приколотый лист, и Ваня увидел на светлой доске четкий черный контур божьего лика.

Потом отец взял иглу, вставленную в деревянную ручку, и провел ею с нажимом» по всем линиям рисунка, образовав канавку.

— Подрастешь, будешь делать, как я, а пока… Александр Кузьмич положил сыну на колени иконную доску, а на нее лист бумаги. Дал мальчугану карандаш и сказал:

— Рисуй.

С тех пор Ваня получил право приходить к отцу в мастерскую в любое время. А немного позже Александр Кузьмич принялся учить его рисовать карандашом, растирать краски и правильно держать кисть.

Как бы хорошо было сделать сына подмастерьем, да мал еще. Вспомнились умершие сыновья. Однако горевать было некогда.

Офени не хотели брать стеклянные образа, но охотно взяли привезенные Александром Кузьмичом из Москвы губную помаду, белила и курительные свечи.

«А что, если открыть косметическое заведение? — подумывал Александр Кузьмич. — Дело должно пойти, соперников во Мстёре по этой части нет. Разве только перекупщик Корнилов».

Опять отправился Голышев-старший в Москву, прошел там краткий курс обучения новому делу, договорился о сырье и вернулся домой с книгой-руководством «Как организовать косметическое~заведение».

Снова немало сбережений пошло на приобретение сырья, разной посуды, перегонных аппаратов и упаковки.

Александр Кузьмич усадил за работу и жену, и старших дочерей. Все что-то толкли, мешали, процеживали и перегоняли.

Ваню к химическому производству не допускали. Он был мальчиком на побегушках, но имел достаточно времени, чтобы вникать в технологию производства мыла, духов или помады. Дело было прелюбопытное. Мальчику хотелось самому смешивать вещества, взбалтывать и взбивать. Иногда это ему разрешали.

Косметическое заведение оказалось очень хлопотным, малодоходным, из-за того что сырье приходилось привозить из Москвы, и вскоре прекратило свое существование. Но любовь мальчика к химии останется на всю жизнь.

Ездя в Москву за сырьем для косметического заведения, Александр Кузьмич натолкнулся на новое дело — снимание

портретов на металлические пластины — дагерротип. Новинка поразила его рвущееся ко всему необычному воображение. Александр Кузьмич принялся через друзей искать мастера, который бы обучил его фотографическому делу. Учитель нашелся, внушил престарелому ученику, что дело — нехитрое, постигнуть можно, только деньги за обучение надо заплатить вперед. Голышев отдал последние. Мастер сказал, что денег мало, но согласился поучить на те, что есть.

Александр Кузьмич посчитал, что и этой науки хватит. Вернувшись домой, он отдался новому занятию, стал разъезжать по ближайшим маленьким городам, куда еще не дошла фотография, снимать портреты. Но, видно, недостаточно все же обучил его московский мастер. Снимки получались плохими, клиенты были недовольны и требовали деньги обратно. Враги Голышева потешались, открыто смеялись ему в лицо, приклеили ярлык никудышного хозяина.

Для Вани весь этот калейдоскоп отцовских предприятий стал замечательной школой на дому. Александр Кузьмич постоянно приносил всякие «снаряды»: барометры, зрительную трубу, камеру-обскуру, волшебный фонарь.

Все это очень занимало мальчика, а Александр Кузьмич снова пришел в отчаянье. Сбережения истрачены, жена опять брюхатая, дочери взрослеют… Что делать? Идти в кабалу к какому-то богатому иконописцу-раскольнику? Это было выше его сил.

Дома опять стало мрачно и шумно. И чтобы не попасть под тяжелую руку вновь затосковавшего отца, избежать угроз матери и неприветливых лиц сестер, Ваня старался с утра улизнуть на улицу и приходил домой только обедать и ужинать.

Однако на улице было не легче. Сын раскольника Григория Петрова, Яшка, 'маленький, страшно злой, нападал на него, всегда неожиданно вылетая из калитки своего дома. Он, наверно, подглядывал в щель, потому что калитка всегда открывалась именно в тот момент, когда Ваня проходил мимо нее. Яшка ввинчивался своей круглой и твердой, как арбуз, головой, в его бок, сваливал Ваню с ног. Ваня вскрикивал от боли, но изо всех сил торопился скорее вскочить и пуститься наутек.

— Я еще тебе покажу, Никонианово отродье, — кричал ему вслед Яшка. «Никониановым отродьем» раскольники называли православных.

Первое время потом Ваня за версту обходил Яшкин дом, и Яшка совсем не попадался ему на глаза. Потом Ваня, потеряв бдительность, опять случайно оказывался возле калитки Петровых, и все повторялось.

С живущим через несколько домов от Голышевых Сашкой

Кирилловым, его родители были единоверцами, они даже часто играли, но только до первой ссоры. Стоило Сашке проиграть в лапту или на что-то рассердиться, как он свирепел, набычивался, и Ваня боялся, что он, как Яшка, тоже врежется ему в бок. Но Сашка только шипел сквозь зубы скверные слова и сверлил Ваню злым взглядом. И Ваня, напуганный, убегал домой.

Ваня тоже впадал в отчаянье. Взрослым не до него. Дома и на улице — одни огорчения. Опасаясь подзатыльников и щелчков, он бродил по избе с втянутой в плечи головой. Бездельничать было скучно, а попытка приняться за какое-то дело самостоятельно неизменно вызывала недовольство старших.

«„Пропадешь!" — носилось надо всеми мне близкими. Пропадешь, если посмеешь чего-нибудь захотеть сам, если сам что-нибудь позволишь себе… „Пропадешь", — кричали небо и земля, воздух и вода, люди и звери… И все ежилось и бежало от беды — в первую попавшуюся нору», — такими словами потом в «Воспоминаниях» выразит Иван Александрович Голышев атмосферу той поры своего детства.

Положение усугубляли болезни, которые с рождения цеплялись к мальчику одна за другой. Какая бы хвороба ни заглядывала в слободу, она обязательно заходила в дом Голышевых и, обойдя стороной или слегка опалив пышущих здоровьем сестер, обязательно сваливалась на Ваню.

Атмосфера недоброжелательства и отчаянья в семье этому только способствовала.

1846 год выдался страшно тяжелым. Весь май дождь перемежался со снегом, дул сильный ветер. Реки Тара, Мстёра и Клязьма поширели, вышли из берегов, затопили пойму, огороды, поля превратили в болота. Хлеб весь вымок. Потом прошел сильный град и окончательно погубил будущий урожай озимых.

Когда дождь прекратился, крестьяне принялись засевать поля заново. Но небо, израсходовав, видно, весь свой запас воды, замерло и не посылало более на землю ни одного дождя.

Хлеба и огороды стали сохнуть, только луговые травы, вымахав в первую, влажную половину лета, теперь зрели и тешили надеждой на хороший покос.

А тут еще на поля и огороды обрушились полчища, червей. Крестьяне с утра до ночи гнули спины на своих полосах. Удаляли раненные червем стебельки, подпирали ослабленные, опахивая их, посыпали поля золой. Червь продолжал плодиться. Тучи птиц кружили над полями, лакомясь нежданной добычей, но червей не убывало. Казалось, что непогода принесла и людские болезни. Во Мстё-ру пришли корь и золотуха.

Александр Кузьмич в очередной раз уехал в Москву. Кто-то

посоветовал ему заняться торговлей книгами и картинами. Офени охотно прихватывали, отправляясь в дальний путь с иконами, дешевые тонкие книжки и картинки. Они покупали их у московских издателей. Но не каждый-офеня имел средства ездить за товаром в Москву, поэтому некоторые московские издатели присылали своих приказчиков на ярмарки Холуя и Мстёры.

«А что, если договориться с издателями? — снова кумекал Александр Кузьмич. — Во Мстёре лавка, считай, уже есть, ее в подвале можно оборудовать. В Холуе тоже арендовать балаган не мудрено. Можно потом еще в Вязниках и в Коврове… Своих лавочников нет. Везде только приезжие на время ярмарок…».

Разгоряченный новым замыслом, Александр Кузьмич и отправился в Москву договариваться с печатниками.

Помогли былые знакомства и связи. Издатели охотно открыли ему кредит. И Александр Кузьмич возвращался домой с первой партией книг и картинок.

Дорогой он обдумывал и новую идею. Друзья посоветовали ему покупать картинки нераскрашенными, только тушеванными, то есть черно-белыми, а раскраску их организовать во Мстёре. Опыт такой уже имелся. Все женское население подмосковной деревни Измайлово, от мала до велика, занималось раскрашиванием картинок. Дело немудреное, под силу даже малолетним.

«Ну уж, а нашим иконописцам это и подавно будет по силам», — планировал Александр Кузьмич.

Он съездил в Измайлово, изучил занятие поподробнее, закупил краски и решил сперва привлечь к расцвечиванию жену и дочерей.

Выехал Александр Кузьмич в Москву на санях, потому что зима началась рано. В конце ноября уже было двадцать пять градусов мороза и установился зимний путь. Но теперь, при возвращении домой, в начале декабря, резко началась оттепель, снег стал стремительно таять. Всю дорогу стоял туман, то и дело накрапывал дождь, а перед самой Мстёрой даже загромыхал гром.

Уже смеркалось, когда Александр Кузьмич подъезжал к дому. Мстёра закрывала ставни. Александр Кузьмич думал о том, как он завтра приступит к новому делу, и вдруг первый же попавшийся навстречу мужик ошарашил его страшной вестью:

— Твой Иван помирает…

Александра Кузьмича чуть удар не хватил. Он схоронил уже четырех детей, из них — двух сыновей, теперь рождались одна за другой девчонки. Наследник, единственный сын…

— Господи, спаси! — молился он, стегая лошадь так, что она, тяжело нагруженная и усталая от долгого пути, понесла воз по

растаявшей, трудной для саней, дороге.

Во Мстёре гуляла корь. И сначала Ваня покрылся коревой сыпью. Потом еще прицепилась золотуха, окидала водянистыми пузырями лицо, затрясла тело.

Татьяна Ивановна обводила Ваню, как то требовалось при золотухе, золотым кольцом, заставляла его есть сусальное золото, чтобы золотуха глаза не повредила, поила сына чаем из душицы с медом, обычно помогающим при лихорадке, но Ване становилось все хуже. Он впал в беспамятство, бредил, метался и беспрерывно просил пить.

Анна и Настена не отходили от брата. Татьяна Ивановна, вся в черном, не вставала с колен, умоляя богородицу простить ей грехи и не забирать мальчонку.

Однако Ваня слабел с каждым днем. Уже неделю не приходил в сознание, ничего не ел, перестал и пить просить.

В доме горели все лампады, пахло деревянным маслом.

— Что? Где? — Александр Кузьмич прямо с порога бросился в боковушку, где на сундуке обычно спал сын.

Татьяна Ивановна, увидев мужа, заплакала:

— Отходит… уж причастили…

Увидев распластанное в беспамятстве тело любимого Ванятки, его обметанный лихорадкой, исхудалый, малюсенький лик, Александр Кузьмич зарыдал; бросился рядом с сундуком на колени:

— Болезный ты мой! Прости, господи, мои грехи, вразуми и помоги!

«Вот это горе так горе, а то, что было раньше, чепуховина», — только сейчас дошло до него. Смерть единственного сына он, точно, не переживет.

Александр Кузьмич заставил жену рассказать о болезни и принялся колдовать над сыном со своими травами и заговорами.

И то ли травы помогли, то ли богородица вняла мольбам родителей, а может, само естество ребенка побороло болезнь, только, провалявшись еще неделю без памяти, Ваня как-то утром открыл глаза.

Татьяна Ивановна с мужем воспрянули духом, но вскоре пришли в еще большее смятение. Ваня жаловался на сильную боль в глазах, говорил, что ничего не видит, и просил закрыть окна ставнями, так как от света глаза болят еще сильнее. Мальчика перетащили на печку, и там он лежал целыми днями, пряча глаза от света и потихоньку поправляясь.

А в доме кипела работа. Александр Кузьмич усадил жену и старших дочерей раскрашивать картинки. У Татьяны Ивановны и так забот по дому хватало, но перечить мужу не стала. Подумала,

что и девчонкам дело будет пользительное, чтобы не шастали по подругам.

Сначала девочки с радостью взялись за расцветку. Дело это казалось им интереснее других домашних. Весь день теперь сидели над картинками. Застывали спины, немели с непривычки руки.

— Что, и света белого видеть не будем? — язвительно спрашивала острая на язык Настена.

— Увидишь свет белый, когда на заработанные деньги шубу купишь, — добродушно потрепал Александр Кузьмич дочь за белую косу.

Он рад был, что новое занятие его — торговля — после стольких других неудач налаживается. Цветные картинки и книги бойко разбирались офенями на ярмарках, хорошо шли в лавке.

Когда дело с раскраской картинок пошло на лад, Александр Кузьмич велел дочерям позвать раскрашивать картинки подруг, посулив им маленькую плату.

— А мальчишек можно покликать? — опять встряла Настена. Татьяна Ивановна шутя огрела дочь за дерзость полотенцем по спине. А отец только усмехнулся: «Десять лет девчонке, а она уж о парнях думает».

Дочери привели подруг. Из кухни в переднюю притащили еще один стол, и все работали там с шутками и прибаутками.

Во время работы Татьяна Ивановна рассказывала:

— У меня отец пономарем был, а сперва звонарил три года, так что все мое детство на церковном дворе прошло. Сколь раз с отцом на колокольню лазала. Занятно. Всю округу видать.

— А сама звонила? — спрашивала маленькая Кате-ринка.

— Думаешь, это просто? Отец руки и ноги веревками обвяжет и дергается, смотреть страшно, а звон — усладителен. Но больше я его любила слушать с земли. И отец гнал меня с колокольни, когда звонить начинал, говорил: «Нельзя тута. Оглохнешь». А до того показывал: «Вот это — благовестный колокол, это — вечевой, а это — набатный». Я красный звон люблю, когда сердце тает^ его слушамши. А звонить звонила, уж в девках, в светлую седмицу дозволяли звонить всем желающим, люди особо приходили…

Ваня оправился от кори и золотухи, но глаза по-прежнему болели. Только в сумерки слезал он с печки, чтобы посмотреть расцвечиваемые картинки, они очень занимали его.

Отец повез сына в уездный город Вязники, нашел доктора, тот выписал лекарств, дал рекомендации, велел выждать.

Время выждали, а дело на поправку не шло. Ваня слеп, и Александр Кузьмич, отправляясь в Москву за новой партией товара, взял с собой сына.

Ваня сидел или лежал в телеге с черной повязкой на глазах. И как Александр Кузьмич ни развлекал разговорами сына, дорога показалась мальчику неимоверно длинной.

Бывший владелец Мстёры генерал Тутолмин помог Александру Кузьмичу устроить сына в больницу. Там удалось вернуть зрение только одному глазу: слишком запущена была болезнь. Но для Вани, почти год не видевшего света, и это было большой радостью. Исчезла боль, он видит, а что видит только одним глазом — это в первое время и не замечалось.

После больницы, когда Александр Кузьмич приехал за сыном в Москву, Ваня вместе с отцом попал в металлографию Логинова.

Пока отец занимался делами с хозяином, Ваня бесцельно бродил по просторному двору. Двор примыкал к каменному зданию, из которого шел непрерывный громкий стрекот. Ваня попробовал заглянуть в окно через стекло — что там? Но стекло отсвечивало, и увидеть ничего не удалось.

Радуясь прозрению, Ваня теперь с любопытством рассматривал все вокруг. Он постоял у распряженных лошадей, потом подошел к полураспакованному большому ящику и принялся разглядывать спрятанную в нем диковинную машину.

В это время одно окно в шумном доме распахнулось, и оттуда высунулась кудлатая мужицкая голова. Мужик подмигнул Ване и сказал, улыбаясь:

— Хочешь посмотреть, как эта штуковина работает?

— Хочу, — встрепенулся Ваня.

— Валяй сюды, — показал рабочий на дверь.

Ваня, счастливый, бросился в дверь, боясь, как бы мужик не передумал. Взлетел вверх по ступенькам низенькой лесенки, повернул налево, в распахнутые настежь двери, из которых на него обрушился густой перестук машин, и замер на пороге.

— Что, сробел? — стараясь перекрыть шум цеха, крикнул кудлатый мужик…

Александр Кузьмич едва разыскал сына и сам, вместе с ним, с интересом рассматривал печатные станки.

Радостные возвращались отец и сын. Ваня жадно оглядывал Москву, ее многочисленные церкви, особняки с белыми колоннами. А когда Москва кончилась, заскучал и задремал.

Сквозь сон он слышал, как возвращающийся с ними из Москвы мстёрский крестьянин Тихон Степанов говорил:

— Дорог в Расее-матушке много, а такая, этапная, Владимирка, одна, — сказывают, кажну неделю Бутырка ставит на нее нову партию арестантов, а по всему-то Сибирскому тракту их, поди, полсотни рассеется.

И вдруг странный, не колокольчиковый звон вырвал Ваню из

полусна. Мальчик сел и завертел головой: «Что это? Откуда?»

— Спи, спи, сынок, — строго сказал Александр Кузьмич и даже толкнул сына под мешковину. Очень не хотел Александр Кузьмич, чтобы Ваня увидел кандальников, а именно их печальный звон разбудил мальчика. Боялся Александр Кузьмич, как бы это скорбное зрелище не травмировало чувствительную душу сына и тем самым не ухудшило его состояние.

Но Ваня уже понял, что звон — впереди, что их повозка догоняет его, и весь напрягся от недоумения и страха.

Наполовину по шоссе, наполовину — по обочине, уступая место пролеткам, впереди них двигалась большая толпа людей. С понурыми головами, серыми лицами, в помятых и грязных сермягах, они едва волочили ноги, закованные в кандалы. Толпа ползла в окружении солдат с ружьями.

Ваня понял, что это арестанты. Он уже слышал о них, и все-таки зрелище потрясло его.

Тихон притормозил было, оглядывая кандальников, но сразу два-три голоса из конвоя закричали на него:

— Пшел! Пшел!

И телега медленно поехала вдоль колонны. Ваня внимательно вглядывался в нее, выхватывая то одно, то другое щетинистое лицо.

Парень в черной шинелке с блестящими пуговицами натужно кашлял, щеки его пунцовели, остальная же часть лица была мертвецки бледной, а на губах алела кровь. Кашель мешал ему идти, юноша сбивался с шага, и стражник покрикивал на него.

Повозка Голышевых уже миновала это печальное шествие и оказалась возле двух подвод, ехавших впереди, как сзади случилась какая-то суматоха. Устрашающе зашумела охрана, и вдруг вырвался короткий отчаянный крик:

— Ой, сердешный!

Ваня оглянулся и увидел, что толпа подневольников смешалась: часть ее ушла вперед, а в середине что-то произошло, именно там шумели и вскрикивали. Задняя часть тоже остановилась, и арестанты, воспользовавшись этим, присели прямо в грязь на дороге.

Стража еще больше взволновалась, принялась бить сидящих прикладами, поднимая их. А из середины колонны конвоиры кого-то несли к подводам, грубо ухватив за руки и за ноги.

В самом начале суеты Тихон, невольно или специально, опять притормозил, а отъехали они от этапных телег шагов тридцать, и Ваня увидел теперь, что солдаты несут того самого бледного, кашлявшего молодого человека. Они бросили его на повозку, а парень так и остался лежать, как его кинули, не

пошевельнувшись.

— Помер?! — вырвалось отчаянно у Вани.

— Может, только в беспамятстве, чахоточник, студент, — успокаивающе сказал Александр Кузьмич и ласково потрепал сына по плечу.

— Пшел! Пшел! — опять закричали охранники на Тихона, и Ваня, удаляясь, смотрел, как они брезгливо очищались от грязи, которой испачкались, таща к подводе студента, как арестанты подравнялись под окриками стражи и колонна медленно поползла дальше. Юноша на подводе по-прежнему не подавал признаков жизни, и никто ему не оказывал помощи. Звон затихал и вскоре умолк, а потом и темная гусеница кандальников, хорошо видная с взгорка, на который поднялась повозка Голышевых, скрылась за поворотом.

Рабочие металлографии Логинова, показывая провинциальному мальчику, как делается оттиск с металлической доски на бумагу, представить себе не могли, что предопределили его судьбу.

Насмотревшись на печатные заведения, Ваня дома принялся играть в металлографию с младшими сестренками — Фелицатой и Катеринкой.

Потихоньку от родителей он снял из божницы образ, натер его сажей с маслом и принялся оттискивать на бумагу. Перепачкался сам и измазал сажей все вокруг.

Сестренки так громко потешались над незадачливым печатником, что пришла с огорода Татьяна Ивановна проверить, что затеяли ее малыши. Она всплеснула руками, увидев сына:

— Ты зачем Чудотворца вымазал сажей, негодник?!

— А он картинки печатает, — пропищала четырехлетняя Катеринка.

Позвали отца. Александр Кузьмич, узнав, в чем дело, к удивлению мальчика, не устроил ему порку, а ласково взлохматил сыну макушку:

— Помощничек растет.

Но образа трогать запретил.

ГЛАВА 5 Холуйская ярмарка

Новое занятие Александра Кузьмича пришлось Ване по душе. Всю стенку над своим сундуком он увешал героями любимых и много раз слышанных от матери и старших сестер сказок. Эти картинки были как бы противовесом отцовскому Апокалипсису. Сильный, статный Бова Королевич побеждал Полкана. Могучий богатырь Еруслан Лазаревич убивал трехглавого змия. Надежду внушал поединок Францыля Венциана с персидским рыцарем Змееуланом. Но особенно нравилась Ване картинка «Мыши кота погребают». Посредине картинки лежал на санях со связанными лапами большой кот, а вокруг него, в несколько ярусов, шествовали мыши. Под картинкой было что-то написано, но читать Ваня еще не умел и просто подолгу рассматривал картинку.

Кот был жирный, усатый и большеглазый. Мыши — не пугливые, как в жизни, а какие-то горделивые и даже проказливые.

Ваня не вылезал теперь из отцовской лавки. Лавка-склад была рядом с домом, в специально построенном каменном сарайчике из красного кирпича, какие на Руси давно ставили для сохранени добра от пожаров.

Утром, гремя замком, отец открывал кованые двери лавки, сажал сына за прилавок сторожить редких покупателей, а сам на складе, за перегородкой, увязывал книги и картины, готовя их к предстоящей Холуйской ярмарке, на которой офени обычно покупают товар, отправляясь в дальний путь.

Сидеть в лавке для Вани было не трудом, а радостью. Он готов был целыми днями рассматривать книжки.

— Тять, почитай про коней, — забыв свой служебный пост, шел Ваня к отцу за перегородку, едва волоча большую книжку с картинками. На обложке ее перед высоченным домом с колоннами скакали тонконогие лошади с всадниками в огромных шляпах.

— Это не книжка, а альбом гравюр, — объяснял Александр Кузьмич сыну, — у тебя руки-то, поди, грязные, оботри.

Он садился рядом с сыном, листая альбом.

— Да не мусоль страницы-то: вещь не дешевая. Вот взял себе на голову, нихто альбом не берет, а поди навяжи теперь коробейникам… Тяжела да дорога для них.

Отношение Александра Кузьмича к книгам и картинкам было такое же, как у сына. Он брал в первую очередь те, которые его самого заинтересовали, потому частенько терпел убытки. Так вот

и с этим альбомом.

После тяжелой болезни сына Александр Кузьмич помягчел к домашним, а в сыне души не чаял. Страсть сына к книгам и картинкам радовала Александра Кузьмича, внушала надежду, что будет кому передать свое дело.

А дело спорилось. В подвале сидело теперь за раскраской картинок уже два десятка мстёрских девочек. Заработок цветилыциц был мизерный, но для большой семьи и он — подспорье, и матери охотно отдавали своих малолетних дочерей в обучение к Голышеву.

Во второй половине августа Ваня поехал с отцом в Холуй на Флоровскую ярмарку.

Холуй — большое старинное село — стоял за Клязьмой, в 25 верстах от Мстёры.

В древности вотчина Троицко-Сергиевской лавры и Суздальского Спасо-Евфимьевского монастыря — Холуй с XVI века «был приспособлен» к иконописному делу. Так же, как во Мстёре, писание икон способствовало развитию торговли. Сотни тысяч образов развозили и разносили ежегодно офени по торжкам да заглушным деревням для промена на яйца и лук.

Для такой торговли иконы писались самые дешевые, «расхожие». От однообразия работы и скуки мастера иногда пошаливали, рисовали божий лик похожим на соседа Прохора, обували святых в лапти, а Христофора рисовали с песьей мордой.

Проказы иконописцев вынудили царя Алексея Михайловича урезонить эту «инициативу» особой грамотой: «В некоей веси Суздальского уезда, иже именуется село Холуй, поселяне пишут святые иконы без всякого рассуждения и страха, с небрежением и не подобно… и тем иконописцам впредь святых икон не писать и о том всем посылать грамоту из патриаршего разряду».

И с давних пор укрепилось в Холуе пять гуртовых ярмарок, на которые, именно надеясь сбыть товар перекупщикам и офеням, съезжался торговый люд со всей России.

В середине XIX века Холуй был помещичьей землей, и холуяне платили хозяину оброк, зарабатывая на ярмарках.

В восьми корпусах холуйского торгового двора было 300 «нумеров» и лавок для приезжих, Еще сто балаганов-времянок устанавливалось специально для ярмарок. И холуяне выручали от сдачи их в аренду до четырнадцати тысяч рублей.

Три воза книг и картинок, увязанных веревками и укрытых холстиной, везли Голышевы на ярмарку.

Ехали между волнистыми полями овса, но больше дорога шла жидким приземистым березняком да по перелогам. Заунывно скрипели колеса телег. Нагруженные лошади не торопились, и

Ваня, соскочив с воза, успевал пробежать лесной опушкой, набирая в подол рубахи грибов.

— Куды ты их? — одернул его отец. — До дома не сбережем, а на ярмарке не до них будет.

Но Ване тошна была медленная езда, и он опять соскакивал с телеги, швырял шишки в белок, гонялся за ужами или слушал болтовню отца с нанятым рабочим.

Четыре с половиной часа езды от Мстёры до Холуя, но у перевоза через Клязьму застряли надолго. Вереница из сотни подвод, тоже едущих на ярмарку, скопилась тут в ожидании переправы.

Ваня взглянул на противоположный берег и ахнул. Там стояли на приколе десятки различных судов. На целую версту от перевоза, до самого впадения реки Тезы в Клязьму, тянулась Холуйская пристань. Сам Холуй был в шести верстах от Клязьмы, на берегу речки Тезы. С мая по ноябрь несколько сот различных судов приставало к Холуйской пристани. А по Тезе, от устья до Холуя, бурлаки тянули построенные специально для мелководной Тезы суденышки, барки, прозванные тезянками.

На холуйские ярмарки приезжали купцы из Москвы и Петербурга, из дальних донских уездов и с Кавказа. Ваня был поражен теснотой съехавшегося на ярмарку люда.

Отец снял под книжную и картинную торговлю один из балаганов и принялся готовиться к открытию ярмарки.

Накануне ярмарки священник с крестом обходил каж-Дую лавку, беря за освящение соответственную мзду.

В ночь перед ярмаркой, как полагается по месяцеслову, в канун святых Флора и Лавра, выпал первый осенний утренник. Потом, под лучами солнца, ночная роса испарилась, и утро разогрелось в теплый солнечный денек.

Отец отпустил Ваню походить по ярмарке: «Иди, обглядись, приценись к товарам».

Очарованный, мальчик бросался от одного балагана к другому. Пурехские крестьяне торговали расписными солоницами, ложками, веретенами и телегами. Рядом, с трех высоко нагруженных возов, шла бойкая торговля лаптями. Тут же лычажники предлагали длинные темные трубочки лыка для плетения лаптей.

Парни толпились у лотков с табаком и серными спичками. Бородатый мужик в холщовых портах торговал овчинный тулуп, а купеческая жена примеряла шитую бисером мантилью. Старица накрывала голову новым черным платком, а девицы, приглядываясь, мяли в руках коленкоры.

Кучка любопытствующей голытьбы толкалась у прилавка с

искусно выставленными (видит око, да зуб неймет) драгоценными украшениями села Сидоровского Костромской губернии. Только на ярмарке и могли полюбоваться бедняки-крестьяне на серебряные и золотые ожерелья, серьги, броши.

Плотным кольцом мужики теснились вокруг пятачка, на котором казанские татары выгуливали лошадей. Ваня загляделся на яркие шелковые халаты и расшитые золотом тюбетейки, надетые на бритые головы.

Вдруг толпа расступилась, пропуская фасонистые артели офеней. Впереди первой гоголем вышагивал офеня-хозяин, в поярковой шляпе, в оленьих перчатках. Пазуха его, подпоясанной под живот, суконной чуйки отвисала от денег-ассигнаций. Вслед за хозяином, гуськом, одетая на его манер, только победнее и посерее, франтовато шла его артель приказчиков, с кожаными кисами и мешками серебряных денег на плечах.

Вторую артель возглавлял ферт в длиннополом кафтане, в высоком суконном картузе, набитом пухом, и в опойковых перчатках. Третью — мужик в коротком сюртуке, увешанный ленточками.

Целыми гуртами приезжали офени на Холуйскую ярмарку, занимали табором большую поляну возле постоялого двора и отправлялись спервоначалу покупать лошадей — и подводы. За этим напряженно следила вся ярмарка, ибо по тому, сколько будет продано лошадей и телег, купцы и лавочники прикидывали предстоящую выручку.

Торговцы встречали офеней, как дорогих гостей. Сначала шел расчет за взятый ранее в кредит проданный товар. Потом хозяин усаживал офеню: — Чайку покушайте!

А сам принимался трясти перед ним новым товаром. Офеня куражился. Попивая чаек, небрежно посматривал на демонстрируемые ему шелка, гримасой отвергал одни, небрежным движением руки велел отложить для себя другие, полагаясь на вкусы и заказы покупщиков той местности, в которую офеня ходил много лет сряду.

Отобранный товар лавочник записывал офене кредитом в книгу-счет. Большинство коробейников было неграмотно. На этой почве и случился скандал, которому Ваня Го-лышев стал свидетелем.

Пожилой офеня, тыкая пальцем в крест, поставленный в книге-счете под списком товара, взятого в кредит в прошлом году, уверял хозяина балагана, что похерил долг. Крестом лавочник отмечал обычно неграмотному офене, что долг погашен. Купец доказывал, что крест не настоящий, отпечатался с другой страницы, когда он забыл промокнуть его песком. Офеня

же не верил этому, так и ушел от кредитора обиженный.

Но торговцы обычно бывали с офенями обходительны и ласковы, прочий ярмарочный народ — почтительно уважителен, а девицы так и глазки им строили.

Ваня Голышев потолкался среди мелких торгашей, обвешанных связками лука, баранок и вяленой рыбы. Разноцветные рубахи мужиков, нарядные, своим особым узором расшитые девичьи кофты, яркие ленты в косах, веселые лица — все это празднично расцвечивало ярмарку, превращая ее в настоящее народное гулянье.

Самыми выгодными покупателями на ярмарке были приезжие купцы. Тифлисские армяне торговали сто пятьдесят кусков крашеного миткаля. Елабужские купцы — овчинно-шубные товары, а красноярские телегами увозили вичугские бязи и скатерти, ивановские холстинки и ситцы, покровские ножи, ножницы, а также грабли и ободья для телег, решета и хомуты.

Голышевы снабжали офеней на Холуйской ярмарке картинками и книгами. После завершения торговой операции Александр Кузьмич, по традиции, вел всю артель в трактир и угощал офеней, а купцы побогаче, бывало, и подарочек каждому офене преподнесут.

Хоть чаще всего офеня ходил теперь по России с возом, тележкой или санками, но и ходебщики-коробейники, с лавками-ящиками или холщовыми торбами за плечами, не перевелись. Эти еще глубже рассеивались по России, заглядывая в самые глухие ее уголки.

Шнурки, бусы, ленты, иглы, нательные крестики, помада, духи, два десятка серобумажных дешевых книжек да сверток народных картинок — вот и все содержимое короба офени-мелкоты, и давай бог ноги…

Голышевы возвращались домой порожними, с хорошей выручкой и с гостинцами. Везли чай и голову сахара, Татьяне Ивановне — новый шелковый платок, Аннушке и Нас-тене — кумача на сарафан, а Фелицате и Катеринке — орехов и резных пряников. Ване отец купил для школы новые штаны и рубаху, а для потехи — бенгальские огни. К огненным утехам у отца и сына был особый интерес. В бытность бурмистром Александр Кузьмич устраивал на масленице для мстерян фейерверки. Дома же искры сыпались у Голышевых, почитай, всякий праздник.

В ноябре Ваня пошел в школу. Из-за болезни он начал учиться не с восьми, как другие дети, а с девяти лет. Обучение было самое незавидное: церковная, или славянская азбука, часослов и псалтырь — вот и вся словесность. Кое-как успевали научиться писать гусиными перьями, о грамматике и арифметике

и помину не было.

Возглавлял церковно-приходское училище молодой священник Богоявленской церкви Онисим Мартынович Вишневецкий, он же преподавал Закон божий.

Программа по Закону божьему была велика, требовала много труда от законоучителя, а его то и дело отвлекали дела службы и паства, поэтому частенько архипастыря заменял старенький, заштатный поп, его родственник.

Религиозное чувство внушалось детям вообще с пеленок. Совсем маленького Ваню водили к заутрене, обедне и вечерне; заставляли креститься и кланяться, проходя мимо церкви или часовни, а также когда ударит колокол к обедне, утрене и вечерне. Без молитвы не садились за стол и не ложились спать. Во время обеда и ужина креститься надо было перед тем, как начнешь есть новое блюдо. Вместе со взрослыми дети постились, а в праздничные дни до обедни не смели и чаю выпить.

И училище ставило главной задачей насадить в юные сердца религиозно-нравственные понятия, внушить любовь к царю и Отечеству, пробудить искреннюю любовь к богу и человеку и укрепить ее.

По вечерам теперь Ваня с отцом читали псалтырь. Он считался боговдохновенной книгой, хранился, как сокровище, у образов, будучи переплетен в доски и кожу с медными застежками, и переходил из рода в род как дорогое наследие. И Ваня учился по псалтырю деда.

Училище совсем не развивало способностей учеников и даже заглушало их. Первый год зубрили молитвы, заповеди и немножко учили священную историю, для пояснения молитв и богослужения: «Научиться Христову смирению есть великое благо; с ним легко и радостно жить, и все бывает мило сердцу… Чтобы спастись, надо смириться, потому что гордого если и силою посадить в рай, он и там не найдет покоя и будет недоволен… А смиренная душа исполнена любви и не ищет первенства, но всем желает добра и всем бывает довольна… Ты говоришь: у меня много горя… смирись и увидишь, что твои беды превратятся в покой…»

На уроках церковно-славянского читали в псалтыре Устав всенощного бдения и литургии.

Чтобы восстановить усталые силы учеников и вызвать их к новой деятельности, устраивалось пение.

Содержалось училище миром. Правительство только санкционировало школу, указывало ей общее направление. И крестьяне не очень-то жаловали эти училища. Образование их не прельщало, экономической пользы учения они не видели.

Укрепляли это пренебрежение и всякие россказни. Раскольники, чтобы подорвать авторитет священника и его училища, рассказывали такой случай.

Солдат прислал домой в деревню письмо. Неграмотные его родители понесли письмо для прочтения лучшему ученику церковно-приходского училища. Собралась послушать весточку от солдата многочисленная его родня. Ученик же никак не мог разобрать написанное, пыкал-мыкал, что-то врал, но письмо осилить не сумел. Отец мальчика так рассердился, что запретил сыну ходить в школу — нечего зря деньги переводить.

Такой казус мог случиться в любой церковно-приходской школе того времени, так как во многих из них учили читать и писать, пользуясь только печатными буквами алфавита, и выпускники потом не умели читать тексты письменные.

Жалели средств для училища даже обеспеченные крестьяне. А собирать деньги приходилось то и дело: на дрова, на мебель, на письменные принадлежности. И даже те из мстерян, кто стоял за училище, как только дело касалось взноса на его содержание, хотя бы даже самого незначительного, теряли всякое сочувствие к нему и тянули с уплатой. И бурмистру вместе с архипастырем приходилось, как милостыню, выпрашивать эти средства.

Раскольники не отдавали своих детей в училище православной церкви и, хотя закон запрещал им, устраивали школы на дому, с первых лет жизни уводя детей в раскол.

Многие же крестьяне не учили сыновей от бедности. Егорка Петряев, с которым Ваня сидел в училище рядом и сдружился, исчез, не проучившись и месяца.,

Ваня отправился навестить друга, но не застал его. Отец Егорки, офеня, не бывал дома с осени до июня. Мать оставалась одна с десятерыми детьми, мал мала меньше. Восьмилетний Егорка был старшим.

Ваня поразился нищете этого семейства. По полу плохо протопленной избы ползали полуголые годовалые двойняшки. В грязном тряпье зыбки исходил криком новорожденный. Старшие дети, играя в козанки, не подходили к нему, будто не слыша отчаянного крика малыша. Все вокруг было бедно и грязно.

Мать Егорки, войдя с улицы с ведрами, сказала Ване, что Егорка больше не пойдет в училище, что она отдала его в ученики к иконописцу Пантыкину.

Ваня всё-таки решил повидать Егорку и отправился в мастерскую богатого крестьянина-иконника.

Мастерская была в первом, подвальном этаже большого дома Пантыкиных. Пятнадцать восьми-девятилетних мальчиков обучались в ней иконописи, одновременно батрача на хозяина.

Это были ребята из многодетных бедных семей, часто из тех, в которых много девочек-нахлебниц, а парень — один, старший, и отец с матерью ждут не дождутся, когда он подрастет, овладеет каким-нибудь ремеслом и станет приносить в дом деньги.

В течение указанного в договоре срока (четыре, пять, шесть лет) ученики ничего не получали за свое иконопи-сание, только могли заработать «заурочные» — написать икон, трудясь дома по ночам, больше нормы, установленной хозяином.

Егорку это огорчало больше всего. Он жаловался, что хозяин мало учит делу, больше использует как мальчика на побегушках и лупит за малейшее непослушание, что матери об этом он говорить боится, как бы она не забрала из мастерской. Егорка мечтал стать иконным мастером.

— Вот дал мне хозяин образ святого евангелиста Иоанна Богослова, и буду теперь его рисовать пять месяцев, пока рука не приноровится писать пригоднь? для продажи иконы, — рассказывал Егорка. — Хозяин л нашу мазню продает; хоть и подешевле, а все же ем} набегает; нам же ни копейки не платит.

Ваня был поражен размахом работы иконописцев. Пирамиды «дерев», досок для икон, с полу до потолка стояли вдоль стен мастерской. Ваня подумал, что досками запаслись на весь год, а Егорка сказал, что работы тут на три дня.

В мастерской было полутемно и сыро, сильно пахло левкасом — грунтовкой досок. Посреди комнаты за длинным столом сидело десять взрослых иконников. Стол освещало всего две осьмериковых свечи.

С потолка к самым свечкам были спущены на веревочках пять глобусов — круглых, белого стекла, бутылок с водой. Бутылки, усиливая свет, доносили его до рабочего места иконников, сидящих друг против друга. На столе были расставлены деревянные ложки с красками, горшочки с водой, кисти, яичная скорлупа с яйцом для разведения красок, деревянные циркули…

Ученики, взяв чистую доску, заклеивали имеющиеся на ней трещины клеем и обрезками бумаги, левкасили-грун-товали алебастром, потом еще раз левкасили тем же грунтом, но выполняя работу уже почище. Давали доске подсохнуть, счищали ножом неровности грунтовки, потом стирали влажной тряпкой более мелкие шероховатости и полировали грунт мокрой ладонью. Так доска готовилась к нанесению рисунка.

Дело было отлажено десятилетиями. Изученная до тонкости технология передавалась от отцов к детям, от мастеров — ученикам. И все работали как автоматы: бездумно, часто без умолку болтая, заученно переходя от одной операции к другой.

У Пантыкина писали в основном иконы «расхожие», и работа

шла по конвейеру. Мастер-долечник писал, скажем, только руки и передавал икону своему товарищу, пишущему пейзаж. Работа стоила очень дешево, иконы эти тоже продавались почти задарма, едва покрывая стоимость употребленного на них материала.

Другие простые работы — крушинить, олифить, подписать стоили десять — пятнадцать копеек за сто икон, и в День можно было успеть обработать триста — четыреста, а то и пятьсот образов.

Начертание лиц требовало уже большей квалификации, и иконник-личник успевал за день написать только от двадцати до пятидесяти лиц, и каждый лик стоил рубль сорок копеек.

Нанесение серебра требовало особого искусства, потому выполнял эту операцию более опытный мастер и получал за нее еще больше.

Мастерская произвела на Ваню тяжелое впечатление. Вернувшись домой, он рассказал о ней отцу.

— Известное дело, богачи, — сказал он, — об народе не думают.

Голышевы на зиму распустили цветилыциц по домам, потому что по зимам в подвале было холодно и темно.

Теперь картинки раскрашивались «семейственно». Освободившись от летне-осенних огородных дел, расцвечивать картинки усаживались вместе с малолетками хозяйка дома и старшие дочери.

ГЛАВА 6. На пороге новой жизни

В ночь под Рождество Ваня только заснул, как на крыльце их дома затопало много ног, а в дверь громко и требовательно забарабанили.

— Ряженые пришли! Ряженые пришли! — радостно закричали Анна с На-стеной и умоляюще бросились к отцу: — Тятенька, пусти их ради бога!

Александр Кузьмич пошел открывать.

Ваня проснулся, но одеваться было некогда, и он, босой, в короткой рубахе, выглянул из-за заборки, пряча за нее нижнюю, бесштанную часть тела.

С морозным столбом пара в избу ворвались с песнями и криками разношерстно разряженные парни и девки. В руках у одного была посаженная на палку тыква с вырезанными глазами и ртом. Внутри нее была свеча, отчего тыква, как голова, сверкала огненными глазами и ртом. Ряженые пели:

Тетушка, матушка! Хлебца кусочек, Лучинки пучочек, Кокурочку с дырочкой, Пирожка с начинкой, Поросячью ножку Да жарену лепешку.

А парень в вывернутой наизнанку овчинной шубе подступил вплотную к Татьяне Ивановне и забасил:

Не подашь лепешки — Разобью окошки. Не подашь пирога — Разобью ворота!

По обычаю, накануне Рождества резали свинью и, делая студень, хоть одну ногу оставляли для колядчиков-ряженых.

Александр Кузьмич принес из сенцов свиную ногу, а Татьяна Ивановна достала из-под расшитого полотенца еще не успевшие остыть пироги с грибами и подала гостям.

Ряженые стали плясать и кланяться хозяевам, и тон их песен'тут же изменился, стал заискивающе-ласков:

Дай вам, господа, Всего-то, всего! Одна-то бы корова По ведру доила. Одна-то бы кобыла По два воза возила.

Потом коляда так же шумно, как появилась, выкатилась на улицу, чтобы идти в другие дома.

И отстраненный от должности бурмистра, Александр Кузьмич старался где бы то ни было уколоть раскольников.

В 1848 году проезжал по своей епархии владимирский архимандрит Парфений. Старообрядцы решили воспользоваться приездом во Мстёру преосвященного и выпросить у него разрешение на строительство в слободе единоверческой церкви.

По общепринятому правилу для приема высокого гостя на мирской счет было приготовлено роскошное угощение.

Специально для торжества доставлены были живые стерляди.

Когда выставленные дозорные донесли, что архимандрит уже близко, бурмистр, в то время — богатый раскольник, с многочисленной свитой и хлебом-солью вышел встречать гостя на окраину Мстёры.

Александр Кузьмич Голышев опередил процессию и встретил гостя далеко за околицей. Они были знакомы по прежним приездам архимандрита, в бытность Голышева бурмистром. Отец Парфений уважал Голышева и теперь решил прогуляться с ним пешком, поговорить. Конечно, Александр Кузьмич рассказал, как раскольники расправились с ним. И архимандрит, беседуя с Голышевым, демонстративно прошел мимо встречавшей его раскольничьей свиты и направился прямо в Богоявленский собор.

Бурмистр прислал в храм своего помощника, приглашал гостя на праздничный ужин в свой дом. Но гость не ответил на приглашение. Пришлось бурмистру-раскольнику самому явиться в православную церковь.

— Стол уже накрыт, — уговаривал он важного гостя. Но архимандрит сказал:

— Як раскольнику в дом не могу войти.

— А я не раскольник, хожу в церковь, — растерянно отвечал бурмистр.

— И мыши ходят, — съязвил архимандрит и остался ночевать у священника.

После этого раскольники закидали графа Панина доносами на Голышева и даже требовали, чтобы он возместил расходы по несостоявшемуся застолью.

Ваню пугали склоки отца с раскольниками и постоянно преследовали зловещие предчувствия, что ни к чему хорошему эти распри не приведут.

Особенно мальчик боялся, что отца публично высекут розгами. Как-то один раскольник поймал Ваню на улице за подол рубахи, притянул к себе, сидя, зажал между колен и, дыша жаром в самое лицо мальчику, зло прошипел:

— Твой отец живет в подклете, а кашляет по-горнич-ному. Скажи ему: ежели не угомонится, то лежать ему на графской конюшне.

Ваня не раз видел, как водили на графскую конюшню сечь не плативших оброк бедных крестьян.

— А твой отец — битый! — дразнили потом мальчишки сыновей этих мужиков. Быть битым считалось большим позором.

По решению волостного суда секли и за другие разные провинности. Бурмистрство освобождало Александра Кузьмича от телесных наказаний. Когда его из бурмистров фактически

выгнали, отец лишился этой привилегии, и раскольники открыто грозили ему расправой.

Ване становилось жутко, когда на безлюдной улице он встречал толпу мальчишек. И жуть была не только от опасения побоев. Когда они оравой налетали на него, его мучила не столько боль от пинков и ударов, сколько страх за обидчиков, которые за сей грех будут потом кипеть в огненном котле. И он не отвечал на тумаки не от бессилия и бесполезности (налетчиков — много, он — один), а с надеждой, что если он не будет сопротивляться, то мальчишки быстрее угомонятся, оставят его в покое, и тогда грех их немного укоротится. Дома он прятал синяки и кровавые подтеки, чтобы не вводить в грех отца.

Школа тоже приучала боязливо мыслить и чувствовать, не сметь сомневаться, осуждать и действовать.

В школе Ваня боялся законоучителя, который мог неожиданно и больно стукнуть книгой по рукам или по голове. Боялся сидящего сзади Сашку Проклова, от которого можно было ожидать любую каверзу.

В училище безопаснее было ни о чем не спрашивать священника, скрывать свои мысли и даже само желание и умение думать.

При всем при этом мальчика везде и беспрестанно мучила виноватость. Дома он чувствовал себя виноватым перед отцом, перед сестрами и матушкой. В училище — перед всеми, начиная со сторожа. В церкви — перед богом, перед образами и паникадилами. На улице — перед прохожими и даже — перед собаками…

Радости все остались в раннем детстве. Теперь терзали постоянное беспокойство, ожидание чего-то дурного. Мучило сознание своей ничтожности, бесполезности, неуклюжести и греховности. Он был во всем виноват, а значит, все могли его обижать, обвинять, наказывать. Близость и неотвратимость скорого конца света, неизбежность ада — делали саму жизнь бессмысленной.

Граф Панин не стал на этот раз и разбираться в жалобе раскольников, просто прислал в вотчинное правление свое указание: «…разрешаю записать в расход из мирской суммы деньги, издержанные на приготовление угощения Владимирскому Преосвященному Парфению во время посещения Слободы Мстёры; но вместе с тем предписываю объявить крестьянину Голышеву, что он не восчувствовал, как следовало, снисхождение, оказанное ему в год кончины покойной Графини… по ходатайству мирского общества, а потому если впоследствии даст повод к распрям, то будет удален из вотчины».

Рука помещика — владыка. Очень обидел граф бывшего бурмистра. Несправедливо обидел, считал Александр Кузьмич.

Ваня уже понимал, что он — собственность барина, который живет очень далеко, в столице. Тут, во Мстёре, граф никогда не был, но все его панически боятся, даже злые богатые раскольники. И помещик вырастал в воображении мальчика в огромное чудовище, заглатывающее живых людей.

Граф несправедливо выгнал отца из бурмистров. А теперь еще пригрозил выселить их из Мстёры. Это больше всего испугало Ваню. Куда они пойдут? Здесь их дом. Хотя мать говорит, что и дом собственность графа. Но есть же совсем недалеко, в деревне, крестьяне без помещиков. Их называют казенными. Ваня не понимал значения этого слова. Однако отец говорил, что казенные крестьяне, бывает, живут еще хуже.

— А их тоже секут на графской конюшне? — спрашивал Ваня.

— У них нет графа, нет конюшни, и их не секут.

И Ваня мечтал стать казенным уже потому, что казенных не секут.

Последнее предписание Панина связало Александра Кузьмича по рукам и ногам. Воюя с раскольниками, он считал, что стоит на страже государственного правопорядка и православия и его поощрить надо, а не наказывать. Граф же не захотел ни в чем разбираться, односельчане не поддержали. И Александр Кузьмич дал себе слово вообще больше не вмешиваться в вотчинные дела.

Он серьезно занялся обучением сына рисованию, учил его писать образа на стекле и на доске. Внушал:

— Учись, станешь художником, может, вольную получишь.

Александр Кузьмич еще в молодости пытался откупиться у помещика, но тот отказал. Теперь он хотел дочерей выдать замуж за купцов, чтобы уйти из податного сословия, а сыну дать образование.

Успехи сына в учебе и рисовании радовали Александра Кузьмича и давали надежду, что мечты его осуществятся.

От тяжелых дум Ваню отвлекали детские потехи. В чистый понедельник (первый понедельник великого поста) с утра мальчишки, собираясь толпами, вооружившись палками, шли по Мстёре, из дома в дом, переводить мышей.

Подходя к избе, они кричали в окно:

— Мышам перевод!

Хозяйки были рады мальчишкам, распахивали перед ними ворота и вели, в первую очередь, в подполье.

Гурьбой мальчишки лазили по подполью, стучали палками по углам и оглушительно кричали:

— Мыши, мыши, вон! Кыш, чертово племя!

Бытовало поверье: если мальчишки-гонялыщики обойдут все мышиные места и хорошо пошумят, то весь год потом не заведется ни одной мышки.

И хозяйки водили мальчишек (им это не работа, а потеха) по амбарам, сеновалам и погребам. А потом угощали пряниками и черносливом, а кое-что, как, например, небрежно лежащие мороженые или моченые яблоки, мальчишки и сами прихватывали.

Почти в каждом доме были кошки и механические мышеловки, однако суеверие не пропадало. И пуще всего хозяек пугала в этот день нежданная гостья, позабывшая про обычай. Считалось, что если в этот день в дом зайдет девица, то в него сразу отовсюду сбегутся мыши и их уже не выгнать никакой силой.

Потому забывшуюся девушку встречали у порога бранью и в избу не пускали. И девушки в этот день сидели по домам.

Александр Кузьмич Голышев первый в Мстёре стал торговать картинками, и теперь у их лавки постоянно толпился и стар и млад, а когда из Москвы приходили подводы с новыми картинками, к Голышевым торопились матери девочек-цветилыщиц, чтобы успеть набрать картинок для раскраски.

Ваня с сестрами толклись тут же, у связок с картинками, не терпелось посмотреть, что новенького привез отец. Потом картинки, уже раскрашенные, возвращались обратно в их дом, и отец разрешал отбирать от каждой стопы по две-три для развешивания по стенам дома.

Научившись читать, Ваня прирос к книгам. Теперь, запасаясь в Москве книгами, Александр Кузьмич постоянно думал о сыне. Он сам любил читать, и у него уже была дома небольшая библиотека, но много читать ему было некогда, надо было семью кормить, а Ване он разрешал часами торчать в лавке с книгами.

Весной, в разлив, река Мстёра соединялась с Клязьмою, и сотни ботников скользили туда-сюда по этому водному раздолью, взрослые — по делам, мальчишки — из баловства.

Из заречья по субботам приставало в разлив к мстёрской пристани до пятидесяти ботников с рыбой. Рыбаки-торговцы вытаскивали свои ботники на берег и, выстраиваясь в два ряда, чтобы посредине был ход для покупателя, продавали рыбу разных сортов и размеров.

Больших щук, до десяти — пятнадцати фунтов, все покупали для икры, икру мстеряне делали сами. Обварив ее три раза кипятком, мало присаливали, вываливали на решето, чтобы стекала вода, а потом укладывали в банки. Хранилась такая икра,

даже в погребе, отсилу две недели, но вкусна была необыкновенно и видом аппетитна — как янтарь.

Ребятишкам даже смотреть на рыбу — забава, и Ваня с утра толкался на импровизированном базаре.

Рыбу помельче: плотву, окуня, лещика, язя — покупали для копчения. Коптили уже не все, тут требовалось особое мастерство, и даже был свой секрет.

Но больше всей этой крупной рыбы ценились пескари, моль, малявки, они стоили дороже щук и окуней, покупались в огромном количестве и, засушенные, служили лакомством.

Мстёрские барышники, удалые перекупщики, сторожили ботники с рыбой и скупали ее оптом, сразу весь ботник, а потом со значительным барышом продавали ее потихоньку, по фунтам, «раздробительной мелкой продажей».

Иногда зарецкие рыболовы приводили во Мстёру живых сомов, приковав их цепью к ботнику, но последнее время сомы уже были не те, помельчали и прятаться стали лучше; чтобы поймать — приходилось изрядно потрудиться; и цены на них выросли.

Ваня заканчивал приходское училище.

Все мстёрские мальчики в восемь-девять лет пристраивались учиться какому-нибудь ремеслу, чтобы к совершеннолетию, женитьбе, овладеть профессией.

Александр Кузьмич хотел учить сына дальше, но, куда послать его, еще не знал. Ване нравилось рисовать. Учиться он тоже был не прочь, только страшно было уезжать из Мстёры, из дома.

Часть II Московские университеты 1849–1858

Предшественник Николая I, Александр I, был хорошо образован и, еще будучи цесаревичем, имел намерение «перевести на русский язык столько полезных книг, как это только окажется возможным». Открылось при нем множество церковно-приходских училищ, вновь учреждены были университеты в Петербурге, Харькове, Казани и Варшаве. Открылся церковно-селъский лицей, медико-хирургическая академия, разные институты, множество частных пансионов, а владельцам фабрик и заводов было «высочайше повелено» заводить воскресные школы для малолетних фабричных.

Знаменитый промышленник Демидов внес на просвещение целый миллион рублей, а граф Сергей Григорьевич Строганов решил открыть рисовальную школу для ремесленников. Путешествуя за границей, он изумлялся совершенству, «которое вносится парижскими рабочими во все произведения». «Разве не может быть так же совершенен в своем деле русский талантливый народ? — размышлял граф. — Может».

В то время как граф Строганов ратовал за образование ремесленников, князь Цертелев писал в журнале «Вестник Европы», что науки могут быть вредны для народа, если «в сообщении оных» не будет соблюдена мера. Князь считал, что крестьянину грамота и вовсе не нужна, ибо долг его — возделывать землю. А если крестьянин займется чтением, то поля останутся необработанными. И даже гораздо позднее, в 1843 году, в Академии художеств спорили, допускать ли крепостных людей к обучению художествам в училище.

Строганов же собирался открыть рисовальную школу именно для детей бедных ремесленников и крепостных крестьян, то есть для детей «несвободного состояния», и хотел обучать их бесплатно. Множество бумаг пришлось исписать графу, доказывая правительству, что карандаш для рабочего — как перо для писателя и что необходимо, чтобы каждый столяр, плотник или обойщик умел воспроизводить свои идеи на бумаге.

Александр I поддержал затею графа, и в 1825 году рисовальная школа в Москве была открыта. Восемнадцать лет Строганов содержал ее полностью за свой счет, затрачивая ежегодно по пятнадцать — двадцать тысяч рублей ассигнациями. Но, видно, и графские капиталы не бесконечны. С годами все труднее становилось Строганову обеспечивать школу всем

необходимым, и в 1843 году, опять после долгих хлопот, он передал школу на казенное содержание, но называлась она по-прежнему Строгановской.

Николай I прославился иным: усмирял волнения в центральной Европе, и там его именем матери пугали маленьких детей. В России тоже подавлялось малейшее свободомыслие в печати, в образовании, так что министр народного просвещения граф Уваров, отнюдь не демократ, и то в 1849 году вышел в отставку, а новым министром просвещения был назначен человек, который подал императору записку, отмечающую, что науки должны быть основаны «не на умствованиях, а на религиозных истинах».

…И слово правды ослабело, И реже шепот смелых дум, И сердце в нас одебелело, — писал в 1850 году Иван Аксаков, который вскоре был арестован из-за некоторых «неосторожных выражений в переписке с родными…».

ГЛАВА 1 В Строгановской школе

Александр Кузьмич узнал про Строгановскую школу от московского литографа Лилье, у которого покупал картинки. Не раз рассказывал он Лилье, как не по годам рассудителен и способен к рисованию и грамоте его Ванятка.

— Привозите его в Москву, — говорил литограф, — я в ладах с директором Строгановской рисовальной школы Гальфтером. Сведу вашего мальчонку к нему, а живет пускай у меня.

Александр Кузьмич обрадовался: уж очень хотел он дать сыну образование. Правда, слаб и больно чувствителен мальчонка, страшно отдавать такого в чужие люди.

Еще с весны начал Александр Кузьмич готовить жену к отъезду сына. Ваню-то не надо было уговаривать, он, хоть и побаивался отлучаться из дома, все ж таки учиться в Москве очень желал. Но пока отец велел ему притушить радость, молчать до поры до времени.

Теперь Александр Кузьмич не упускал случая похвалить перед женой таланты сына, да все причитал, что зазря пропадут они в ихней мстёрской глуши, что надобно бы сыну поучиться у настоящих художников. Татьяна Ивановна поддакивала, не предугадывая скорой разлуки с любимым Ваняткой. Только за месяц до отъезда объявил Александр Кузьмич, что собирается отвезти сына в Москву. Татьяна Ивановна ахнула:

— Куда мальца гонишь, изверг?! Куска хлеба тебе жалко для единственного сына?! Робёнок еще, а ты его из дому. Хворый мальчишонка, пропадет совсем…

Никакие разговоры о Ваниных талантах до Татьяны Ивановны не доходили. Целыми днями она ревела.

Мстёрцы тоже не поняли Александра Кузьмича: единственного сына, да еще такого тщедушного, отсылает в чужие люди?! Одни осуждали Голышева, другие насмехались.

Татьяна Ивановна, поддержанная общественным мнением, пошла было в последнее наступление на мужа.

Но Александр Кузьмич, сам горюющий по случаю скорой разлуки с сыном, теперь еще взвинченный неодобрением окружающих, строго цыкнул на жену. И Татьяна Ивановна, поняв, что муж непреклонен, принялась собирать сына в дорогу.

В один из июльских дней погрузили в повозку скромный скарб юного путешественника. Татьяна Ивановна так заголосила, что сбежались соседи, к ним присоединились другие любопытствующие. Татьяна Ивановна с причитаниями, будто навсегда прощаясь, обнимала сына. Дочери Аннушка и Настена,

тоже заливаясь слезами, старались оторвать мать от брата. С полулицы собралось у дома Голышевых. Кое-кто ревел за компанию с Татьяной Ивановной, будто на похоронах.

Ваня тоже плакал, но слезы его были не горькие, скорее — тоже за компанию: жаль было убивающуюся мать, страдающего отца, но будущее было так заманчиво-привлекательно, что праздник отъезда заглушал печаль, и Ваня стыдился своей радости и того, что причиняет столько горя матери, сестрам, отцу.

Ехали в Москву обозом, на долгих, порожняком, на обратном пути Александр Кузьмич собирался загрузить подводы товаром. Целую неделю ночевали в постоялых дворах, в деревнях, а одну особенно теплую ночь — прямо в телеге, под чистым звездным пологом. И всю ту ночь без умолку стрекотали в придорожных хлебах кузнечики, и ясная луна плыла по небу, заливая всю округу призрачным серебряным сиянием.

В прошлый свой приезд в Москву Ваня проспал городское предместье, потому запомнил только утопающие в садах барские дома с белыми колоннами да богатые коляски четверней. Теперь, напившись чаю в перовском трактире, в Москву въезжали засветло. У Рогожской заставы продавали телеги, кибитки и сани, ходили с лотками саечники. Уже закрылся за Голышевыми шлагбаум заставы, а Москва, которая осталась в памяти Вани от прошлой поездки, не начиналась. Простенькие, как у них во Мстёре, деревянные домишки разбегались влево и вправо от Вороньей улицы, выстраиваясь в кривые переулки. В пыли у обочины копошились куры.

К Лилье добрались уже в сумерках. Литограф встретил Голышевых приветливо, постелил Ване на сундуке, за заборкой, сказал:

— Тут будет его место.

У Александра Кузьмича отлегло от сердца: уж не совсем в чужих людях оставляет он сына, при деле будет мальчонка и ремеслу обучится.

На следующий день после завтрака Лилье повел Ваню в школу. До Лубянской площади они доехали на телеге с рабочим литографии Лилье. Потом телега свернула, а мальчик и Лилье пошли по Лубянке к Мясницкой улице. На Лубянской площади был так называемый яблочный ряд, в котором торговали фруктами. И пока Ваня с Лилье шли через площадь, лоточники предлагали им землянику, чернику, черную смородину и скороспелые яблоки.

Мясницкая торговая улица тут только начиналась, а Строгановская школа, по словам Лилье, была где-то в конце ее.

Они шли, не торопясь, мимо многочисленных лавок, домов с большими вывесками. Пылила под колесами ломовиков мостовая, кричали торговцы вразнос.

— А почему улица зовется Мясницкой? — полюбопытствовал Ваня.

— Прежде она была Фроловской и, говаривают, был тут скотопригонный двор, а вокруг него селились мясники, вот улицу и прозвали Мясницкой.

Прошли Мясницкие ворота, дом почетного гражданина Кабанова, торговавшего монументами, итальянским мрамором и жерновами; императорский почтамт, богадельню Ермаковых, церковь Николая Чудотворца, еще несколько купеческих домов…

— Школа твоя называется Строгановской, — рассказывал Лилье. — Строгановы с Иваном Грозным близки были. Прошлое их, правда, темное. Одни говорят, что Спиридон, от которого пошли все Строгановы, был из Орды, ханский царевич. А другие сказывают, что торговцами они были. А вроде бы из вашей Суздальщины они на Урал пришли да знатно там разбогатели.

Ване показалось хорошим знаком то, что Строгановы были его земляками и простыми крестьянами, и мальчик возмечтал увидеть самого графа Строганова, основателя школы.

Граф Сергей Григорьевич Строганов был тогда уже в опале. Будучи попечителем Московского учебного округа, он не поладил с министром народного просвещения графом Уваровым и отказался от попечительства. Николаю I это не понравилось. От попечительства он Строганова освободил, но уже до конца жизни графа не жаловал. Даже близкие друзья Строганова перестали из предосторожности с ним знаться. И чтобы меньше попадаться на глаза императору, Сергей Григорьевич переселился окончательно из столицы в Москву, уединился и вплотную занялся изучением древнерусского искусства, которым интересовался уже давно. И в 1849 году, когда Ваня Голышев приехал с Владимирщины в московскую Строгановскую школу, Сергей Григорьевич Строганов отправился во Владимир изучать архитектуру Дмитриевского собора, памятника XII века. Он тщательно исследует его историю, сделает снимки внутренних и внешних частей архитектурного памятника, барельефов, орнаментов, стенной иконописи и вскоре издаст монографию о соборе. Затем поедет далее и будет подолгу жить в пятидесятые годы во Владимирской губернии. Иван Голышев станет учиться в Строгановской школе. Сначала он познакомится с трудами Строганова о владимирской архитектуре, и они подтолкнут его к археологическим изысканиям. А позднее граф Строганов и крестьянин Иван Голышев будут заниматься русской стариной в одном ученом обществе — истории и

древностей московских, в котором Строганов председательствовал.

Находилась Строгановская школа в доме номер семьдесят один по Мясницкой улице. Раньше он принадлежал князю Салтыкову, теперь машинистам Бутенопам, но назывался по-прежнему домом Салтыкова. Это было большое двухэтажное аккуратное здание, с белыми круглыми колоннами у входа, с двумя флигелями. От улицы оно отделялось резной чугунной решеткой.

Лилье сам три года назад вышел из этих стен, поддерживал дружеские связи с надзирателем этой школы Христианом Ивановичем Гальфтером, который в годы его учения был просто преподавателем.

По широкой мраморной лестнице поднялись они на второй этаж, вошли в кабинет Гальфтера. Черный и длинноносый, как грач, надзиратель, сидя за столом, суровым взглядом окинул щупленькую фигурку Вани, взял из рук Лилье заявление Александра Кузьмича: «1849 года, июля 15 дня, я, нижеподписавшийся, даю сию подписку Господину Надзирателю Второй Московской Рисовальной Школы в том, что: определенного в помянутую школу сына моего Ивана Александровича Голышева обязуюсь не брать из заведения прежде окончания полного курса, в чем и удостоверяю свою подпись. Отец Ево родной мстёрский крестьянин Александр Кузьмин Голышев».

— Чем отец занимается? — спросил Ваню Гальфтер.

— Торгует, — ответил мальчик.

Потом надзиратель спросил, где и чему Ваня учился. Ваня, хоть и обмирал от смущения и страха, отвечал толково. Гальфтер смягчился, сказал, что примет его в школу, только сейчас — каникулы, занятия начнутся в августе.

Ваня испуганно посмотрел на Лилье, но тот взглядом заверил его, что ничего страшного, а когда они вышли на улицу, сказал:

— Поживешь у меня, чего мыкаться туда-обратно.

Схитрил Лилье со своей протекцией при устройстве Вани Голышева в Строгановскую школу. Принимали в нее без испытаний всех мало-мальски грамотных мальчиков с одиннадцати лет. Да еще и обязательство от родителей брали, что не сорвут те своего сына с учебы раньше времени, а это нередко случалось с детьми из бедных семей. Так что, приведи Александр Кузьмич сына в школу сам, его все равно приняли бы.

И совсем не из добрых побуждений вызвался Лилье помочь Александру Кузьмичу с устройством сына. Он сразу же впряг мальчика в свои дела, и с утра до вечера Ваня скреб полы, чистил

сапоги и ботинки, бегал в лавку с поручениями Лилье и рабочих литографии.

В литографию Ваня сразу зачастил. Замирал перед литографской машиной, глядя, как рабочий вручную печатает картинки. Мальчику разрешали подержаться за деревянные ручки стана, класть листы под вал-пресс, а потом аккуратно складывать их стопами у стены.

Ваня брал оттиснутые листы с блестящей, непросохшей краской и рассматривал их. Баба Яга ехала на свинье, под картинкой было написано кривыми буквами: «Яга едет с крокодилом драться на свинье с пестом, да у них же под кустом скляница с вином». Ради смеха рабочие подсовывали мальчику картинки типа: «Плящущая девка» с подписью: «Перед мальчиками ходит пальчиками. Перед зрелыми людьми ходит белыми грудьми», — и хохотали, забавляясь смущением Вани.

Шестнадцатого августа в школе начались занятия. Ваня шел на первый урок принаряженный, взволнованный, но дождь попримял его костюм, забрызгал сапоги. Большинство мальчишек подбегали к подъезду школы босиком, неся сапоги под мышкой, и надевали их только на пороге школы, чтобы не замарать сапогами паркетные полы, а кое-кто делал это и из экономии.

Новеньких выстроили в зале. Директор-надзиратель Гальфтер держал перед ними речь о правилах поведения, а потом каждому ученику вручили Устав школы «Совет и привет добрым людям». К удивлению Вани, Гальфтер оказался очень маленького роста.

Первоклассники были разнорослые и разновозрастные. Некоторым ученикам Ваня дал бы все двадцать лет. И он не ошибался. Классы составлялись не по возрасту, а по успеваемости. И рядом сидели и одиннадцати-, и тридцатилетние, и даже женатые уже учащиеся, а в четвертом классе, как потом узнал Ваня, был даже шестидесятилетний старик.

Училась в школе в основном беднота, и эти ученики, их называли «неплатящими», не платили за обучение совсем. Но школа теперь не так благоденствовала, как в первые годы, и дети более или менее обеспеченных родителей уже вносили в школьную кассу свой пай (кошт) — девять рублей в год — на пособия и материалы, требующиеся для обучения. Ваня Голышев тоже платил девять рублей. Таких учеников называли «своекоштными».

В первом классе преподавали линейное рисование. Оно состояло в набрасывании линий и контуров. Рисовали много, и требования были очень строгие. Надзиратель школы Христиан Иванович Гальфтер как раз и вел этот предмет, а еще — натурное

рисование деревянных фигур. Неприятным резким голосом он прочитал ученикам вводную лекцию, потом прошелся по рядам, раздавая для перерисовки оригиналы под стеклом, бумагу и карандаши. В школе использовался только черный карандаш, который менее других марок.

В классе стояла тишина, но Гальфтер все-таки на кого-то прикрикнул. Потом он сел за стол, который снова скрыл его небольшой рост, и стал зоркими глазками следить за тем, как работают ученики.

В перемену старшеклассники поторопились предупредить первоклашек, чтобы те были с Гальфтером поосторожнее, рассказали, что наказания Гальфтера жестоки и неожиданны. Одним он выстригает клочками голову и не позволяет выравнивать волосы до двух недель. Других бьет в лицо кулаком…

К Ване Голышеву надзиратель сперва был внимателен. Частенько останавливал его, спрашивал об отце и о том, как живется мальчику. Сначала Ваня относил это внимание за счет подарков, которые отец его во всякий приезд в Москву вручал надзирателю. А потом увидел, что так же внимателен и заботлив бывал Гальфтер и с другими, и чаще всего — с самыми бедными учениками. Узнав о материальных затруднениях какого-нибудь «неплатящего», он помогал ему найти работу или уроки. И все-таки школьники директора боялись и не любили, потому что он был непредсказуем. Казалось, что он ищет повод унизить ученика, сделать его посмешищем всего класса. Но Гальфтер приучал много и упорно работать, требовал точного исполнения рисунка. И от него выходили хорошие рисовальщики и учителя рисования, притом со знанием истории искусства, хотя предмета такого в школе не было.

Каждые четыре месяца в школе проводились маленькие испытания, для «возбуждения рвения», ибо за хорошие умения после них вручались награды: книги, оригиналы-рисунки, были и «вспоможения» — семь или даже десять рублей. В конце учебного года устраивались большие испытания. Они проводились публично и торжественно.

По предметам экзаменов не было. Простая надпись преподавателя на рисунке переводила ученика с одной «коллекции» на другую. И первоклассник мог через три недели успешных занятий перейти во второй класс. Однако требования были очень строгие. Готовили к рисованию на стали, дереве, меди, на камне, а это рисование не допускает поправок, потому и от учеников требовали самого точного и уверенного штриха.

Ваня надеялся, что с началом занятий Лилье даст ему

свободу, но Лилье ничуть не уменьшил обязанностей мальчика по дому и литографии.

Тогда Ваня стал самовольничать. Раз отправился после школы в Кремль: уж два месяца в Москве, а в Кремле еще не бывал. Отец сказывал, что кремлевский Успенский собор строили по образцу их владимирского Успенского. «И право, похоже, — размышлял Ваня, — только этот поболе будет и повеличавей. Да тут сразу три великих собора, окромя Успенского, а вот и Иван Великий…» С запрокинутой головы мальчика даже картуз свалился: высока колокольня. Нищий на паперти засмеялся на такую оказию:

— Что, хлопец, высок Иван Великий?! Боле трехсот ступенек будет до макушки. Почти два десятка колоколов… На сколь верст гудят. Да ты подале отойди, вот он тебе и откроется во всей своей красе. Подлинно — Иван Великий!

Вышел Ваня из Кремля через Спасские ворота к церкви Покрова. Подивился на ее разноцветные витые купола.

Вздохнул: «До чего хороши московские соборы!» Далеко до них мстёрскому Богоявленскому, а раньше их храм казался ему чудом.

Мужик на лошади, запряженной в бочку, крутился по Красной площади. Из бочки струями лилась сзади вода. Ваня в недоумении следил за возчиком: иль мужик не видит, что бочка худая? Он хотел догнать мужика, сказать ему про бочку, но стушевался: идут мимо люди, и никто не обращает на эту дырявую бочку внимания, хотя вода течет прямо им под ноги. «Значит, так надо, — подумал он, — стало быть, я чего-то не знаю».

Посреди площади сидел парень, чистильщик сапог. Ваня подошел к нему:

— Зачем площадь моют? — спросил он. — Али како празднество ожидается?

— От пыли ее поливают, паря, — усмехнулся чистильщик, — чтобы пыль в нос не лезла.

«А и право, — подумал, отходя, смущенный Ваня, — там, где полил мужик, легче дышится. Только у нас на тракте и не така пылища бывает… Город — одно слово».

Возле лобного места стояли общественные кареты. Они ездили по главным улицам ко всем заставам, а летом и — дальше, к местам загородных гуляний. Ваня уже катался на них, добираясь до школы. Только много не наездишься: куда бы ни ехал, выкладывай десять копеек серебром, деньги немалые.

Через Красную площадь Ваня прошел к торговым рядам и надолго потерялся в них. Мальчишка в мятой рубахе и вытертом

жилете нес на голове большой стеклянный графин с лимонадом. На голове же, на большой доске, носили в Москве в лукошках ягоды, арбузы, дыни. В больших плетеных корзинах на ремнях, закинутых за шею, — калачи и булки. От Ильинских до Никольских ворот стояли лавки с книгами, Ваня тут позадержался. Вдоль Красной площади шла первая линия торговых рядов — ножевая. Продавали на ней и ножи, но много и другого товару: писчую бумагу и табак, чай, кофе и сапоги. За ножевой линией шел овощной ряд, а поперек к ней — шорный, седельный, табачный. На колокольном, далее, продавали медную по-СУДУ, на кафтанном — всякое носильное мужское платье. Затем шли ряды холщовый, шапочный, суконный, золото-кружевный, лапотный, сундучный, железный, нитяной и скорняжный… В епанечном лежали ситцы, в панском — дамские модные уборы, в юхотном — шелка. Были также ряды затрапезный, бабий, иконный, ветошный, свечной, перяной… Куда там их Мстёрской и Холуйской ярмаркам!

Ваня пробродил рядами дотемна, пока не зажглись варшавские фонари, а домой явился уже за полночь. Лилье не спал, ждал его, и вожжи были уже наготове…

Наревевшись после жестокой порки, Ваня уснул, но утром встал раньше всех, в темноте собрал свой пещер и еще до школы отнес его к книготорговцу Ефиму Глушко-ву, у которого отец покупал книги. Ваня уже бывал у него с отцовыми поручениями, рассказывал, как Лилье помыкает им, и Глушков переманивал мальчика к себе.

ГЛАВА 2 В людях

Глушков жил в большом Девятинском переулке за Пресненскими прудами, тоже далеко от Строгановской школы. Вставать по-прежнему приходилось рано. Досветла идти темным горбатым мостом через Нижний Пресненский пруд, добираться до Новинского бульвара. Далее можно было по Садовому кольцу доехать на извозчике до Мясницкой. Отец давал деньги на извозчика в один конец, но Ваня экономил эти деньги на свои нужды и ходил в школу пешком. С наступлением зимы на Пресненских прудах наморозили ледяные горы, и по воскресеньям вся Москва собиралась сюда кататься на санках и коньках. Звучала музыка, продавали сладости. Но Ване редко удавалось задерживаться тут. Глушков, как и Лилье, был ласков, пока лишь заманивал мальчишку, а как только Ваня перешел к нему, впряг подростка в свои дела.

Навязанная хозяевами суета делала жизнь безрадостной. Но больше всего мальчик страдал от побоев.

«Приютили было меня в другом заведении — Глушко в а, но и там я пробыл недолго», — коротко отметит потом в своих «Воспоминаниях» Голышев.

От Глушкова он ушел тоже внезапно. Собрал опять затемно свой пещер и перешел жить к Лаврентьевым. Петр Иванович и Антонина Ивановна Лаврентьевы, брат и сестра, бессемейные и бездетные, тоже давно переманивали Ваню к себе. Лаврентьевы печатали народные картинки с медных досок, а Ваня стал с большой охотой помогать им, вникая в самую суть производства, оказавшись очень смышленым помощником.

— Куда ты забрался?! Пять верст до школы киселя хлебать! — ругал Ваню Александр Кузьмич, приехавший к Лаврентьевым за картинками. — За полгода уж к третьим хозяевам перебираешься!

— Зато тут спокойно, — говорил Ваня.

Тихий, робкий, застенчивый по складу характера, Ваня был нетерпелив и порывист, когда его унижали. Будто бес вселялся в его душу при насилии. А в Москве он как-то особенно расправил крылья и хозяев менял, не советуясь с отцом, только докладывал ему об изменении адресов.

У Лаврентьевых ему действительно было хорошо. Они заботились о нем как о собственном сыне, отказались от денег, предлагаемых Александром Кузьмичом за его проживание. А когда вскоре Петр Иванович Лаврентьев, отправившись на Холуйскую ярмарку, неожиданно умер в доме Голышевых, Антонина Ивановна еще больше привязалась к мальчику.

Строгановка многое делала для того, чтобы разбудить в своих учениках любовь к истинному искусству. Огромные деньги тратились на приобретение оригиналов — подлинных произведений живописи, графики, скульптуры величайших мастеров мира. И это прекрасное окружало учеников всюду: в учебных классах, в мастерских, в коридорах. На масленице всех водили в театр. И Ваня так к театру пристрастился, что и один стал туда наведываться. Он останется потом театралом на всю жизнь.

Ваня Голышев, подготовленный в рисовании отцом, оказался умелее многих учеников, а так как был еще и прилежен, то быстро продвигался вперед и вскоре был переведен во второй класс.

Александр Кузьмич, узнав, что уроки у Ивана длятся в школе только до двенадцати, стал давать сыну все больше поручений по своим делам. Ваня доставлял книготорговцам и картинщикам отцовы письма, заказы и деньги, которые Александр Кузьмич посылал ему с извозчиками.

Мотаясь по Москве с поручениями отца, Ваня завел много знакомых среди книготорговцев, владельцев металлографии и литографий. И уже не просто выполнял отцовы указы, а вникал в дело, чем вызывал симпатии заводчиков. — Молодец мальчонка, худосочен телом, да умом тороват. Грамотный, вежливый, — похваливали они. В шутку или всерьез зазывали: — Иди, Ваня, к нам в приказчики, не поглядим, что молод…

Ваня был поражен обилием мальчиков в Москве. Они сновали с поручениями хозяев тут и там. Кое-кто поворовывал и хвастался своими незадачливыми похождениями. Вместо церкви бродили по базарам.

Ваня тоже стал иногда прогуливать церковь, посещая многочисленные торжища Москвы. Побывал на грибном и рыбном базарах. Нравился ему Охотный ряд, где можно было купить все съестное. Хотя Ваня чаще туда ходил потому, что в Охотном ряду продавали собак. Но больше всего ему полюбился толкучий рынок на Сретенке, возле Сухаревой башни, где продавалась «всякая домашняя потребность». Там можно было почти задарма купить ворованные книги и самые невероятные и редкие вещи — у старинщиков. Тут он купил астролябию, компас и китайский фонарь.

Как-то после уроков Ваня отправился по заданию Лаврентьевой на базар купить постного кушанья. Было начало марта, великий пост. Солнце по-весеннему сверкало в нетронутых снегах крыш, в золотых куполах церквей. Сугробы были еще крепки, только на льду Москва-реки снег чуть подтаял, обнажив

зеркально сверкающие на солнце ледяные поляны. Был чистый понедельник, торговля шла с гуляньем, лавочники вынесли из балаганов свой товар прямо на лед, народу было видимо-невидимо. «Вот такую картинку нарисовать бы: „Народное гулянье"», — думал Ваня, бродя по рядам. Потом он осуществит свою задумку.

Нося в цензуру картинки Лаврентьевой, Ваня Голышев попал как-то к цензору Ивану Михайловичу Снегиреву, профессору Московского университета. Снегирев был известным историком, автором книг «Памятники Московских древностей», «Русские простонародные праздники и суеверные обряды», четырех томов «Русские в своих пословицах».

— Чей же будет такой пострел? — с улыбкой спросил Снегирев юного картинщика.

— Володимирский, — отвечал Ваня, робко разглядывая оспинки на лице цензора.

— Вона. Володимирский, стало быть, а я вот только что рассматривал на литографии ваш Дмитриевский собор, а недавно цензуровал книгу Доброхотова о Владимире, да и сам сейчас пишу о Рождественском монастыре. Знаешь?

— Видывал, только живу я во Мстёре, иконами она известна.

— Вона ты какой речистый. Слыхал я о Мстёре. Говорят, ваши мастера уж больно ловки под старину иконы подделывать.

— Ага, — засмеялся Ваня, — это старинщики.

— А ты любишь картинки-то? — Снегирев кивнул на стопу принесенных на подпись картинок.

— Люблю, мой отец торгует ими во Мстёре.

— Вот даже как! А ты не читал книжку мою о картинках?

— Нет.

— Почитай.

Ваня достал книгу Снегирева о лубочных картинках и вместе с Лаврентьевой принялся читать ее. С первых лет жизни картинки окружали его, и он любил их, а теперь с удивлением читал: «Рисунок их неправилен до уродливости, отделка груба, неопрятна, раскраска похожа на малеванье». Он ничего этого раньше не замечал. И хоть дальше профессор снисходительно отмечал, что они интересны как «признаки внутренней жизни народа, его верование, мнение и знание, его дух и характер», Ваня все же был задет пренебрежением к тому, что было связано с его самыми светлыми детскими воспоминаниями.

Интересно было читать про то, откуда взялось название картинок — «лубочные». Слова этого Ваня в детстве не слыхивал. У них все называли картинки просто картинами, а еще — «простовик» — самые простые и неказистые картинки;

«праздники и конница» — сортом повыше, и «литография» — картинки, отпечатанные на дорогой, портретной бумаге отличного качества. Только в Москве, еще у Лилье, Ваня услышал, что картинки называют народными, а потом и это слово узнал — «лубочные».

Снегирев в книжке растолковывал, что в древности в России «писывали на лубе» — липовых дощечках.

Профессор высказал и другие предположения. Офени-де прежде разносили картинки в лубках — лубяных коробах. А может быть, что название картинок пошло от московской улицы Лубянки, близ коей находится урочище Печатники, Печатная слобода была в семнадцатом веке, и где, по старинному преданию, жившими тут печатниками резались на лубах и отпечатывались первые русские картинки. Ну, а так как эти картинки, вырезанные на дереве, получались не очень искусными, то слово «лубочные» получило второй смысл — грубые, плохого качества. И уж совсем задело Ваню сообщение, что картинки самого плохого исполнения называют суздальскими, по разносчикам-суздалям, ибо именно в Суздальском уезде появились первые коробейники — продавцы картинок.

Однако оказалось, что картинки в прошлом веке висели и в крестовых палатах, и в сенях у больших господ и духовных властей, и еще раньше — для пригожества — у бояр. Что в монастырях духовные картинки в благословение и напутствие раздавали богомольцам. Это уж потом, когда появилась Академия художеств, искусство стали делить на высшее и низшее. И прикладное искусство, которое в жизни древнего русского человека играло большую роль, академией было окрещено низшим, простым ремеслом.

Ваня уже твердо решил, что будет, как отец, торговать картинками. Хотелось бы и печатать их самому. А пока он начал рисовать их для Лаврентьевой. Когда первая его картинка, вырезанная граверами на меди, была оттиснута, радости мальчика не было конца.

— И зачем отец покупает картинки в Москве?! Печатать их можно и во Мстёре, — запальчиво говорил он, не искушенный в делах, Лаврентьевой.

Лаврентьева возражала, что во Мстёре содержать металлографию сложно. В Москве можно обойтись без своих граверов, привлекать их со стороны, во Мстёре же придется содержать своих, а для маленького заведения это слишком накладно, много и других трудностей. А вот литографию небольшую можно завести и во Мстёре, и Лаврентьева советовала Ване приглядываться к литографии Логинова, в которой он

нередко бывал с поручениями отца.

Литография — печатание с помощью литографского камня — только зарождалась в России. На проекте школы графа Строганова в свое время было помечено рукой министра народного просвещения: «…притом полезно бы было прибавить литографское и граверное отделение для изготовления печатных образцов, как для школы, так и для самих фабрикантов и ремесленников». И школа завела тогда одну литографскую машину с винтом и один дубовый пресс, и литография эта при ней просуществовала несколько лет, но потом по разным причинам оборудование и камни были распроданы. Произошло это за два года до поступления Вани Голышева в Строгановскую школу. А будь литография в самой Строгановке, скольких бы трудностей избежал мальчик, обучаясь литографскому делу самостоятельно и даже украдкой от школьного начальства. И, возможно, не бросил бы школу, имей она свою литографию.

В каникулы строгановцы рисовали с натуры в цветниках Трубного бульвара и в окрестностях Москвы, после чего разъезжались по домам. Ваня Голышев никогда не упускал возможности съездить домой и, бывало, не дожидаясь отцовских денег или какой оказии, договаривался задешево с ямщиком и трясся триста верст на задке.

Однажды Ваня ехал из Москвы на долгих с обозом вязниковского купца Осипа Осиповича Сенькова. Дорога длинная, познакомились и наговорились всласть. Отец Сенькова выкупился из мстёрских крепостных еще при графе Тутол-мине, завел в Вязниках мануфактурное производство, вышел в купцы, а сыну передал уже вторую гильдию. Осип Осипович был намного старше Вани Голышева, владел большим заведением, был начитан, умен, ни капли не чванлив и разговаривал с Ваней как со взрослым. Мальчик разоткровенничался, рассказал о своем увлечении литографией, о мечте завести собственное дело во Мстёре, о Строгановской школе, показал свои рисунки. Сеньков одобрил Ванин замысел, сказал, что мечта его выполнима, надо только не робеть, действовать, обещал поддержку, дал свой адрес и велел заходить к нему, когда будет в Вязниках. Ваня в ближайшие же дни воспользовался приглашением, уж очень ему понравился Осип Осипович. У Сенькова умер в малолетстве единственный сын, росли теперь одни девчонки, и мануфактурщик отечески привязался к своему юному талантливому земляку. И дружба Вани Голышева с опытным заводчиком, мануфактур-советником Сеньковым, конечно, способствовала раннему развитию предприимчивости мальчика.

Ваня брал с собой на лето из школы оригиналы, чтобы

перерисовывать. Но больше ему нравилось рисовать с натуры. И он часто уходил за околицу Мстёры, устраивался где-нибудь на взгорке и рисовал реки Мстёру и Тару в зеленых тальниках, широкие пойменные луга, синеющие в за-клязьминском заречье боры. Возвращался под вечер, и Татьяна Ивановна выговаривала ему: «И где только пропадаешь?! Гостить приехал, а дома не видать». А Александр Кузьмич нарадоваться не мог на сына: учится хорошо, переведен уже в третий класс, в «акварельный», рисует, как настоящий художник, и отцовы дела в Москве ведет исправно.

Да, Ваня начал учиться уже в третьем классе, но со второго, в тайне от отца, стал подумывать о том, как бросить школу. В одном классе с Голышевым учились крепостные крестьяне помещика Гарднера, владельца подмосковных фарфоровых и фаянсовых фабрик. На учебу их прислал сам крепостник, с тем чтобы потом они вернулись на его фабрики. Мальчишки рассказывали про всякие жестокости управляющих, о том, как груб и деспотичен сам фабрикант, как заставляет работать в цехах с утра до ночи, а им хотелось к себе домой, в деревню. И они учились неохотно, частенько нарочно отлынивали от занятий, предполагая, что неуспех в рисовальной школе избавит их от Гарднеровых фабрик и даст возможность вернуться домой, к родителям.

Оказалось, что таких крестьянских детей, посланных на учебу помещиками, в школе немало. И все они потом должны были вернуться к своему владельцу. Школа даже аттестата не выдавала выпускникам податного сословия. Для получения аттестата, и после полного, шестилетнего курса, надо было сначала добиться у своего хозяина «вольной». Некоторым это удавалось. Ваня Голышев на «отпускную» не надеялся, граф Панин «волю» никому не давал. Мало того, Ваня стал бояться того, что Панин тоже оторвет его от родного дома, потребует после школы в свою дворню, исполнять для него художественные прихоти. Хотя об освобождении крестьян говорили уже и вверху и внизу, по-прежнему даже продавали людей, правда — тайно. Называлось это «отпустить в услужение». В газетах можно было прочитать такие объявления: «отпускается в услужение молодой человек, холостой, хорошо знающий грамоту и живописное искусство».

«Все это тяжелым камнем отзывалось во мне», — писал в «Воспоминаниях» Иван Александрович Голышев. Рвение его к учебе заметно поубавилось. «Школьные занятия, при моем отчаянье получить аттестат, мне опостылели», — напишет он потом.

ГЛАВА 3 Юный литограф

Школу теперь Ваня частенько пропускал, подолгу торчал в большой литографии Логиновых, отца и сына. Василий Иванович Логинов работал в свое время на знаменитой фабрике купцов Ахметье-вых. Ахметьевы начали печатать картинки под Москвой на двух станах еще в XVII веке. Потом гравировальная печатня Ахметьевых, уже на двадцать станов, была за Сухаревой башней. Старший Логинов хорошо изучил картинное производство и открыл свою литографию. Слыл он в Москве лучшим литографом.

Логинов ахнул, узнав от рабочих, что этот мальчонка Голышев постиг почти всю технологию литографского производства и сам оттиснул несколько рисунков. Подивился Логинов пронырливости крепостного крестьянского сына и запретил рабочим пускать подростка в литографию. Секреты литографского дела тогда дорого стоили, да и не хотелось Логинову терять покупателя картинок в лице Александра Кузьмича Голышева.

Запрет только подстегнул любознательность Вани Голышева. Теперь он уже мечтал иметь собственный литографский камень. Денег накопил, а где достать камень — не знал. Спросил у Логинова, тот отмахнулся. Лаврентьева тоже не помогла. С просьбой достать камень мальчик обращался к разным знакомым и малознакомым людям. Давал некоторым деньги, но те и камень не доставали, и денег не возвращали.

Как-то, бродя по Москве, Ваня зашел в захудалую литографию с одной машиной, спросил, нет ли тут лишнего камня.

— А тебе зачем? — поинтересовался хозяин.

— Хочу литографским делом овладеть.

— Молодой, да ранний, — усмехнулся заводчик. — Откуда будешь такой прыткий?.. — подробно расспрашивал он Ваню. — Значит, в отца пошел шустрым. Только, лапоть, литографий-то и в Москве раз-два и обчелся, а ты во Мстёре своей задумал ее завести.

Иван обиделся, но виду не показал и собрался уходить. А разговорчивый хозяин уловил обиду мальчишки, подмигнул своему рабочему и остановил юного предпринимателя:

— Жалко мне тебя, паря, никто ведь тебе камня не продаст, кому охота наживать конкурента, а я тебя пожалею, — так и быть, продам тебе один камешек, да деньги-то у тебя есть ли?

— Есть! — обрадовался Ваня.

Картинщик принес плоский камень, он не был похож на те,

какие Иван видывал в литографиях, но ремесленник, заметив сомнение на лице подростка, уверил:

— Что? Думаешь, не тот? Да он просто не отшлифован. Вот отшлифуешь его… — и он дал руководство, что и как надо делать.

Целый месяц мальчик старательно шлифовал купленную драгоценность. Казалось, что камень уже готов, Ваня нарисовал на нем картинку «Иов на гноище» и отправился в литографию Логиновых попросить рабочих, тайком от хозяина, тиснуть рисунок. И тут оказалось, что ему подсунули камень-дикарь, короче — доску для растирания красок. В досаде и отчаянье швырнул Ваня ее об пол и вдребезги разбил. Уже в какой раз его провели! Узнай отец — не только высмеял, но и побил бы: не будь растяпой, работай башкой. И досада осталась на подлость людскую.

Логинов, узнав от рабочих о неудаче младшего Голышева, пожалел мальчонку и сказал, что известковые камни можно купить только в иностранной конторе. Ваня немедленно отправился в иностранную контору и купил наконец настоящий литографский камень. Но дело у него опять не ладилось. Сколь ни оттискивал он рисунок, отпечаток получался плохим.

Тут впору и взрослому впасть в отчаянье. Ваня Голышев, однако, не сдавался. Сразу после занятий в школе он ходил по маленьким, разоряющимся литографиям, искал новые камни, надоедал рабочим: «Почему у меня ничего не получается?» Многие смеялись над ним:

— Оголец! Литография — дело сурьезное. — И отмахивались: — Сопли сперва под носом утри!

Но мальчик не отступал от задуманного. И опять набрел на доброго человека. Один литограф объяснил ему, что дело в шлифовке камня, тут надо иметь большой опыт. Мальчик попросил печатника отшлифовать ему камень за деньги. Тот согласился.

И вот в руках Вани — настоящий, отлично отшлифованный, его собственный литографский камень. И юный художник принялся перерисовывать на него давно полюбившуюся ему картинку «Проспект семи башен в Константинополе». Заморский город манил красотой и таинственностью.

Исполненный на камне рисунок, прежде чем отпечатать, надо было вытравить. У Вани не было для этого ни инструментов, ни химикатов, да и уменье тут тоже требовалось большое. Снова подросток отправился к знакомому услужливому литографу, отдал ему деньги, присланные отцом на учебу в школе, и попросил вытравить рисунок.

«Я был в восторге, когда принесли мне отпечаток, — писал потом Голышев, вспоминая, — хотя он, как первый опыт, не заключал в себе ничего особенного. Это было в 1853 году». Ивану Голышеву только что стукнуло пятнадцать лет.

Как-то Ваня шел по поручению Лаврентьевой в цензуру, которая располагалась в университетской типографии. Подходя к университетской церкви, мальчик увидел большое скопление народа, спросил, в чем дело.

— Писателя Гоголя отпевают.

Гоголевскими «Вием» и «Тарасом Бульбой» Ваня в детстве зачитывался. Слышал потом, что Гоголь живет в Москве у каких-то своих приятелей, но ни разу не встречал его. С трудом протиснулся он в церковь, она была набита битком. В толпе говорили, что Гоголь жил в соседнем с церковью доме, что перед смертью он помешался и сжег свои рукописи.

— Сам генерал-губернатор Закревский у гроба, видишь, малец? — сообщил Ивану словоохотливый незнакомец в распахнутой романовке. — А вокруг-от всё литераторы, дружки, значит, покойного.

Стоял февраль, а гроб писателя был усыпан живыми цветами. Незнакомые Ване люди произносили надгробные речи, все — хвалебные.

— При жизни хвалили б, топерь-то чего?! — сказал осуждающе незнакомец.

Университетские профессора понесли гроб на плечах. Их сменяли литераторы и студенты. И так до самого Данилова монастыря. Траурная процессия растянулась на полверсты…

Вместе с картинками Лаврентьевой Иван процензуро-вал свой «Константинополь», теперь надо было отдать его для печати. И Ваня отправился по Москве в поисках литографии. Удивительно, как этот робкий, совсем еще малолетний провинциальный мальчонка за короткий период перезнакомился чуть ли не со всеми печатниками Москвы, как настойчиво шел к осуществлению своего замысла.

На этот раз Иван нашел небольшую, недавно открывшуюся литографию военного госпиталя. Она выпускала только казенные бумаги, но тайно подрабатывала на частных заказах, делая ярлыки и этикетки. Рабочие согласились оттиснуть картинку настойчивому мальчишке. Ваня купил стопу бумаги и отнес ее, вместе с камнем, в печатню.

Оттиск получился четким, что очень порадовало юного предпринимателя, но тут опять вышла серьезная заминка.

Чтобы получить картинки, нужен был, выдаваемый цензурой, выпускной билет. Цензура же прежде требовала указать на листах

название изготовившего их учреждения, а госпитальная литография не имела такого права.

Иван попал в ловушку и не знал, как быть. За все уже заплачено, а взять картинки нельзя. Где найти нужного поручителя?

Оказалось, что в Москве немало таких типографий, не имеющих права на «выпуск» своей продукции. Получить его можно было только у самого генерал-губернатора Закревского, а он давал дозволения на подобные учреждения весьма неохотно. Потому, например, при продаже их особенно большие деньги брали за имеющееся право-разрешение на «выпуск» продукции.

Иван, после долгих колебаний, отправился на поклон к Лилье. Пришлось рассказать тому про свои литографические достижения.

— Отца хочу порадовать, надо только на десяти экземплярах для цензуры показать фирму, разрешите назвать ваше заведение, — упрашивал подросток.

— Ну, постреленок, ну, шустрец! — шумел Лилье, но все же дал согласие.

Получив цензурный билет, Ваня, счастливый, помчался в литографию. При наличии билета ему тут же выдали картинки и камень. Тщательно упаковав свое первое детище, Иван отправил его сюрпризом отцу.

Александр Кузьмич сам теперь почти не бывал в Москве, целиком переложив на сына все свои торговые дела в первопрестольной. Он был доволен Иваном и уже совсем не контролировал его. Присланные сыном картинки «Константинополя» умилили Александра Кузьмича. Он обежал с ними всех родственников, похвастался перед батюшкой и раздарил мстёрцам чуть не всю упаковку.

Хорошо жилось Ване Голышеву у Лаврентьевой, но он опять переехал на новое место, к молодому граверу Ефимову, владевшему небольшой литографией. Школу он совсем забросил, был отчислен и теперь полностью отдался литографскому делу. Работал на Ефимова задарма, зато получил право печатать в его литографии свои картинки.

Александр Кузьмич, узнав от Лилье, что сын бросил Строгановскую школу, вознегодовал, а Ваня уговаривал отца:

— Откроем во Мстёре свою литографию?

— Прыток больно, кто нам дозволит?

— К графу поедем за разрешением.

— Ну, граф, вспомнив мои заслуги, положим, и даст дозволение, да дело-то не пустячное, прогореть можно…

— Ты, тятя, опасаешься, что я не справлюсь, — горячился

Иван, — да только напрасно сомневаешься: в литографии я уже кое-что смыслю.

— Скор больно, самонадеян, пустишь на ветер отцовы сбережения, — ворчал Александр Кузьмич, но, жаркое до нововведений, его сердце уже было покорено.

— Только, тятя, мне еще в Москве надо пожить, до конца всему обучиться.

Александр Кузьмич уехал домой в сомнениях, но сына в Москве оставил.

В июне 1853 года началась война с Турцией. Император хотел укрепить свое господство на Ближнем Востоке. Русские войска вступили в Молдавию и Валахию, одержали победы на Кавказе, потом уничтожили турецкий флот при Синопе. В Москве появились картинки с эпизодами разных военных событий. Как-то в литографию Ефимова явился заказчик с полной серией картинок на военную тему: «Рекрутский набор», «Сны султана», «Синопское сражение», «Река Дунай и храм в г. Мачине». Под картинками были прибаутки и целые рассказы. Это был знатный человек, чиновник самого генерал-губернатора. Но Ефимов выпускал только визитные и свадебные карточки, билеты да этикетки, в печатании народных картинок опыта у него не было, и он хотел отказаться, но Иван Голышев со всей горячностью шестнадцатилетнего уговорил хозяина заказ принять.

Ефимов печатал свои этикетки с медных досок. И Голышев радовался теперь возможности научиться новому делу — переводу рисунка на камень с медных досок. Уже вдвоем с Ефимовым химичил и экспериментировал теперь Иван. И все получилось отлично. Изданный ими раёк пошел гулять по России, у них покупали камни с этими рисунками, картинки шли нарасхват.

Бойко раскупались у Александра Кузьмича и картинки с рисунками самого Ивана: «Проспект семи башен в Константинополе» и «Абдул-Меджид». Александр Кузьмич, видя, что сын вполне овладел литографским производством, возмечтал отлитографировать картинки из своего лю-бимогр Апокалипсиса. С помощью живописцев, производивших тогда стенопись в мстёрском храме, Голышев-старший сделал более сотни апокалипсических рисунков и послал их Ивану. Ваня получил на рисунки дозволение цензуры, но один перевести столько рисунков на камень не мог, нанял граверов, платя им за каждое изображение по пятнадцать — двадцать рублей, отец на расходы не скупился. Более двух тысяч потратил Александр Кузьмич на любимую серию. Но теперь оттиснутые картинки Апокалипсиса случайно попали в цензуре на глаза самому митрополиту

Филарету, и тот почти все их не разрешил печатать. В то время ходили по России раскольничьи религиозные картинки с тайным смыслом: под Вавилоном, говорили, у них подразумевался Петербург. И много еще всяких толкований против православной церкви виделось в тех картинках. Поэтому митрополит и строжил.

Александр Кузьмич с горя слег. Потрачены были огромные деньги. Александр Кузьмич велел сыну оставить рисунки на камнях, не соскабливать, выждать время и увез камни на сохранность во Мстёру. Иван был с самого начала против издания Апокалипсиса.

— Военные баталии теперь у всех на уме, — убеждал он отца, — не время для Апокалипсиса.

— Яйца курицу учить будут! — ярился отец.

Теперь Александр Кузьмич оставил сына в покое, и Ваня тут же пустил в производство свою коллекцию рисунков: «Государственное ополчение», «Кронштадтская крепость», «Бомбардирование Севастополя»…

Крымская война была у всех на устах. По Москве ходило переписанное от руки донесение адмирала Корнилова, в котором говорилось, что много наших раненых приходится оставлять на поле боя, так как не хватает не только госпиталей, медикаментов, но и простых носилок.

— Загубили Расею. Вор на воре сидит, — говорили в толпе.

— Сказывают, сорок тыщ лошадей дорогих офицеры украли у армии и подменили их хилыми да болезными.

349 дней держался осажденный Севастополь, и вся Россия напряженно следила за ходом его обороны. Газеты теперь читал всякий сколько-нибудь умеющий складывать буквы. Картинки военных баталий расходились мгновенно.

18 февраля 1855 года умер Николай I. Россия погрузилась в траур, только печальных лиц было мало. 20 февраля в Чудове был читан манифест о вступлении на престол императора Александра II. Митрополит Филарет совершил молебствие в честь нового царя при полной тишине, и вдруг страшный грохот потряс церковные стены. Все присутствующие в церкви вскрикнули и замерли. Потом бросились к выходу. Оказалось, что с филаретовской колокольни упал средний колокол. Он проломил свод, пол и задавил семь человек. В народе говорили, что это — плохое предзнаменование.

В июне 1856 года Ивану Голышеву исполнилось восемнадцать лет. Он повзрослел, вытянулся, но от этого казался только худее.

К концу лета Иван решил съездить ненадолго во Мстё-ру, переложив свои издательские дела на Ефимова, они уже давно

были друзьями.

Перед этим Иван удачно продал несколько сот своих картинок петербургскому торговцу Апраксина двора. Это была первая его большая самостоятельная работа, и торговая сделка доставила ему особую радость. Он точно уловил пробудившийся в народе, в связи с Крымской войной и сменой власти, интерес к общественной жизни.

Россия войну проиграла, но и противник, благодаря героизму русского народа, был измотан и поспешил заключить с Россией мирный договор. А участников обороны Севастополя, несмотря на поражение, встречали как национальных героев.

Кроме военных баталий Иван изготовил картинки о смерти Николая I — «Плачь, русская земля!», портреты восшедшего на престол Александра II и членов августейшего семейства. Подписи к картинкам извлекал из периодики сам, и малограмотный российский люд предпочитал картинки газетам.

Теперь Иван на лично заработанные деньги впервые ехал домой на дилижансе.

Татьяна Ивановна ахнула, увидев выросшего за год сына:

— Молодец хоть во дворец!

Сестры исцеловали брата. Анна с Анастасией уже давно были замужем и жили отдельно. Фелицате стукнуло пятнадцать, и она выглядела девушкой на выданье. Катеринке не было и тринадцати, а она уже мало отличалась от старшей сестры и, пользуясь особой любовью родителей к ней, как к самой младшей, требовала у отца таких же нарядов, как у Фелицаты.

Иван, как во всякий свой приезд домой, навестил сначала Сенькова, а потом пропадал в окрестностях Мстёры, зарисовывал ее живописные места. Однажды уселся на торговой площади рисовать Богоявленский храм.

Сначала вокруг молодого художника толпились лишь ребятишки. Взрослые, кинув в его сторону насмешливый взгляд, проходили мимо. Потом любопытство стало брать верх, и уж мужики, бабы и бородатые старые раскольники стали, будто невзначай, подходить к нему и заглядывать через плечо.

— Похоже, — говорили одни.

— Ух! — восхищались другие.

Подошел и будочник. Раздвинул толпу, взглянул на рисунок. Вроде ничего предосудительного, но на всякий случай спросил Ивана:

— Разрешение рисовать на улице имеется?

— На это не требуется разрешений, — ответил Иван. Будочник смягчился и успокоился, узнав в художнике

сына бывшего бурмистра.

Неукротимая жажда познания толкала Ваню к новым и новым делам. Познакомившись, через свое же художество, с работающими в это время во Мстёре землемерами из губернии, Ваня принялся изучать с ними «по астролябии и буссоли» землемерие, да только, по незнанию арифметики, немного успел.

Потом они с отцом делали электрическую машину. Татьяна Ивановна, хоть и привыкшая к тому, что у них в доме всегда полно всяких диковинных вещей, тут пришла в ужас: долго ли до пожара!

— А ты, старый, словно малый, никак не наиграешься в забавы, — выговаривала она мужу.

Александр же Кузьмич, найдя в сыне достойного наследника по части разных выдумок и начинаний, устраивал с Ваней китайский фейерверк, перегонял розовую и черемуховую воду для лечения глаз. К ним в дом шли с болезнями, как в лечебницу. Все это только подогревало неостывшую злобу к Голышеву-старшему раскольников.

"Земляки смотрели на меня как-то недружелюбно и даже с презрением, — писал потом Иван Голышев, — потому ли, что я был бойчее их детей, одевался прилично, по-городскому, или просто из зависти, так как я первый из наших крестьян, не имея порядочного состояния, получил, хотя и крайне поверхностное, образование в Москве…»

Богачи-раскольники, занимавшие в тот момент высшие общественные должности во Мстёре, придумали, как снова ущипнуть бывшего бурмистра, а заодно и его зазнавшегося отпрыска.

Они решили забрить Ивана в солдаты, сделав «тройников» из Голышевых: сына, отца и его брата, живущего отдельно. В рекруты брали одного из трех. Но Александра Кузьмича в этот «тройник» включать было нельзя. По правилам помещика, те, кто прослужил беспорочно в общественной службе три года, то есть бурмистром или писарем, освобождались от рекрутской повинности, а Александр Кузьмич прослужил на общественных должностях тринадцать лет.

Однако раскольники посчитали: коли Голышев-старший был удален от общественной должности с замечанием и неудовольствием помещика, его тоже можно включить в «тройник». А так как двое из этого «тройника» — мужчины преклонного возраста, жребий, по-тогдашнему «красная шапка», выпадал Ивану.

«Все это держалось в секрете, — вспоминал потом Иван Александрович Голышев, — и раскольники злорадно толковали, что-де «московскому школьнику забреем лоб». Дело объяснилось

лишь тогда, когда отец мой представил в вотчинное правление за меня, как одинокого, за четверть рекрута 150 рублей. По этому взносу одиночки навсегда лично освобождались от рекрутства: денег не приняли — и участь моя была решена».

Отнять единственного сына на двадцать лет в службу! Александр Кузьмич клял на чем свет стоит раскольников. Иван поник головой. Сейчас, когда он только начал вставать на ноги, дела пошли, в пору заводить свое литографское заведение, а тут: иди в солдаты. Татьяна Ивановна с утра до вечера плакала и молилась своей богородице.

Александр Кузьмич засобирался в Петербург к графу Панину. Он верил, что граф, учтя долгую его безупречную службу, не лишит единственного болезного сына.

— Расскажу ему про наш замысел — литографию, твои рисунки покажу, — говорил он сыну.

— Как бы рисунки не заманили меня в Петербург, в дворню к графу, — беспокоился Иван, хоть выход этот казался и более благоприятным, чем солдатчина.

Не зря Иван Голышев рисовал с натуры мстёрские церкви. Именно рисунок «Виды храмов слободы Мстё-ры» пленил Виктора Никитича Панина. Он никогда не бывал в своей Мстёрской вотчине, подивился красоте Мстё-ры, особенно храма Богоявления.

Александр Кузьмич поспешил сказать помещику, что сын прислал этот рисунок графу в подарок. Панин поблагодарил и уважил просьбу отца, предписал во Мстёру: «Крестьянина Александра Кузьмича Голышева, за 10 лет службы его земским и 3-х годов бурмистром, считать лично от рекрутской повинности свободным, а представленные им в Волостное Правление деньги 150 рублей принять и зачесть за рекрутскую повинность сына его Ивана».

Иван был освобожден от рекрутства. Однако Татьяна Ивановна налюбоваться не успела на своего Ванятку, как он уже засобирался в Москву.

Торопился Иван в Москву не только из-за ждущих его там дел, а, в первую очередь, чтобы успеть к приезду туда на коронацию нового императора. Он надеялся даже, через знакомых, попасть в сам Кремлевский дворец.

Еще живя у Лаврентьевой, Иван познакомился с придворным лакеем Николаем Разумовым, который подрабатывал у нее гравированием. Предки Разумова были придворными резчиками по серебру, и он унаследовал придворную должность. Дежурил он во дворцовом буфете только по понедельникам, а в остальное время гравировал на стороне. Подрабатывал он и тем, что тайно

проводил в Оружейную палату и палаты бояр Романовых своих знакомых и их провинциальных родственников, чем часто пользовался и Голышев.

Всякий раз, если Разумов не дежурил, приходилось идти за ним в Измайлово, где он жил. Николай всегда соглашался, оговаривая только, чтобы гости, во избежание порчи полов, были не в сапогах, потому что сапоги тогда подбивались гвоздями с острыми шляпками.

Однажды Голышев, придя во дворец договориться с Разумовым об очередной экскурсии, открыл дверь, а там — княгиня Елена Павловна. Кто-то вмиг схватил его за рукав и втащил в швейцарскую.

Несдобровать бы Ивану, если б не завел он, при частых посещениях дворца, друзей и среди швейцаров, которым неоднократно приносил «подачки».

Вот и теперь Иван надеялся на помощь Разумова.

«Увидеть живого царя!» — это приводило юношу в восторг. К тому же он мечтал выпустить потом, сразу после торжества, новую картинку о нем.

От Мстёры до станции Симонцево на Нижегородском шоссе Иван добрался пешком, а там застрял. Экипажи и тарантасы из Нижнего шли один за другим, но все — полнехоньки. Казалось, вся Россия едет в Москву на коронацию царя.

Так бы и не попасть Ивану в Москву, если бы не было у него на станции знакомого почтового смотрителя, который не раз уже пристраивал уезжающего с каникул в Москву Ваню на место почтальона почтового экипажа.

Тут было только одно условие: чтобы у «контрабандного» пассажира не было больших вещей, допускались только подушка и узелок. Кроме того, не доезжая губернской почтовой конторы, надо было слезать и пройти мимо нее, потом и через весь город пешком или проехать на извозчике, чтобы снова сесть в экипаж уже на выезде из Владимира. В Москве слезать приходилось тоже задолго до почтовой станции. Но для молодого человека эти осложнения — не трудны.

Почтовый поезд сейчас состоял из пяти экипажей, среди них было четыре брика. В последнем экипаже, в четыре яруса, набилось до двадцати человек знатных господ. Ехало много именитых людей и купцов, и разговоры на станциях, пока меняли лошадей, были только о предстоящей коронации. Кто говорил, что въезд в Москву царствующих будет уже тридцатого августа, а кто уверял, что только пятнадцатого. Господа боялись опоздать, нервничали, торопили кондуктора, тот ссылался на старшего кондуктора, а когда господа стали предлагать ему деньги, чтобы

поторопился, кондуктор показал им расписание, от которого не имеет права отступить. Тогда купцы пообещали кондуктору еще заплатить, если он переведет стрелки часов. Но это оказалось невозможным: часы особым образом закрывались в Нижнем, и открывать их можно было только в Москве, на конечной станции.

Однако в Москву они все-таки успели до въезда царя. Звук кондукторских труб известил Ивана, что скоро Рогожская застава, он должен слезать и дальше добираться самостоятельно.

Ефимов готовился к встрече царя. Он служил старшиной в ремесленной управе гранильного цеха и обязан был присутствовать на Тверской при въезде императора в Москву из Петровского подмосковного дворца.

Допускались на Тверскую встречающие только по специальным пропускам. «Как добыть пропуск для Ивана?» — ломал голову Ефимов.

— Придумал! — обрадовался он. — Мы, старшины, должны быть с двумя помощниками. Договоримся с одним из них, чтобы ты пошел вместо него. Задача только вот в чем. Генерал-губернатор распорядился, чтобы все мы были в черных сюртуках, белых галстуках, в белых перчатках и в шляпах-цилиндрах. Пошли к моему помощнику, может, его костюм тебе подойдет.

Костюм подошел. От нетерпения — так велико было желание Ивана увидеть царя — он почти не спал ночь.

Рано утром 16 августа они с Ефимовым отправились в цеховую управу на Никольской. Все волновались: осматривать готовность ремесленников обещал приехать голова. Старые цеховые знаки (на древке лист железа со знаком ремесла) были заменены к празднику новыми — из шелка, с бахромой и золотыми кистями.

Прибывший голова придирчиво осмотрел колонну и дал «добро». И она через Тверские ворота, с развевающимися знаками, двинулась по Тверской. Голова с жезлом шел впереди.

Место ремесленников было у беседки Триумфальных ворот, рядом с городским обществом. Везде в первых рядах стояли войска, а тут, чтобы не загораживать вид господам, войска отодвинулись. Благодаря этому и ремесленникам вид открылся.

В четыре часа пополудни царская свита показалась на Тверской. Государь ехал верхом, а супруга его, мать, братья Константин, Николай и Михаил — в золоченых каретах. Их сопровождало «множество войск». Шествие было великолепное. Вместе со всеми Иван восторженно кричал «Ура!» и, как многие, прослезился.

Потом колонна ремесленников присоединилась к царскому кортежу и двинулась к цеховой управе.

Теперь предстояло найти Разумова. Идти прямо во дворец Иван не решался, отправился к нему домой, в Измайлово. Он шел по Кузнецкому мосту, находясь все еще под впечатлением увиденного, как вдруг навстречу ему — карета, а в ней, рядом с кучером на ободке, сам Разумов.

Разумов тоже приметил Ивана и соскочил с козел.

— Вот фрейлину отвозил к приятельнице, теперь порожняком во дворец едем, — сказал он.

— А я ж к тебе в Измайлово собирался, — радовался Иван нечаянной встрече. — Как бы мне на коронацию во дворец попасть, поди, теперь туда и муха не влетит без пропуска.

Оказалось — никакого затруднения.

— Я сейчас дежурю во фрейлинском коридоре большого дворца, и ты можешь являться ко мне, с черной лестницы, во всякое время, или теперь же пойдем.

Иван решил ехать сейчас же, чтобы изучить обстановку.

— Тут главное, — поучал его Разумов дорогой, — ходить по дворцу уверенно и отвечать смелее. Спросят: «Кто?» Отвечай: «Обойщик».

Площадь перед Кремлем покрывали красным сукном.

— Вона сукна-то скоко, а солдаты в дырявых шине-лишках ходют, — говорили в толпе зевак.

— Да и это сукно, сказывают, наполовину разворовали со складу, едва нашли, чтобы недостачу пополнить.

О воровстве и взяточничестве в армии и в казне говорили уже открыто.

Разумов привел Ивана в лакейскую. В ней находился буфет для фрейлин. Николай представил Голышева своим собратьям как родственника, которому хочется поглядеть коронацию.

С того дня черный ход в Кремлевский дворец для Голышева был открыт. До самой коронации он редкий день не бывал во дворце, не раз оставался ночевать, угощался из фрейлинского буфета чаем, шоколадом, кофе. Фрейлины постоянно разъезжали по гостям, и их обеды и десерт зачастую истреблялись лакеями.

— Жаль только, водки нет, — сетовали лакеи. Виноградных и десертных вин было сколько угодно.

За водкой, в знакомый кабачок, к Каменному мосту, лакеи секретно посылали двух служащих из мужиков, специально приставленных для посылок и черных работ. У них на поддевках были бляхи с гербом, говорящие о принадлежности ко двору, и эти знаки открывали перед ними любые двери.

У дворца все эти дни торжеств круглые сутки дежурили экипажи. Лакеи, по ночам, когда экипажи в основном простаивали, катались на них по Москве, разъезжая по знакомым

со сладостями из фрейлинского буфета. Иван тоже не раз привозил сладкие подарки Лаврентьевой и Ефимову.

Коронация должна была проходить 26 августа. Иван приехал в Кремлевский дворец с вечера и остался там ночевать. Ему захотелось послушать царских певчих. Всенощная проходила в придворной церкви Спаса.

Дежурный лакей провел в потемках его по какой-то лестнице. Тихо отворил боковую дверь, которая скрывалась за ширмой, и показал Ивану, что в скважину створок ширмы отлично все видно. Лакей ушел, а Иван в страшном напряжении, боясь закашлять, слушал всенощную.

Двадцать шестого августа пушечная стрельба возвестила о начале торжественного дня коронации. Уже в шесть часов утра Кремль был запружен народом. Люди сидели на крышах, на ограде. На Соборной площади яблоку негде было упасть.

Дорогие кареты иностранных посланников и именитых людей, пробираясь к Успенскому собору, еще более сдавливали толпу, а жандармы давили людей лошадьми. То тут, то там, из-за тесноты, вспыхивали скандалы.

Однако народ не расходился. Многие говорили, будто новый царь собирается дать крестьянам свободу и объявит об этом в день коронации.

Задолго до шествия Голышев с Разумовым вышли через часовню Печерской Богоматери к самому Успенскому собору, выбрали у гауптвахты, рядом с Грановитой палатой, удобное место и принесли сюда даже скамейку.

Когда царь показался на Красном крыльце, народ недружно закричал «Ура!» и замер в восторженном благоговении.

Погода была отличная. Солнце играло в золоте одежд и соборных куполов. В толпе говорили, что этакое солнце — добрый знак, что можно ждать от нового царствия чего-то светлого.

Разумов с Голышевым так расхрабрились, что попытались, под видом певчих, проникнуть в сам Успенский собор на коронацию. Но впускали в собор только знатных особ и то по специальным пропускам.

Когда, уже коронованный, помазанник божий, Александр II вышел из Успенского собора, тысячегласное «Ура!» сотрясло площадь и народ пал ниц перед новым царем.

Император ответил на приветствие, однако о свободе не сказал ни слова и прошествовал в свой дворец.

Растроганный и несколько расстроенный народ расходился все же с надеждой, что освобождение крестьян — вопрос времени, что, мол, с бухты-барахты такое серьезное дело не делается. Вот новый император осмотрится, прикинет, что к чему, и…

На девятое сентября был назначен придворный бал-маскарад, и Разумов уверял Ивана, что проникнуть на него труда не стоит.

Голышев опять загорелся: юноше-провинциалу было любопытно и лестно оказаться среди придворных и знатных особ.

Опять он явился к Разумову во дворец загодя. Когда гости стали собираться, Николай провел его какими-то тайными ходами прямо во Владимирскую залу, где музыканты уже настраивали инструменты для бальных танцев.

Но, только Разумов, дежуривший в тот вечер в своей буфетной, удалился, к Ивану приблизился дворецкий, заметивший, из какой двери он вышел, и попросил предъявить пригласительный билет. Билета у Голышева не было, он и был выдворен в ту же дверь, из которой пришел.

Разумов, хоть и ровесник Ивана, был уже тертый калач. Он тут же отправился к швейцару и принес Ивану билет.

С таким билетом Голышев мог уже проникнуть на маскарад и через парадный подъезд, но на улице шел дождь, да и обходить было далеко, и он, осмелев, двинулся прежним путем.

Только он появился во Владимирской зале, как тот же дворецкий направился к нему. Теперь Голышев уверенно и с достоинством, как учил Разумов, предъявил билет, и дворецкий оставил его в покое. До самого конца был Голышев на придворном маскараде и остался ублаготворенным.

Закончились коронационные торжества фейерверками у Головина дворца в Лефортове. Весь август Иван почти каждый день слал домой и Сенькову в Вязники длинные и подробные описания торжеств, сопровождая письма еще и зарисовками увиденного.

Эти послания приводили в полный восторг сестер Голышева и всех домашних, их читали вслух по нескольку раз. Александр Кузьмич носил письма по Мстёре и декламировал их чуть ли не наизусть родным и знакомым.

Часть III Возвращение на родину 1859–1861

Крестьянский вопрос «не сходил с очереди» еще при Николае I, создавшем десять тайных специальных комитетов для его решения. Но это было до Французской революции 1848 года. Революция перепугала императора. Современники говорят, что, получив депешу о революции, Николай I тут же отправился во дворец сына-наследника, у которого в полном разгаре шел бал. Громким, натренированным на армейских командах, голосом император прокричал на всю огромную залу: «Седлайте коней, во Франции объявлена республика!»

Николай намеревался тут же двинуть за границу трехсоттысячную армию, но оказалось, что в казне нет для этого денег. Чтобы ничего похожего на Французскую революцию не произошло в России, император приказал прекратить всякие разговоры о крестьянской реформе. В печать проникали только статьи о незыблемости власти помещиков над крестьянами.

Война с Турцией сначала сняла внутреннее напряжение в стране, потом обнажила несостоятельность системы управления империей Николая I. Но он успел воспитать в своем духе сына Александра и, только умирая, признал несостоятельность своей системы. «Сдаю тебе команду не в полном порядке», — сказал он сыну-нас леднику.

Цесаревич вырос убежденным приверженцем системы отца, в крестьянском вопросе он был даже правее Николая I, но после смерти отца, войдя на престол в 1855 году и закончив турецкую войну, Александр II отменил многие «стеснения» отца и твердо решил заняться крестьянской реформой, объявив своим помощникам, что лучше отменить крепостное право сверху, чем ждать, когда это сделают сами крестьяне снизу. Очень заметно при нем, после «мертвого» николаевского времени, повеяло свободой. В герце-новском «Колоколе» появились задушевные приветственные статьи Александру. Чернышевский тоже прославлял его и ставил выше Петра Великого.

По распоряжению императора были созданы губернские комитеты для выработки предложений по реформе.

Но в печати по-прежнему еще обсуждать крестьянский вопрос не разрешалось.

Поверив в «свежий ветер», «Современник» опубликовал было проект реформы Кавелина, давно ходивший по рукам, в нем говорилось о передаче земли крестьянам при помощи выкупа. И

тут же последовал запрет вообще упоминать о выкупе в печати. «Русский вестник» в ответ на это демонстративно закрыл отдел по крестьянским вопросам.

Однако с осени 1858 года уже всей печати было дозволено обсуждать различные пути реформы. Чернышевский публиковал острые статьи, обвинял помещиков в эгоизме. Даже Герцен принялся защищать от его крайних нападок дворянский либерализм. И в эти два года до реформы сознание россиянина «сделало много шагов вперед» от забитости, инертности и безынициативности, воспитанных эпохой Николая I.

И все-таки Россия — ждала! Даже крестьянские волнения приутихли в ожидании царской воли.

ГЛАВА 1 Свадебные звоны

Ивану Голышеву шел двадцатый год. Александр Кузьмич и не думал еще о женитьбе, как вдруг Иван объявил ему, что женится. Летом 1857 года Иван в очередной раз ехал из Москвы домой с Осипом Осиповичем Сеньковым, поделился с ним своими раздумьями-опасениями, что отец подберет немилую невесту из неграмотных дочек какого-нибудь зажиточного иконника. Иван мечтал об иной семейной жизни, чем та, что текла во Мстёре.

— А женись-ко ты давай на моей сроднице и воспитаннице Авдотье Исто-махиной, — сказал Осип Осипович. — Она на годок тебя помладше, купецкая дочь. С малолетства привязалась к моим дочерям, так что почти и живет у нас. Особой красотой не блещет, но — мила, умница, грамотна, много читает, не вертихвостка и — работящая. А за сердечную доброту мы прозвали ее Душой, так это имя к ней и приклеилось.

— Да пойдет ли она за крепостного?

— Это моя забота.

— Боюсь, отец воспротивится. Не захочет вводить в дом купчиху, на которую прикрикнуть нельзя.

— Отца я возьму на себя, — сказал Сеньков. — Приезжай, посмотришь невесту.

Иван и дня не погостил дома, помчался в Вязники к Осипу Осиповичу. Сеньковы жили большим домом на центральной улице: Осип Осипович с женой и тремя дочерьми, его брат Иван с семьей и их мать Ольга Дмитриевна. Дочерей Сенькова Иван Голышев знал с тех пор, как парнишкой приезжал к Осипу Осиповичу. Старшая дочь его, Александра, недавно вышла замуж и переехала жить к мужу. Младшей, Глаше, шел девятый год, а семнадцатилетняя Авдотья заневестилась и очень похорошела. «Однако за свою дочь Сеньков не сватал, значит, и нечего на нее заглядываться», — одернул себя Иван, когда Авдотья Сенькова очень чинно, по-взрослому поздоровалась с ним. Осип Осипович послал Глафиру за Дусей Истомахиной.

Дуся Истомахина Ивану сразу понравилась. Круглолицая, румяная, с чудной, чуть не до пят, косой, она вся зарделась, знакомясь с Голышевым, сердцем поняв, что сводят их не зря. Авдотье Истомахиной Иван Голышев тоже приглянулся. Высокий, статный, одет по-московскому, обходительный. Застенчив больно, но мужская нерешительность на первых порах девушкам нравится: сробел — значит, по-хорошему полюбил.

Двадцать две версты от Мстёры до Вязников, каждый день не наездишься, однако зачастил Иван Голышев в город, так что

Александр Кузьмич заподозрил неладное.

— И это что же, помимо батьки нашел?! — вскипел он, узнав, в чем дело. — Шин силу не набрал, потраченное на тебя отцом не возвернул, а уж от батьки прочь?!

— На купецкой дочери хочу жениться, — попробовал защититься Иван, не вполне уверенный, что эта весть смягчит отца.

— Чья же это? — коротко спросил Александр Кузьмич.

— Истомахина Авдотья, в свойстве с Сеньковым. Он и сосватал. С тобой, тятя, собирался поговорить насчет этого.

— Рано тебе жениться, — отрезал Александр Кузьмич и вышел во двор, где чинил коровий омшаник.

А Татьяна Ивановна обрадовалась новости. Беспокоилась она за сына, больно робок с девками, и достатку большого у них нету, какой попало отдавать сына не хотелось. А тут — купецкая дочь, да слыхивала Татьяна Ивановна про Истомахиных, хорошие, говорят, люди, а уж чего лучше для такого парня, как добрая девка. Бойкая да злая враз его скрутит.

— Посмотреть надо, — нашептывала она ночью горячему своему муженьку. — Парень — не девка, не из дому, а в дом, да и помощницу приведет, мне полегче будет.

— Тебе своих четырех мало, — озлобился Александр Кузьмич, — скажи, что любимцу своему потрафить хочешь.

— И это тоже. Чего парню душу ломать, коль приглянулась невеста?! Добрая, сказывают, девица.

— Злые, добрые, — огрызнулся Александр Кузьмич. — Только дело с Иваном затеяли, а тут — бац: жениться хочу. Это разве хозяин?! Дети пойдут, работа — насмарку, с отца начнуть тянуть. Нет! Не даю согласия, — отрезал он и отвернулся, будто оскорбленный женинами разговорами.

— Куда торопиться-то? — попробовала уговорить сына утром и Татьяна Ивановна. — Вот литографию устроите, все наладится, отец, можа, и помягчеет, а девок много…

— Много, да не таких! — помрачнел Иван. — Такая не засидится, враз уведут из-под носа.

— Да она-то тебя хоть видала, говаривал с ней, согласная?

— Говорить об этом еще не говорили, а переглядывались, чувствую — согласная будет. Только спросить не спросил — оробел больно.

— Да, можа, она уж сосватанная?

— Нет, Осип Осипович знал бы, он сам меня уговаривает.

— Ох, горе ты мое луковое, да отец-то — ни в какую: отрабатывать, говорит, надо.

— Отработаю я ему. Слово даю, всю жизнь буду на него

работать, отделяться не будем. У ней семья большая, жить здесь будем, вот и отработаем вместе, как есть, уговори ты его, матушка.

— Ах ты, мой сердешный. Взяла тебя девка за сердце, хорошо, ежели добрая, а то пропадешь нипочем зря.

— Добрая она, матушка, добрая, по глазам вижу.

— То-то и оно, что по глазам только и видишь, а девка, когды замуж соберется, глаза каки хошь сделает. Ей бы только парня окрутить, под венец увести, а там — хоть кол на голове теши…

— Не такая она, матушка.

— Не такая, не такая — заладил. А какая — и сам не знаешь. Попробуй уговори отца… разве не знаешь упрямца?! И любит он тебя, души не чает, ничего для тебя не жалел, еще гулять бы да гулять в холостяках, а ты вон что удумал…

— Не хочу я гулять, работать на отца буду, уговори ты его.

Неделю еще Александр Кузьмич не давал сыну согласия, но каждый вечер они с Татьяной Ивановной обсуждали, что к чему и как засылать сватов. Только сыну пересказывать их разговоры Александр Кузьмич не велел. Однако Татьяна Ивановна намекать сыну намекала, что дело не безнадежное, чтоб попокорливей с отцом был, не перечил ему. Иван старался изо всех сил.

Иван Николаевич Истомахин, купец в третьем поколении, мог бы и покапризничать, выдавая дочь за крепостного крестьянина. Но крепостное право уже трещало по всем швам. Многие мстёрские крестьяне, как и Голышев-старший, давно жили по-купечески. И про род Голышевых, мастеровой, Истомахин слышал, и что Александр Кузьмич столь лет в писарях да бурмистрах ходил. И Сеньков жениха уж очень нахваливал. Авдотье парень полюбился. Да и следующая за Авдотьей дочь, Елизавета, подрастала, скоро тоже на выданье будет, и дале еще полно девчонок… В день засылки сватов, с утра, Татьяна Ивановна зажгла свечи перед образами. Свахой и сватом поехали в Вязники брат и сестра Александра Кузьмича — Хиония Кузьминична, в замужестве Лощилова, и Иван Кузьмич.

— Свату первая чарка и первая палка, — робели они.

— Ничево, ничево, сговорено уже, — успокаивала их Татьяна Ивановна.

Сваты должны были условиться с Истомахиными о дне смотрин, свидания жениха с невестой. Объяснение промеж молодых уже состоялось, мнение будущего тестя Голышевы знали и все-таки волновались, ожидая возвращения сватов.

Но, говорят, не невесту выбирай, выбирай сваху. Вернулись сваты веселые, глядины были назначены на завтра, и Голышевы отправились собирать родственников для поездки к невесте «на

рукобитье». Утрецом пораньше, путь неблизкий, запрягли лошадей и двинулись в Вязники.

С первых дней сентября начались знобкие утренники, холодная роса лежала на придорожной траве. Но, пока ехали до города, день прогрелся. Колеса пролеток мягко и почти бесшумно катились по желтой от палых листьев каменке среди белоствольных берез. Это Аракчеев в свое время приказал насадить вдоль российских трактов берез. Со всей округи сгоняли для этого крестьян. Каждый помещик обязан был выставить своих крепостных. Крестьянским потом была полита эта дорожка, но получилась — на славу. Летом в березовой аллее было прохладно ехать, зимой деревья задерживали снег, защищали тракт от непогоды и ветра.

Истомахины уже ждали Голышевых. Приезжане, войдя в дом, сделали три поклона перед иконами:

— Хозяину с хозяюшкой и с детками — доброе здоровье!

— Благодарим за доброе слово, гости милые, — кланялась в ответ Матрена Васильевна, мать невесты. — Добро пожаловать, оченно рады.

Александр Кузьмич, по обычаю, отправился в красный угол, затеплил пред образами свечку, и гости вместе с хозяевами помолились богу.

Дуся была приодета. Молясь, она искоса поглядывала на Ивана и улыбалась ему неприметной для других улыбкой, а внешне была строга и торжественна. После молитвы невеста ушла, а родители ее пригласили гостей:

— Сядем рядком, потолкуем-ко ладно.

И пошел разговор: какое приданое дадут за невестой да сколько выдаст «на стол» жених. Второе зависело от первого. Обычно свадьбы во Мстёре старались подгадать к мясоеду, когда поля и огороды убраны, закрома полны. К мясоеду резали бычков и телушек, которых задумали не пускать в зиму. Теперь решили мясоеда не ждать, играть свадьбу через две недели, девятнадцатого сентября, приданое у невесты почти готово, а жених торопится, и родители не стали перечить молодым.

На третий день после сватовства к жениху явилась от невесты портниха — снять мерки для сорочки, которую невеста обязана была сшить для жениха в приданое.

Портниха Агафья оказалась бойкая, мерки снимала с приговорками:

— Ну-ка, молодец, повернись, ну-ка, молодец, покажись. Будет тебе сорочка что надо, мастерица невеста-то, только юна.

— От своей судьбы не уйдешь, — вздохнула Татьяна Ивановна.

— Да уж, суженого и на кривых оглоблях не объедешь, — согласилась Агафья.

— Кто в кого родится, тому на том и жениться.

— Дело путное. Человек по сердцу— половина венца.

— Да, видно, уж сердце сердцу весть подает.

— Не говорите, матушка, коли чему быть, того не миновать.

— Старый старится, молодые растут, им жить, им любить да детушек родить.

За три дня до свадьбы невеста устраивала девичник. Дуся пригласила на него с десяток своих подруг, а Иван — холостых парней.

Жених, как обычно, приехал с гостинцами, разложил их по тарелкам. Гостей пригласили к столу. Играя присловьями, они принялись усаживаться:

— Сядем да побаем, щец похлебаем, отойдем да поглядим, хорошо ли мы едим.

— Берите и кушайте не за череп, не за край, а за круглое дно.

В передний угол садились родственницы невесты и девицы побогаче. С краю от них села невеста, рядом с нею — Иван, а от него пошли усаживаться парни и мужчины.

А в дверях давились и в окна заглядывали гляделыцики, от мала ребенка до почтенного старца. Они приставали к молодым и к гостям, выпрашивая лакомства.

— Глядь-ко, у Авдотьи Сеньковой платье золоченое. Авдотья Осиповна, дай пирога, — кричала, закрыв лицо платком, молодая гляделыцица.

Авдотья отворачивалась, хотя по голосу сразу узнала свою соседку-подругу. Гляделыцица не отступалась, с комплиментов перешла на подковыриванье.

— Анастасия Глотова, — признала ее Авдотья, не дожидаясь, пока та, как было принято, не перейдет на оскорбления.

И узнанную гляделыцицу тут же пригласили к столу «залить глотку», а невеста пошла с подносом угощать других.

Когда Дуся вернулась, рядом с Иваном сидел и ухмылялся парень. Невестино место пришлось молодым откупать поцелуями, и гости долго сбивали их со счета.

Потом гости уводили невесту и требовали с жениха выкуп. Иван доставал деньги, девушки, шутливо ссорясь, делили их и начинали хоровод:

Что на блюдечке катается,
Словно сахар рассыпается.
Не душа ли красна девица,
На кого душа надеется.

Внутри круга шла Авдотья Сенькова и, стрельнув в жениха усмешливым взглядом, пела:

Я надеюся на Ваничку,
На мила дружка Иванушку.
Знаю, знаю: не покинет он меня,
Знаю, знаю: не оставит он меня.

Хор подхватывал:
Он такой собой хорошенький,
Сертужок на нем коротенький.
Он и вьется, увивается,
Поцелуев дожидается!..

— С суконным рылом да в калашный ряд, — ехидничали недоброжелатели Голышевых по случаю женитьбы крепостного крестьянина на купецкой дочке.

— Не говори, не в свои сани садится.

— Это вы зря, смышленый сын у Кузьмича.

— Смышленого-то б из рисовальной школы не выгнали.

— Он сам бросил.

— Са-а-ам! Они скажут.

— Где жить-то станут, в Вязниках или здесь? А может, в Москве?

— Здесь. Иван-рт литографию каку-то изучает, свое дело сбирается открыть тут.

— Открыть-то не трудно, да содержать-то хватит ли ума.

Венчались молодые во Мстёре, в Богоявленском храме. В воротах дома Голышевых встречали повенчанных Александр Кузьмич с хлебом-солью и Татьяна Ивановна с квасом, что означало — пожелание молодым жить в довольствии и не иметь нужды. Потом Александр Кузьмич взял под руку и повел в дом сына, а Татьяна Ивановна — невесту. Они благословили новобрачных и пригласили всех гостей за стол. И то еще было не свадьбой, а приступом к ней, величаньем родителей и молодых. Однако и поезжане и духовенство уходили с него отяжелевшими. Сваха отвела Дусю, теперь ее именовали Авдотьей Ивановной, в особо подготовленную для нее комнату — «крутить голову». До венца девицы заплетали волосы в одну косу, теперь, после венчания, их надо было заплести уже в две косы. Замужняя женщина не могла ходить и простоволосой, в день венчания ей надевали кокуй, кичку.

Потом невесту снова вывели к жениху, усадили рядом с ним

на стул и накрыли им головы полотенцем, которое невеста прислала жениху накануне свадьбы, Дуся с Иваном смотрели под полотенцем в зеркальце, присланное Иваном невесте в подарок.

— Кого видишь в зеркале? — спрашивала сваха Хио-ния Кузьминична невесту.

— Евдокию, — отвечала Авдотья Ивановна.

— Кого видишь ты в зеркале? — спрашивала сваха жениха.

— Ивана, — отвечал он.

После этого наконец-то молодых допустили к столу. Но и теперь, не имея с утра и маковки во рту, они могли откушать скромненько, чаю с пряничком.

Вслед за молодыми бросились и гости к столу, всяк старался сесть поближе к новобрачным, поднялась суматоха. Но только все утихло, как дружка и сват принялись наводить порядок, чтобы усадить гостей по старшинству, близости родства и степени уважения в обществе.

— Повыдь-ко, тут есть постарше тебя, — тянул дружка за руку парня, пристроившегося рядом с невестой.

Парень уступил место.

— Еще поотдвинься, — не отставал от него дружка, — тут сядет двоюродная сестра да крестовая сестра. А вот еще сын бурмистра да близкого соседа сын… — Удвигал дружка парня на самый край, к двери, а все хохочут…

По традиции, гостей сразу оглушили тремя стаканами водки, наливки и красного вина и только потом подали кушанья. Сначала принесли холодное: окорок, баранью голову, студень. Потом — горячую похлебку из гусиных потрохов.

Свечи на столах были украшены фольгой и обрезками цветной бумаги. Фольгой украшались и холодные закуски.

Водка лилась рекой. По два раза наполняли стаканы после каждого кушанья.

Потом принесли жаркое — «средину барана». Молодой вынул из нее почку, разрезал на мельчайшие кусочки и раздал их вилкой всем присутствующим.

Принимая кусочек почки, каждый из гостей выпивал и заставлял молодых целоваться.

После поданного на стол жареного гуся молодым разрешалось на немного выйти из-за стола и переодеться. Гости же, тоже выйдя из-за стола, пустились в пляс.

В полночь новобрачных отвели спать и закрыли на замок. А застолье продолжалось до утра. Кого-то к рассвету уложили проспаться насильно, кто-то из приезжих сам прикорнул отдохнуть там, где его захватил сон. Местные тоже разошлись по домам вздремнуть, но ненадолго.

Утром все снова собрались за столом «на похмелье». Кто-то прикладывал к вискам соленые огурцы, кто-то — хрен. Сваха Хиония Кузьминична потихоньку доложила гостям, что с невестой «все благополучно». И попойка пошла с новой силой за то, что «все благополучно». Новобрачный благодарил тестя и тещу за дочь. Хмельные гости били на счастье горшки.

Потом свадьба выхлестнулась на улицу. Откуда-то появились ряженые, и часть гостей отправилась с ухарством кататься по слободе на лошадях, а остальные, в окружении зевак, пошли по улицам с песнями и плясками, стуча в заслон и худые сковороды.

Вечером жених отправился к теще на блины. Тут тоже был целый ритуал, как блины разрезать да что при этом говорить.

После блинов молодому подавали яичницу, которую он тоже разрезал особым, принятым издавна манером. В заключение теща подавала новобрачному целую тарелку блинов, которую он вез к себе домой.

«Гордый стол» через четыре дня накрывали уже в доме невесты. И так же обильно, пьяно и весело было застолье. В бедных домах на этом свадьба обычно и кончалась. В зажиточных в первое после свадьбы воскресенье устраивался еще «свадебный стол». На него приглашались только самые близкие родственники и избранные. По ритуалу «свадебный стол» был похож на «гордый», однако пиршество на нем было поблаговиднее.

Через месяц после свадьбы Иван Голышев снова уехал в Москву. Твердо было решено, что Голышевы откроют во Мстёре литографию, и Ивану надо было купить в Москве все для нее необходимое.

ГЛАВА 2 Открытие литографии

Из Москвы Иван Голышев привез тридцать литографских камней с рисунками на обеих сторонах. О печатных станках тоже с Ефимовым договорился, но пока не купил. Надо было сначала получить разрешение на открытие литографии, и тут предстояло пройти несколько этапов. В первую очередь требовалось дозволение помещика. Александр Кузьмич написал графу Панину в Петербург, и тот живо ответил согласием. Показывая теперь гостям картину «Виды храмов слободы Мстёры», подаренную ему Иваном Голышевым, ярый защитник крепостного права граф Панин говорил: — Это дело рук крепостного мальчишки из моего мстёрского имения. Так вот этот юнец несовершеннолетний вздумал открыть на имя отца сельскую литографию, меж-ду прочим, первую в России. Видите, подлинному таланту крепостное право — не помеха. Не так уж забиты эти крепостные, как принято стало у нас говорить.

Разрешение графа было только первой ступенькой к делу. Теперь нужно было получить согласие губернатора, который должен был хлопотать перед министром внутренних дел.

Еще летом Осип Осипович Сеньков, поддерживающий Ивана Голышева в затее с литографией, заказал своему воспитаннику снять специально для владимирского губернатора вид города Вязники. Не без робости отправился молодой художник в Вязники для рисования с натуры.

Александр Кузьмич тем временем обивал пороги чиновников, давал подписку, что будет печатать только народные картинки и — ничего бесцензурного.

Наконец все документы были собраны, и Голышевы отправились во Владимир к губернатору. Рассказал губернатору Тиличееву о них Осип Осипович Сеньков, даря рисунок Ивана «Вид города Вязники». Литография висела теперь в раме под стеклом в кабинете губернатора.

Тиличеев оценил талант юного художника, однако затеваемое Голышевыми дело не радовало начальника губернии. Во-первых, с печатью дело такое: смотри да смотри в оба. Во-вторых, он презирал это лубочное искусство. Считал, что лубок не только не воспитывает вкус крестьянина, а даже приносит вред и развращает народ. Потому Тиличеев не торопился принимать Голышевых, вынудив их долго ждать в прихожей, битком набитой крестьянами-просителями, прибывшими со всех концов губернии.

Александр Кузьмич был задет за живое таким приемом. Иван и так робел, а теперь ему вовсе расхотелось идти к губернатору.

Наконец, через какое-то время, которое показалось Голышевым вечностью, губернатор сам вышел в прихожую, с длинной трубкой во рту, с брезгливой усмешечкой.

Он взял у Александра Кузьмича прошение. Иван принялся торопливо развязывать тесемки папки, в которой привез зацензурованные рисунки.

Губернатор небрежно перелистал оттиски и прокричал:

— Это — дрянь, дрянь, дрянь!

Иван покрылся алой краской, смущенно прошептал:

— Но это же…

Наверное, губернатор совсем бы отказал Голышевым, если бы не лежали уже у него в столе разрешение министра внутренних дел и письмо графа Панина, хлопочущего о затее своих подданных.

Итак, дозволение было получено, но возвращались Голышевы домой невеселые.

Стоял февраль. Обычные для него метели подкрепились еще и сильными морозами. Закутавшись в тулуп и накинув башлык, седоки завалились в глубь саней, и каждый по-своему, молча, переживал испытанное в прихожей губернатора унижение.

До этого Иван считал, что, открывая первую в России сельскую литографию, да еще в центре офенства, он затевает важное для народа, для своего края дело, а тут — такое презрение начальника губернии. Иван был совершенно убит оценкой губернатора. «Дрянь, дрянь, дрянь!» — всю дорогу звучало у него в ушах.

— Ну, что приуныл? — спросил вдруг отец. — Может, уже отступиться решил?

Иван молчал.

— Я тебя, конечно, учил уважать власти. Да только подумай, много ли смыслит в народном деле губернатор? Чтой-то не приносят коробейники эти картинки обратно, все распродают. Значит, нужны они людям. И помолятся на них бедные крестьяне, и порадуются, и деток своих имя потешат. А графское высокое искусство бедняку не по карману, да и тоскливо бы стало ихней дорогой гравюре в грязной избе простолюдина.

Вскоре испытанное унижение забылось, слишком много хлопот свалилось на Голышевых по устройству литографии.

Иван через пару дней снова отправился в Москву. Дело Ефимова уже хромало, хозяин собирался забросить его и постепенно продавал инструменты. Иван договорился с ним о двух русских литографских станках с перевесами. Они хоть и были менее производительными по сравнению с иностранными, но и стоили намного дешевле. Иван-то бы, конечно, хотел сразу

купить станки заграничные, да только отец не рискнул пустить последние деньги на незнакомое дело.

Образования, действительно, у Ивана было маловато. Еще меньше — денег. Однако имелось пламенное желание открыть свою мастерскую, а со временем, может, и от отца отделиться.

Недостаток образования заменяли ему находчивость и сметливость. К естественным наукам у Ивана, как и у отца, были способности. Вдохновляли азарт исследователя, доверие отца, зависть сверстников, по несовершеннолетию служащих у своих отцов на побегушках.

Александр Кузьмич полагался в затеянном предприятии целиком на сына, но, ссужая деньгами, четко контролировал его.

14 мая по месяцеслову — Еремей-запрягальник: самая ленивая соха и та в поле. Невелико поле Голышевых, но проторчали на огороде полмая.

Хлебом засеяли, как обычно, чуть более сотки, чтобы потом разговеться только своим, в основном они хлеб покупали. На грядках посадили лук, морковь, горох.

Точно по месяцеслову, 18 мая, в день Арины-рассадницы, начали сажать капусту. Татьяна Ивановна выращивала рассаду сама, заставив все подоконники ящиками с землей.

— Не будь голенаста, будь пузаста, — шептала она, наклоняясь над грядкой.

— Не будь пустая, будь тугая, не будь красна, будь вкусна, — вторили ей дочери.

Мужчин от посадки и сева они освободили. У мужчин — своя забота. Они готовились к открытию литографии.

Цветилыциц из подвала выселили и установили там печатные станки. Цветилыцицы етали раскрашивать картинки У себя дома, семейно.

Из Москвы Иван привез, из-за недостатка средств, только одного печатника, Фадея Игнатьева, и Фадей теперь, под руководством хозяина, приноравливал к станкам двух мстёрских крестьян.

Дело шло на лад. И 21 мая 1858 года, с молебствием и водоосвящением, собрав вокруг дома чуть не всю Мстёру, Голышевы открыли литографию.

Александр Кузьмич взял на себя заботы о сырье и по-прежнему вел книжную торговлю. Иван рисовал оригиналы для картинок, переносил их на камень, вел сношения с цензурными комитетами, справлял всякого рода переписку, производил разные опыты по улучшению литографского дела и в то же время помогал отцу при отпуске товаров офеням. Авдотья Ивановна занялась цветилыцицами.

Пару рисовальщиков себе в помощь Иван тоже нашел во Мстёре, хотя живописцы не больно охотно переходили на народные картинки, да не сильно и верили в новое дело Голышевых: мало ли чего затевал Голышев-старший, необоротливый.

Иван, по обыкновению, проснулся рано. Вышел в сад. Перволетье стояло сухое и солнечное. Сад доцветал. Белые лепестки вишен лежали в бороздах грядок, на подросшей, ядреной траве. Как ни рано вставал Иван, мать всегда его опережала. Вот и сейчас она уже хлопотала на задах. Завидев сына, улыбнулась:

— Солнце ноне вроде и не садилось. Ну, с рожденьицем, сынок! — она обняла наклонившегося к ней сына и поцеловала его. — День-от какой разгорается. Июнь — красный месяц. Червень — по-старому. Ране-то в эту пору обирали с корней червеца, ну червячка такова, из того червеца баг-ряну краску делали.

Иван пошел по саду. Гудели в кронах яблонь пчелы. Краснели и лиловели в утренней росе головки клевера, уводя дорожку вверх, на гору, к нежной голубизне неба.

В конце их небольшого сада, подпирающего гору, Иван остановился и повернул к дому. Отсюда, с самой высокой точки сада, за крышами другого порядка, видна была речка Мстёрка. За нею лежала изумрудная сейчас пойма междуречья, а вдалеке — Клязьма.

Двадцатилетие — совершеннолетие свое — Иван встречал в силе. Помнились детские болезни и страхи, скитания по чужим углам в Москве. Теперь он — дома, имеет свою семью и прочно стоит на ногах.

В августе Александр Кузьмич послал сына в Москву за бумагой. Иван отговаривался. Авдотья Ивановна была на сносях и дохаживала последний месяц.

— Ничего с ней не сделается, — говорил отец в ответ на сомнения сына, — бабы рожают, как кошки. Твоя мать вон уже десяток понесла и — ничего.

С тяжелыми предчувствиями уезжал Иван, хотя жена заверила-успокоила его, что все будет в порядке.

Александр Кузьмич как-то странно ревновал сына к снохе. Тихая и деликатная, она не вмешивалась в частые грубые сцены, устраиваемые Александром Кузьмичом домашним, но нутром не принимала их. Голышев-старший это чувствовал и не стеснялся, где возможно, подковырнуть сноху:

— Ах, мы из купецких…

Роды начались ночью, проходили тяжело. Александр Кузьмич

даже не вышел к снохе. Татьяна Ивановна сама была за повитуху.

Ребенок долго не появлялся. Авдотья Ивановна, обессиленная болями, не могла даже кричать и только тихонько стонала.

Потом ребенок с трудом вышел, а у матери началось кровотечение, и его долго не удавалось остановить.

Авдотья Ивановна, обрадовавшись благополучному рождению дочери, уже не думала о себе и впала в забытье, доверившись хлопотам свекрови.

Татьяна Ивановна лечила сноху своими доморощенными способами и травами, но роженице становилось все хуже. Только когда Авдотья Ивановна надолго потеряла память, Александр Кузьмич отправился за доктором в Вязники.

Доктор признал заражение крови и у матери, и у дочери. Юленьку, так Авдотья Ивановна успела назвать дочь, спасти уже не удалось. Смерть дочери усугубила болезнь матери. И когда Иван вернулся из Москвы, дочь уже похоронили, а жена была так плоха, что врачи беспомощно разводили руками.

Иван бросился к Сенькову. Осип Осипович пригласил к своей воспитаннице лучших губернских докторов. Из лап смерти ее вырвали, но болезнь затянулась на годы.

Вдвоем теперь Иван со своей Душой оплакивали смерть Юленьки. Иван винил себя за то, что не воспротивился отцу, уехал, оставив Авдотью Ивановну в трудный час одну, обвинял отца, который то ли из жадности, то ли «изо грубости» не позвал к жене акушерку.

В версте от Мстёры по Шуйскому тракту в селе Татарово было имение бывшего уездного предводителя дворянства, генерал-поручика Ивана Александровича Про-тасьева.

В сосновой роще стояли барский двухэтажный деревянный дом, флигель для гостей и множество дворовых построек.

Роща переходила в замечательно спланированный парк. Иван Голышев, не раз проезжая в лодке по Мстёрке мимо имения Протасьева, любовался этим парком, его белыми беседками, земляными террасами и дорожками, спускавшимися к реке.

Говорили, что планировал этот парк в прошлом веке крепостной художник фаворита Екатерина II, князя Потемкина, присланный сюда на время из С.-Петербурга князем в подарок своему другу-помещику.

Потомки того помещика, видать, не больно следили за парком. Он вырос, кое-где утерял правильность линий, но от этого стал еще живописней.

Сегодняшний его владелец по зимам жил в Москве, да и летом вел здесь уединенный образ жизни. И вдруг Протасьев появился на пороге дома Голышевых. Иван сперва и не признал

помещика.

— Сосед ваш, Протасьев, — просто отрекомендовался гость. — Слыхали про такого?

— Как не слыхать?! Милости прошу, проходите, — поклонился Иван, отступая в сторону и пропуская помещика в избу.

Именитые люди теперь частенько заглядывали в их дом, интересуясь литографией. Как правило, они были уважительны с хозяевами, держались с Иваном, как с равным, но он всякий раз робел в разговоре с гостями, смущался и, если была возможность передать посетителей отцу, всегда ею пользовался.

На этот раз Александр Кузьмич был в отъезде, и Ивану самому пришлось занимать важного барина.

Протасьев тоже приехал посмотреть литографию. Иван повел его в подвал, стены которого были увешаны раскрашенными картинками.

— Наслышан, наслышан о вашей промышленности, — говорил Протасьев, расхаживая между станками и разглядывая картинки. — Искусство не великое, однако народом любимое. Впрочем, лубок, бывало, развешивали в своих палатах и цари. Сколько намерены выпускать в год?

— До трехсот тысяч.

— На какой бумаге?

— В основном на писчей, а вот эти, так называемую «литографию», — на портретной непроклеенной бумаге, до тридцати тысяч.

— Где берете бумагу?

— Из Москвы привозим.

— Далековато.

— Конечно, далёко, да ближе нет.

— А как идет торговля?

— Пока не жалуемся. И в лавках на ярмарке картинки хорошо раскупаются, и офени берут охотно.

Протасьев осмотрел и магазин, однако уходить не собирался.

— Не угодно ли чаю? — пригласила гостя Авдотья Ивановна.

Протасьев охотно согласился. С пригожей молодой хозяйкой был подчеркнуто почтителен, оказался хорошим собеседником, сумел втянуть в разговор и Ивана, оправившегося от обычного для него смущения.

Перед расставанием Протасьев сказал Голышеву:

— Думаю писчебумажную фабрику открыть, в первую очередь — для вашей литографии. Как на это смотрите? Будете брать у меня бумагу?

Иван обрадовался:

— Какой может быть разговор?! Сколь сил и средств тратим, возя ее из Москвы. Уж больно бы хорошо было, если не шутите, Иван Александрович.

— Не шучу. Вы уверены в своем производстве? Не бросите дело? А то про вашего батюшку не больно хорошие слухи ходят. Много дел уж он затевал…

— Я за батюшку не ответчик. Литография совсем на мне. Тятины только средства, но и моя уж доля в них имеется. Да и он теперь не отступится, стар уж на свое-то дело выходить.

— Ну, коли так…

Потом Иван узнал, что мысль открыть писчебумажную фабрику подсказал Протасьеву Осип Осипович Сеньков. Он продолжал поддерживать Голышева.

Знакомство с Протасьевым с тех пор продолжалось. Иван частенько хаживал в помещичий дом. Протасьев уже вскорости открыл бумагоделательную фабрику. Сперва в простеньком сарайчике, а потом построил специальное здание на берегу Мстёры. И Голышевы перестали возить бумагу из Москвы. Протасьев снабжал их бумагой любого, какой им требовался, сорта.

Теперь можно было расширять производство. Сеньков давал Ивану в долг деньги на иностранные станки.

И однажды, осенним вечером, у стоящего на пригорке по Большой Миллионной дома Голышевых остановилось три конных повозки. Они доставили купленные Иваном в Москве три «железных» ручных печатных станка иностранной конструкции.

Пока рабочие сгружали станки и втаскивали их в литографию, собралась толпа.

Владелец фольговой фабрики Мумриков старался понять, как станки работают. Даже заклятый враг Александра Кузьмича Голышева, поморец-раскольник Скобцов, не стерпел, остановился в толпе у дома, окинув завистливым взглядом иностранную диковину, подумал: «Крепко берется Кузьмич. Видно, и впрямь башковит у него сын и кое-чего набрался в столице». А вслух съехидничал:

— Дурни думкой богатеют.

Станки действительно были непросты. При них находилась инструкция на немецком языке, да не обучены были ему Голышевы. Тогда Ивану пришла мысль обратиться за переводом к квартировавшим во Мстёре офицерам шестого Таврического полка: «Господа. Чай, их языкам с малолетства обучают».

Офицеры действительно владели немецким. Со скуки они согласились помочь молодому крестьянину-предпринимателю. Пришли к нему в литографию, осмотрели ее, потом уселись у

станков и, читая вслух немецкую инструкцию, принялись вместе с хозяевами осваивать иностранную технику.

С того раза Иван частенько ходил с иностранными книгами к офицерам. В России литографское дело только налаживалось. Те русские мастера, кто успел его освоить, держали свои знания в секрете. И все книги по литографии, которые Ивану Голышеву удавалось достать в Москве, были на иностранных языках.

А ему хотелось получше изучить химическую часть этого производства, тем более что он вторично в своей жизни едва не лишился зрения. Когда варил химические литографские карандаши, воспламенилась смесь селитры с горючим составом: взрыв отбросил Ивана к стенке, успев пахнуть огнем в глаза. Ивану хотелось постичь все тайны затеянного предприятия. Он возмечтал самолично построить печатный станок на манер иностранных. Проштудировав много книг, выстругивал и вытачивал детали и… осуществил задумку. И пусть его станок был не так грациозен, как заграничные, но работал исправно и вполне мог заменить при необходимости любой, вышедший из строя, станок заморский.

Александр Кузьмич уже не был способен освоить иностранную технику и все сокрушался:

— А ежели сломаются?..

Запасной станок придал производству большую уверенность. «Если Иван сам соорудил новый, то и отремонтировать сумеет», — успокоился Александр Кузьмич.

В печати появилось сообщение об открытии первой в России сельской литографии, к тому же — небывалый случай — литографии крепостного крестьянина.

Теперь редко кто из проезжающих по Шуйскому тракту через Мстёру чиновников и помещиков не заглядывал к предприимчивому крестьянину. А тут явился неожиданно сам корпусный командир Рамзай. Он пришел лично поблагодарить Голышевых, отпечатавших по поручению полкового командира барона Н. П. Кридинера карту-план слободы Мстёры, необходимую для маневров.

Заезжал ревизовавший губернию сенатор А. Х. Капгер. Из Московской оружейной палаты — заведующий архивом Филимонов и художник Рыбинский, чиновник особых поручений министерства внутренних дел князь Мещерский. Последний писал потом в «Русском инвалиде», что вся жизнь мстёрского общества православных, «умственная и нравственная, сосредоточивается в этих двух крестьянах Голышевых».

ГЛАВА 3 Лубочные картинки

Мстера напряженно следила за производством Голышевых. Кое-кто из богатых стал напрашиваться в долю. Иконники же отговаривали людей, зазываемых в литографию:

— Уйдешь из мастерской — назад ходу не будет, а Голышев все равно прогорит.

Первое время Иван рисовал все сам. Это занимало весь день, а хлопот и других было полно. Нужны были ученики. Но мстеряне не посылали ему мальчиков:

— Молод больно учитель и затеял незнаемое.

— Давай назначим ученикам стипендию, — предложил Иван отцу.

— Что еще за стипендию? — удивился Кузьмич.

— Ну, будем давать им немного денег.

— Вон чего удумал! — вскинулся Александр Кузьмич. — Иконники и выученным-то не больно торопятся выплачивать, а ты — неучам вздумал! Из чужого кармана легко деньгами сорить.

Иван все-таки сумел убедить отца, что так будет выгоднее. Сразу пришли учиться сироты и мальчики из бедных мстёрских и холуйских семей. Они пособляли хозяевам в магазине и литографии. Обучались год или два, в зависимости от успехов. Потом им назначалось жалованье, которое возвышалось ежегодно, опять же в зависимости от успехов.

Иван был требователен к ученикам, но обходился без наказаний. Он хорошо помнил свое житье в людях. Учил мальчиков не только рисованию, гравированию на камне, но и счетоводству, письмоводству.

Позднее оперившиеся в литографии рисовальщики уезжали в Москву с его рекомендациями и устраивались там с жалованьем в двести — триста рублей в месяц. Это поднимало авторитет фирмы Голышевых.

Раскраска картинок девочками тоже совершенствовалась. Бывало, когда отец привозил картинки из Москвы, работа цветилыциц прерывалась из-за недоставленных вовремя листов. Теперь работница, в любое время, закончив раскрашивать одну партию картинок, являлась за другой.

— Михалыч, пиши мне новую тыщу, — громхо кричала приказчику Марфа Ферапонтова, прибывшая за товаром вместе с шестью погодками дочерьми, от восьми до четырнадцати лет. Дочери помогали ей перекладывать стопки картинок из склада-сарая на ручную тележку.

Раньше Марфа, жена офени Ферапонта, зарабатывала в

отсутствие мужа мытьем полов. Теперь вся семья ее раскрашивала картинки. Новая работа нравилась: чистая, красивая, спорая и легкая. Дети тоже при деле, по улице не слоняются.

Весело, с озорством, везли они картинки домой, на Никольскую улицу, сгружали их частично в сарай, остальное — прямо в избу и тут же рассаживались за работу. Старшие располагались за столом, разводили краски, давали задание младшим. Те пристраивались на подоконнике, на лавке или прямо на полу.

— Сперва покрываем брюки вот ентому кавалеру желтой краской, — командовала четырнадцатилетняя Анюта. Пожелтевшие картинки раскладывали по избе, где попало, для просушки, покрикивая на ползунка Степку, то и дело пытавшегося завладеть лезущими ему в глаза картинками.

Закрасив штаны кавалера у всей партии картинок, Анюта заменяла желтую краску малиновой и давала малышам новую команду:

— Покрываем рубаху.

И начинали картинки алеть-малиноветь, заполняя этим цветом всю избу и еще больше дразня, из-за своей яркости, ползунка Степку.

— Мам, купи мне платок, — просила двенадцатилетняя Нина.

— Вона! — возмущалась мать. — Буду ради твоего платка выручку трогать. Вот к Троице получу, тогда, может, и куплю, ежели стараться будешь. — Цветилыцицы не любили брать заработок по частям, скапливали к большим праздникам.

В специальных рабочих книжках приказчик записывал не только количество выполненной работы, но и качество, которое тоже учитывали при оплате. По малолетству или из озорства генеральские панталоны бывали окрашены порой в зеленый цвет, а трава — в красный. В продажу пускалось все, только по разной цене. И аляповатые, копеечные картинки находили своего покупателя.

Ферапонтовы зарабатывали в неделю по шесть-семь рублей, деньги в крестьянском быту порядочные, и могли зимовать без помощи своего Ферапонта, приносящего порой столько же из многомесячного коробейничества.

Число цветилыциц приближалось уже к трем сотням. Производство Голышевых не успевало занимать всех. И женщины стали принимать заказы со стороны. Иван Александрович способствовал этому, всюду рекламируя своих работниц.

Петербургское общество любителей древней письменности прислало мстёрским цветильщицам для раскраски издаваемое им «Житие Александра Македонского». Они прекрасно справились с

заказом, получив за каждый экземпляр по двести рублей. Сотрудничество продолжалось. Потом цветилыщицы овладели еще одной, новой для Мстёры, специальностью — уборкой фольговых икон — и расписывали их также.

Голышевы гордились и этим, считая, что именно они, со своими картинками, открыли путь к женской промышленности во Мстёре.

Литография не страдала от этой переквалификации цветилыщиц, рабочих рук было хоть отбавляй. Теперь хозяин мог больше времени уделять творческой, технологической и организационной стороне дела.

Александр Кузьмич уговаривал сына опять заняться изданием картинок из Апокалипсиса. Он извлек из сарая недозволенные в свое время в Москве митрополитом Филаретом камни с картинками из Апокалипсиса и велел ему вновь попытать счастья.

Иван Александрович, на удачу, послал несколько оттиснутых экземпляров в С.-Петербургскую духовную цензуру и получил дозволение.

Александр Кузьмич радовался, как ребенок, показывал картинки всей родне, священнику Руберовскому.

— Давай и другие будем потихоньку посылать в цензуру, — заговорщически убеждал он сына.

Постепенно все нанесенные на камни сюжеты из Апокалипсиса были цензурой разрешены. Печатались они разрозненно, но Александр Кузьмич собирал их в серии и сам продавал, толкуя картинки гораздо шире, чем было в подписях. Так что на ярмарке вокруг ларька Голышевых собиралась послушать эти толкования целая толпа. И некоторое время апокалипсические картинки раскупались бойко, потом торговля ими пошла на спад. Александр Кузьмич горевал:

— Дураки все, Апокалипсис не дурнего ума дело. Стали печатать этих картинок поменьше, но и малое количество их все труднее было распродавать. Александр Кузьмич нервничал, винил сына в том, что он нарисовал картинки большого формата, требовал переделать.

Иван изготовил новые картинки, но покупали эти картинки по-прежнему неохотно, и в основном — раскольники, что очень забавляло Ивана Александровича: любимые сюжеты отца пришлись по вкусу его злейшим врагам. Потом спрос на апокалипсические картинки совсем упал, рисунки были счищены с камней.

Успех торговли очень зависел от сюжетов картинок. Еще в Москве Иван Голышев отлично изучил спрос офеней. Хорошо шли заимствованные заграничные изображения детских головок,

портреты царей, батальные сцены, сказки, а также гадальные и потешные листы.

С покупательским вкусом, чаще и невзыскательным, приходилось считаться, чтобы не разориться. Но забота о просвещении народа не оставляла Ивана Александровича — он начал выпускать картинки со стихами Пушкина и Кольцова, баснями Крылова. Хотелось влиять на русский народ картинками, воспитывать его вкус, знакомить с великими русскими писателями.

ГЛАВА 4 День офеней

В конце августа Голышевы объявили офенский день, — день, когда разом опустошаются сараи и кладовые от годового запаса товаров, когда офени отправляются в свое долгое путешествие по российским весям. День суетный, но и — праздничный, веселый, с застольем. Голышевы варили к этому дню столько же браги, сколько, бывало, к пасхе или масленице, то есть к самым большим годовым праздникам.

Богатые иконники, купцы, собирая офеней в дорогу, сперва выправляли каждому паспорт, оплачивали за них повинности, давали им денег на содержание оставшейся в зиму без кормильца семьи, на путевые издержки, покупали для офеней лошадь с подводой да еще снабжали его парой сапог русского покроя, с длинными голенищами, — для бездорожья. И товар давали в кредит, заводя на каждого офеню счет, потому этих мелких торговцев так и называли — «счетами», а еще — приказчиками.

Бывало, а в последнее время и частенько, офени-счета, набрав задарма товаров у разных хозяев, оседали где-то в дальнем краю и открывали свое дело.

Случилось такое спервоначалу и с Голышевыми. Потому теперь товары в кредит они не давали. Офени было отшатнулись от них к богатым питерским и московским купцам, наезжавшим сюда на ярмарки, да скоро приметили, что при всем ласкательстве к ним столичных торговцев, все ж таки выгоднее покупать более дешевые картинки Голышевых, торгующих ими к тому же круглый год, а не только на ярмарках.

Офени-бедняки принялись объединяться в артели вокруг разбогатевшего офени-хозяина, который сам давал им, купленные у Голышевых, товары в кредит, оплачивал дорогу и повинности, снабжал лошадью и телегой.

Зажиточный офеня Кондрат Потехин отправлял по России до пятидесяти коробейников с разными товарами. Вот и в офенский день, объявленный Голышевыми, он выстроил возле их дома три десятка подвод, еще ранее отправив двадцать. Офени, в зависимости от маршрута, ближнего или дальнего, уходили в два срока: в раннюю дорогу — с конца июля до масленицы, и в позднюю — с августа-сентября до пасхи, а то и до июля. Офеня — и торговец и землепашец — уходил, справив сенокос и убрав хлеба, и вернуться старался ко времени, когда огород-поле надобно пахать.

Двери дома, литографии, книжного склада Голышевых в офенский день были распахнуты с утра. Под окна вынесли

длинные, грубо сколоченные, столы с лавками. Столы покрыли скатертью, выставили на них сладости и огромный фыркающий самовар. Татьяна Ивановна разливала чай и угощала легким завтраком собравшихся офеней перед загрузкой подвод.

Толпа любопытствующих мстерян, особенно ребятишек, грудилась вокруг табора офенских подвод, глазела на завтракающих приказчиков; кто побойчей — заглядывал в открытые сараи, а то и картинку завалящую помимо связок уволакивал.

Вылезая из-за стола, «счета» Кондрата Потехина принялись кидать жребий, кому какую лошадь и подводу брать. Потом так же разыграли нанятых им же подручных работников, начали таскать из литографии связки картинок, стопы книг и складывать их кучками возле подвод.

Кучи были разными, ибо разный кредит доверял Потехин приказчикам. Матвей Корягин, широкоплечий мужик с курчавой цыганской бородой, офенствовал уже лет десять, ходил в сибирский край, имел там свою лавку, дом и офеней-помощников. Ему Кондрат отпускал товары без боязни на любую сумму: надежный мужик. Петр Горячкин тоже был надежным «приказчиком», но, обремененный большой семьей, не всегда вовремя рассчитывался с хозяином. И, чтобы не растить долг, Потехин прижимал офеню, больше чем на сотню рублей товаров ему не отпускал.

Тимофею Ларичеву он давал и того меньше. Молод еще «приказчик», прошлый год и сезона не выдержал, соскучился по жене, явился домой середь года, едва покрыв путевые расходы. В этом году обещал исправиться, но хозяин уже осторожничал с ним.

Вся эта торговля в кредит держалась на риске, и, чтобы не ошерстили хозяина, важно было ему иметь надежный состав офеней, старались даже подбирать родственников, хоть и дальних. Нередко в помощники брали мальчиков, лет с восьми — десяти. Мальчик воз с товарами посторожит, пока офеня с покупателями толкует-торгуется, офенствовать приучается и заработок какой-никакой домой приносит. Чаще всего мальчики «шатались» с отцом, дядей или старшим братом, но случалось, особенно дети из бедных семей, нанимались и к чужим офеням.

Пока подносили товар к телегам, подошел полдень, началось столованье офеней, уже с водкой.

Вынесли и образа, Александр Кузьмич положил под них черный хлеб, в маленькой чашке — соль, а в большой — овес. По обычаю.

После обеда зажгли свечку пред образами, и офени, Потехин

и все Голышевы помолились владимирским угодникам. Потом черный хлеб из-под образов Александр Кузьмич разделил на кусочки, на столько, сколько телег собралось в путь. «Приказчики» посыпали свои ломти хлеба солью, а хозяева — Потехин и Голышевы — овсом, и все отправились к телегам.

Ломоть с хлебом-солью каждый положил на дно телеги, а уж на него принялся укладывать свои тюки и коробки с книгами, посыпая их овсом. С обеденного стола ничего не убиралось, пока возы не будут увязаны.

Все это, по давно сложившимся обычаям, делалось для успеха в торговле и счастливого возвращения.

Стаи воробьев кружились над рассыпанным овсом, над телегами и толпой любопытствующих.

Снабжали Голышевы товаром и офеней-ходебщиков, топающих по дорогам с ручной тележкой, санками или просто с коробом за спиной. Такой офеня-коробейник — сам себе хозяин, хоть и малый капиталист. Некоторые из них и вовсе без кредита неспособны были в дорогу уйти. Таких снабжали ссудами разбогатевшие офени-ростовщики или офени-домоседы. Последние торговали своим именем. Малонадежному, пьющему коробейнику они ссужали за десять — двадцать процентов будущего барыша свое письменное ручательство, в котором точно указывалась сумма, на которую можно отпустить товару офене-бедолаге, согласно шаткой его репутации.

Якимка Хлыстов, маленький, кругленький офеня лет тридцати, уже не раз возвращался домой из похода, спустивши и лошадь и телегу, пропив всю выручку. Но он не мог сидеть дома. Тут его считали за пустого человека. Даже жена, рябая Марфа, в грош не ставила, а пьяненького и бивала.

Офенихи-жены, видевшие мужей в году месяца три-четыре, оставаясь на долгую, холодную, а бывало, и голодную зиму с оравой ребятишек, принимали, случалось, по ночам состоятельных односельчан или постояльцев.

Вот и Якимкина Марфа во время его торгового скитальчества открыто ходила в баню к вдовому заводчику Семену Иванову, а однажды осталась у него насовсем. Не захотела вертаться и тогда, когда Якимка пришел домой.

С тех пор Якимка жил один и все, что зарабатывал офенством, пропивал. И когда приходил новый срок набирать товару, в карманах Якимки и копейки было не сыскать. В кредит товару ему Потехин уже не давал. И Якимка закладывал заготовленные еще при Марфе дрова, заложил давно и лошадь и ходил теперь с коробом, отдавая Голы-шеву под товар грибы, которые собирал летом в заклязь-минских лесах.

На пятерку рублей он брал сто картинок простовика крашеного, по шестьдесят копеек за сотню, двадцать пять штук литографии листовой — на рубль двадцать пять, два с половиной десятка полулистовой литографии на шестьдесят две копейки, сто божественных и светских дешевых тонких книжек на полтора рубля да еще на рубль с небольшим азбук, поминаний, гадальных книжонок и другой бумажной мелочи.

Сумел бы офеня заработать такие малые деньги и дома. А вот прожить на них дома не смог бы. В пути для коробейника всякая изба — постоялый двор и харчевня, а то и кабак. Каждый мужик офене рад. В красный угол сажает, обедом накормит, чарку поднесет и спать уложит. Толпа ребятишек обычно приклеивалась к офене, как только он входил в деревню. Бабам, девкам, детям нет ве-сельше дела, как товар своими руками пощупать, все картинки, книжки переглядеть, ленты к себе приложить. И целый вечер Якимка рта не закрывает, новости рассказывает, его слушают, удивляются его историям, ахают.

«Шатание» с малолетства создавало особый человеческий облик офени. Даже безграмотный коробейник был более развит, смышлен, расторопен и обходителен в сравнении со своими оседлыми земляками. И односельчане относились к офене обычно уважительно, обращались за советами.

Коробейников Голышевы тоже позвали на проводины к праздничному столу. Они, как и «счета», пришли с женами и ребятишками. Сначала торговцев благословил священник, потом взялись за рюмку и стакан, по-офенски — бухарку и бухарник.

Хмель быстро завладел отчаянными ходебщиками, и они принялись болтать на своем, офенском языке.

— Поханка подвандай масыгам гомыры по хлябе, да и клыги привандайте, подвачь масам да почунайся.

Что означало: «Хозяйка, подай нам водки да браги, поднеси да покланяйся». Язык был искусственный, сочинен самими офенями, чтобы прятать свои секреты.

После солидной выпивки и закуски, просидев за столом часа два, гости ушли, осталась одна торговая компания. -

— Куда ты ноне пойдешь? — спрашивал плутоватый коробейник Тихон своего соседа.

— По дорогам да имениям, много деньжат в барских домах лежат, — отшучивался он. Офени скрывали свои маршруты порой даже от близких.

— А я по базарам да монастырям пойду, у попадей да мужиков кошельки трясти, — смеялся бедовый Тихон.

Мастер порассказать, похвастаться, он без прибытка никогда не возвращался. Как-то после засухи не шел у него товар, так он

продал лошадь с телегой, в рубище облачился и прикинулся странником, идущим из святых мест. Завалявшиеся у него плащаницы, камни, набранные у ручья в овраге, продавал как освященные.

— Не обманешь, не продашь, — любил говорить Тихон, потешаясь над объегоренными, — на то и торг: смотри, за что платишь, глаза, чай, есть.

Иной из офеней и лекарем прикидывался, баб и коров пощупает, за приличное вознаграждение совет даст и травку хворому оставит.

Таких пришельцев, случалось, и гоняли прочь из деревни, да только с них как с гуся вода, из одной деревни выгнали, а он в соседней уже одурачивает, пока худая слава сюда не дойдет. А тогда — в лес, темны заросли ему — пологом, тропинка — скатертью. Ни дождь ни мороз ему нипочем, прикорнет, где ночь застанет, пожует, что бог пошлет.

Такие, растерявшие в пути совесть и достоинство, особенно любили односельчанам пустить пыль в глаза. Примкнув на последнем этапе к возвращающимся домой офеням-подводникам, подбивали их на форс. Украшенный лентами и бубенцами обоз офеней въезжал в слободу с песнями, а то и с ружейными выстрелами.

На следующий день жены и дочери офеней выходили на улицу в обновках, а франтоватый коробейник шел кутить в кабак.

Разговор за столом у Голышевых между тем продолжался.

— В Сибирь надо идти, там народ сытый, достаточный, — убеждал приятеля офеня, — глупые бабы да девки за яркую ленту готовы все из избы вынести. Да хорошо бы подгадать, когда мужики в отход уйдут, тута бабы в полной твоей власти.

— Да спроси, где нас нет. Разве только дома, — смеялся тот. — Я встречал одного, он в славянские земли ходит.

— Всяко бывает, я тоже по деревням хожу, — вступал в разговор Николай Панфилов. — Вечерком к богатому мужику заверну. Лошадь распрягу, в избу войду, хозяину да образам поклонюсь, и любой мужик ночевать пустит, да еще за стол посадит. А я почну ему про дальни края рассказывать, так вся деревня к тому мужику в избу сбежится. Рассядутся все вкруг стола и, рот раскрыв, слушают мои небылицы. Чево ни привру, все сойдет, еще привранное-то им интереснее кажется. Поужинаю этак и — на полати. Тепло. Утром картинки хозяину на стену прибью. Он взглянет и улыбнется. И уж редко какой после этого за постой да ужин возьмет, а по делу-то надо бы полтинник отдать. А икону ему на полочку поставлю — так он и овса лошадям даст, и хлеба мне на дорогу.

Вконец захмелевший Егорка Тихонов целовал свою красавицу-жену Катерину и пятилетнего сына.

Помогать родителям в офенский день пришла старшая дочь Голышевых Анна, проживающая во Мстёре, приехала из Вязников Анастасия, вышедшая замуж за купецкого сына Дикушина. Авдотья Ивановна, хоть и поднялась с постели, все же здоровьем была слаба и с гостями совсем уходилась.

После обеда офени с хозяевами вместе опять помолились, и, благословляя друг друга, все путники выпили из поставленной под образа чашки по глотку воды, а больше вылили на себя и на пол и пошли к возам.

Потехин, дождавшись, когда вся торговая экспедиция выедет далеко за околицу, взял из-под образов хлеб-соль и поехал догонять свою офенскую артель. Он провожал ее До развилки на муромском тракте, у трех сосен: там офени расходились всяк по своему пути, а порой и сам Потехин отправлялся с одним из возов в дальнюю дорогу.

ГЛАВА 5 Член губернского статистического комитета

1859 году владимирский губернатор Егор Сергеевич Тиличеев отправился по губернии с ревизией, захватив с собой редактора неофициальной части «Владимирских губернских ведомостей», секретаря статистического комитета, помощника правителя канцелярии Константина Никитича Тихонравова. Приехав во Мстёру, губернатор остановился у предводителя уездного вяз-никовского дворянства, помещика Ивана Александровича Протасьева, в Татарове.

Зашел у них разговор о Голышевых, вывеску на литографии которых начальник губернии только что видел, проезжая по Мстёре. Протасьев уважительно отозвался о молодом Голышеве:

— Самородок, талантлив, умен, работать умеет. Все за книгами ко мне бегает…

«Любопытно было бы посмотреть заведение», — подумал Тиличеев, но навестить крепостного крестьянина посчитал зазорным для себя и послал знакомиться с литографией Тихонравова.

Голышевы видели, как промчалась мимо их дома по тракту губернаторская пролетка, и захотелось Александру Кузьмичу заманить губернатора в литографию, а покорить его он решил своим Апокалипсисом.

— Сбегай к Протасьеву, пригласи губернатора, — велел он сыну. Но Иван засопротивлялся. В его памяти еще жили слова Тиличеева: «Дрянь, дрянь, дрянь!»

Вдруг Иван увидал, как, приплюснув к стеклу нос, в подвальное окно литографии заглядывает незнакомый человек. Иван уже привык к любопытствующим посетителям. Всяк, останавливающийся на мстёрском постоялом дворе Паниловых, фасонисто названном гостиницей «Париж», обязательно заглядывал к Голышевым, ибо Панилов, сам того не зная, делал им рекламу, оклеив стены нумеров голышевскими картинками. Путешественник непременно спрашивал: «Откуда такие, чай, из Москвы привозите?» А хозяин, поднимая тем самым и собственный авторитет, сообщал:

— Свой у нас издатель. Да какой! Мальчишка еще, токмо год, как в совершеннолетие вошел, а уж — хозяин. Хозяином-то, знамо, числится отец: отколь у малого, хоть и грамотного, деньги? Отец-от прижимист, ни за что свое не отдаст. Так хозяин-от — отец вроде, а в самом деле — сын, мальчишка, Ванька

Голышев, большой мастер по части рисования и выдумок. Иноземные станки из Москвы привез, иностранные книжки читает. Сам на камне рисует, сам отпечатывает, девки наши, мстёрски, эти картинки раскрашивают.

Всех поражала эта сельская печатня, потому гостей было полно. Ивану льстило такое внимание, и в этот раз он заспешил навстречу заглядывающему в окно незнакомцу.

— Прошу прощения за беспокойство, — говорил, бросившись ему навстречу, широколицый, с высоким лбом, посетитель. — Я — помощник губернского правителя канцелярии, сопровождаю губернатора. Он остановился у помещика Протасьева, а я, прослышав о вас, непременно захотел познакомиться. Тихонравов Константин Никитич.

— Дорогим гостям завсегда рады, прошу вас, проходите, — вежливо раскланялся Иван, зовя гостя в дом.

Сначала Тихонравов оглядел книжный склад, потом литографию и долго рассматривал оттиски, развешанные по стенам печатни и стопами сложенные на полу.

Издавать картинки начал несовершеннолетний юноша, и это в значительной мере определило тематику: «Хищные волки, напавшие на проезжающих» с незатейливыми стихами:

Лихой ямщик на тройке мчался В степи пространной, снеговой, И колокольчик заливался Веселой песнью под дугой…

Много было былин и сказок о Бове Королевиче, Илье Муромце, Емеле-дураке — красном колпаке, об Иване-царевиче и сером волке, потом шли всякие диковинные животные, которых Иван начал печатать еще в литографии Ефимова.

От своих бывших московских хозяев Голышев позаимствовал многие сюжеты. У Лаврентьевой — картинку «Александр Великий — царь Македонский», у Абрамова —

«А ну-ка, Мишенька Иваныч», у Логинова — «Взятие Казани царем Иоанном Васильевичем Грозным в 1552 году». Царь на коне, в сопровождении большой свиты въезжал в покоренный город, где его встречали коленопреклоненные татары. Эта картинка легко раскупалась. «Въезд императора Александра II в Москву на коронацию», который Иван наблюдал лично, тоже издавался теперь в литографии Голышевых. Много они выпускали портретов царей, эти рисунки народ тоже любил.

А картинка «Панюшка и Сидорка осматривают Москву», вызвавшая у Тихонравова улыбку, напоминала Ивану о том времени, когда он, одиннадцатилетний крестьянский мальчишка, бродил по Кремлю, закидывая голову, чтобы получше рассмотреть Ивана Великого.

В центре картинки и стояла кремлевская колокольня Ивана

Великого. Два подростка, в лаптях, полосатых штанах и рубахах до колен, вели потешный разговор об увиденных в Москве чудесах. Возле театра один другому говорил: «Гляди, Сидорка. Ето киятр, тут всяку комедь представляют, и гром загремит, и речка потечет, и горы, и леса появятся». А возле царь-пушки: «Гляди, Сидорка, эка пасть ненасытная, я чаю, как плюнет, так и деревни нашей мало».

Тихонравов посмеялся, сказал:

— Шутки, былины, сказки — это хорошо. Но побольше бы в народ нести стихов великих поэтов, таких, как Пушкин.

Потом Константин Никитич попросил Ивана сходить с ним в Богоявленский собор и был удивлен богатым внутренним убранством церкви, говорил о том, что они собираются печатать в «Губернских ведомостях» описания древних храмов и монастырей владимирского края.

Вернулись опять в литографию, потому что Иван захотел показать гостю прежние свои рисунки, в частности отлитографированный «Вид города Вязники» и вязников-ский Благовещенский монастырь.

— Вот это замечательно, — восхищался Тихонравов. — А как бы хорошо было, если б вы для нашего статистического комитета сняли вид суздальского Спасо-Евфимьевского монастыря. Мы собираемся «Труды» комитета выпускать, так вот для них. Слышали, в Суздале найдена могила князя Пожарского?

Иван слышал и даже читал об этой истории.

Князь Дмитрий Михайлович Пожарский, создавший вместе с нижегородцем Мининым в 1612 году народное ополчение, умер в 1642 году. И так случилось, что к девятнадцатому веку могила этого народного героя затерялась. По одной версии, он покоился в своем Суздальском поместье, по другой — в селе Пурех (Юрино) Балахнинского уезда, при церкви, оставшейся после устроенного им монастыря. А в Суздале шла молва, что тело князя Пожарского погребено в стенах Спасо-Евфимьевского монастыря. Говорили, что ранее была тут усыпальница, в которой похоронены многие Пожарские, суздальские уроженцы. Они делали в монастырь немалые вклады, а монахи берегли их могилы. Но потом род Пожарских кончился.

Когда и монастырское крепостное право было упразднено, вотчины у монастыря отобрали, монастырский архимандрит, в досаде, разобрал палатку над усыпальницей Пожарских, а камни употребил на выстилку при церкви рундуков.

В 1850 году путешествовали по России великие князья Николай и Михаил Николаевичи и в августе приехали в древний Суздаль. Осматривая знаменитую Спасо-Евфимь-евскую обитель,

услышали они предание о том, что здесь якобы погребен князь Дмитрий Пожарский. Вернувшись в столицу, князья пожертвовали значительную сумму на сооружение приличного памятника спасителю Отечества. А министр внутренних дел, по их поручению, откомандировал в Суздаль знающего историю и археологию чиновника для производства местных исследований — графа Алексея Сергеевича Уварова. Говорили, что Уваров сам напросился в эту экспедицию. Он тогда уже серьезно занимался археологией, писал книги о своих находках. Во Владимирской же губернии было у него одно из имений.

Искал Уваров могилу Пожарского на совершенно ровной поверхности, заросшей бурьяном, руководствуясь древними рукописями. И докопался до фундамента усыпальницы Пожарских. Найдено было двадцать три гроба, среди них гроб Дмитрия Михайловича. Над могилой Пожарского поставили пока столбик с надписью.

И когда Тихонравов предложил Ивану Голышеву снять вид Спасо-Евфимьевского монастыря с могилой Пожарского, тот с радостью согласился и вскоре отправился в Суздаль.

Суздаль поразил Ивана своей красотой и древностью. Очарованный, слушал он обедню в Рождественском соборе и вечерню в соборе Спасо-Евфимьевского монастыря, с Удивительной алтарной стенописью.

У него глаза разбежались, хотелось рисовать и древние большие соборы, и ансамбль Лазаря и Антипия, и совсем маленькую Козьмодемьянскую церквушку. Даже в самом Спасо-Евфимьевском монастыре можно было сделать особые рисунки — и замечательно украшенной проездной башни, и небольшой надвратной церковки. Но для этого надо было поселиться в Суздале надолго, а он выбрался всего на три дня.

Набросав только заказанный вид Спасо-Евфимьевско-го монастыря с могилой Пожарского, Иван Голышев на обратном пути, проезжая через Владимир, решил воспользоваться приглашением Тихонравова, тот велел ему приходить к себе домой запросто.

Квартира Тихонравова ошеломила Ивана не менее Суздаля". Тесная, плотно заставленная шкафами с божественными и мирскими книгами и старинными рукописями, она напоминала библиотеку. Иван никогда еще не видел столько книг в частном доме, хотя у Сенькова и Протасье-ва было их немало.

Тихонравов приветил молодого художника, сделал надписи к его рисункам, подарил Ивану свое сочинение «Владимирский сборник».

— Постарайтесь, — уговаривал он Ивана, — зарисовать и

другие местности и древние предметы.

Некоторое время спустя Иван Голышев получил письмо, подписанное губернатором и председателем губернского статистического комитета. В нем начальник губернии спрашивал, не желает ли Голышев принять звание почетного члена комитета, и если желает, то какую в комитет может пожертвовать сумму. Это озадачило Ивана. Оказывается, почетные звания зависят от вложенного капитала. Почетным членом статистического комитета стать хотелось, но средства были ограниченны. Потому Иван, изъявив благодарность губернатору, отвечал, что всякий рисовальный труд готов исполнить с усердием, о деньгах же не обмолвился. Отец и так ворчал, что Иван «безмездно» печатает картинки для статистического комитета.

Губернские и областные статистические комитеты кроме своей непосредственной деятельности занимались описанием губернии, ее городов, печатали этнографические статьи и статистические отчеты в «Губернских ведомостях», издавали «Памятные книжки» и даже монографии. Все это делалось под председательством губернаторов и членов комитета — непременных, действительных, почетных — и секретаря. Средства комитета складывались из пожертвований его членов. И оплачивалась, очень скудно, только должность секретаря комитета. Им во Владимире в течение почти тридцати лет был Константин Никитич Тихонравов. Увлеченный археолог, коллекционер старинных вещей, человек, влюбленный в свой край, он, являясь одновременно и редактором «Владимирских губернских ведомостей», сумел за короткое время сплотить вокруг газеты и комитета кружок местных краеведов, почти в каждом городе и большом селе завел нештатных корреспондентов.

До почетного члена статистического комитета, не имея достаточного капитала, Иван Голышев, стало быть, не дорос, но рисовальный его вклад в общественное дело способствовал тому, что 8 июня 1861 года он тайным голосованием единогласно был принят в действительные члены комитета, и это был первый в губернии случай избрания в статистический комитет крестьянина.

Вел это заседание сам губернатор Тиличеев. Он отметил заслуги Голышева перед комитетом, вручил ему диплом действительного члена и объявил благодарность от министра внутренних дел «за труды по званию члена-корреспондента статистического комитета».

Рядом с Иваном сидели вице-губернатор и владимирский голова, губернский предводитель дворянства и директор училищ

всей губернии. И все они слушали речь о заслугах его, Ивана Голышева, малограмотного мстёрского парня, крепостного крестьянина. Душа Ивана ликовала.

В комитете Иван познакомился со своим земляком Владимиром Александровичем Борисовым из Шуи, их же Вязниковского уезда. Борисов захотел посмотреть голышевскую литографию, и теперь они вместе ехали во Мстёру.

— Не робей, молодой человек, — говорил Борисов, — и я тоже учился только у причетчика в приходской школе. Дедова библиотека — мое образование. Предки были не Дураки. Ты знаешь своих предков?

Голышев пожал плечами.

— Обязательно узнай. Мои еще при Петре I торговали в Сибири и на Украине/Потом возили хлеб из Моршанска в Москву. По отцу-то я из Нижнего Ландеха, слыхал, поди, про такое село в Гороховецком уезде, тоже вотчина графа Панина.

— Слыхивал.

— Вот-вот, Нижний Ландех. Им владел потом князь Черкасский, так мои откупились. Сперва офенями промышляли, а потом и в купцы выбились. Мать — тоже купецкая дочь, только уж шуйских купцов, Барановых. Да отец рано помер, нас у матери четверо осталось. Она и вернулась на родину, в Шую. Купила землю в деревне и завела бумажно-ткацкую фабрику, и я ей помогал, торговал бумажно-ситцевыми и холщовыми товарами. Только прогорели мы, и я уж много всего после испытал. Был приказчиком у одного купца, потом сам завел кирпичный заводишко, да в убыток он пошел. Теперь вот каменный заводишко у меня. Не густо, успевай только вертеться, но хоть семья по миру не скитается. Знаешь, как я к книжкам пристрастился? Нашел дома старинную краткую географию. Прочитал — в восторге от нее. Читал?

— Нет.

— Прочитай. Потом нашел в дедовой библиотеке шесть частей «Собрания путешествий» Циммермана — еще интереснее. Брат привез мне из Москвы «Пространную всеобщую географию» Княжева — и пошло-поехало. Читал?

— Эту читал.

— Вот с этих книг я и начал глотать книжки. «Московские ведомости» выписываешь? Непременно выпиши. Там много всего по истории Отечества печатается. Им в подражание и я начал писать. Потом у нас тут кружок купеческий образовался, из интересующихся историей. А практическими наставлениями я обязан историку и археологу Михаилу Яковлевичу Диеву-Нерехтскому, удивительный человек…

Новый знакомый нравился Голышеву. Прямодушен, начитан и примерно скромен. Иван встречал его статьи во «Владимирских губернских ведомостях», многие из них перепечатывали потом московские и петербурские газеты и журналы. Тихонравов называл его «единственным сотрудником».

Но более всего Ивана Голышева поразило, что этот шуйский мещанин был членом нескольких ученых обществ, имел всемилостивейшие награды и… за свою работу в губернском статистическом комитете получил звание личного почетного гражданина. «Вот бы и мне так!» — думалось Голышеву. Это звание освобождало от крепостной зависимости.

Литография Борисову понравилась. Он уговорил Ивана поехать к нему в Шую, посмотреть его коллекцию древних актов.

У Борисова Голышев уткнулся в книги, их было великое множество.

— Дед еще собирать начал, — говорил, улыбаясь и радуясь удивлению Ивана, Борисов. — А вот мой главный труд, — он взял с полки свою книжку «Описание города Шуи и его окрестностей, с приложением старинных актов, с двумя планами, видом Шуи и картою уезда». — Книжка в Москве издана. Эх, будь я сколько-нибудь правильно поучен, то и это дело шло бы у меня легче. Этот труд я преподнес государю-наследнику и получил за него вот этот перстень.

Перстень был бриллиантовый.

— Пиши такую же вот книгу — о Мстёре.

— А что? — засветились глаза у Ивана.

— Твоя Мстёра полюбопытней моей Шуи будет. Один собор Богоявления чего стоит. Вот смотри, тут поболе двухсот древних актов, XVI–XVII века. Это уже, брат, история. Не каждый их теперь и прочитать может.

— У меня тоже есть древний акт, я наизусть знаю: «Квитанция в отпуске девки Василисы Киреевой замуж в слободу Мстёру. По Указу ея императорского величества самодержицы всероссийской…

Дворцового города Ераполча из приказной избы володимирского уезда дворцовой Ераполченской волости, боровской пятины деревни Круглиц девка Василиса Киреева дочь отпущена против челобитной отца ея богоданного Григория Данилова замуж Суздальскаго уезду вотчины тайного действительного советника князя Ивана Федоровича Ромодановского Богоявленской слободы за крестьянина его Андрея Федорова, и вывод за тое девку купочные три рубля в Ерополч в приказную избу приняты и в приход записаны. Стряпчей Семен Носов. Генваря девятого дня семьдесят второго

года».

— Молодец! Этой бумаге теперь цены нет. В музеи такие листы собирают.

— У меня и еще есть, челобитные разные. — Где взял?

— У старинщиков.

— Правильно, собирай все акты про свою Мстёру. У меня вишь сколько старинных свитков. Тут и рукописные книги, и писцовые, и старопечатные. Писцовых книг у меня что-то около пятидесяти на разные поместья. Опиши все мстёрские обычаи, народные предания. Наблюдай и описывай все подряд: и сени с чуланом, и праздники, и присказки, поговорки разные…

Знакомство с Тихонравовым и Борисовым дало толчок качественно новому периоду жизни Ивана Голышева.

Этому способствовало и время. Шел 1861 год — год отмены крепостного права.

Часть IV После реформы 1861–1868

Народ с большой надеждой ждал реформу. Крестьяне свято верили в батюшку-царя, в- то, что свобода скоро придет, и обязательно с землей.

Преодолев множество споров, разногласий, правительственная комиссия наконец выработала единую редакцию реформы. Но в это время, в начале 1860 года, умер председатель комиссии Ростовцев, и на его место был назначен министр юстиции, граф Виктор Никитич Панин. Он был ярым противником освобождения крестьян. Герцен в «Колоколе» поместил сообщение о назначении графа Панина в черную рамку. Удивлены были этим назначением даже консерваторы. Проект, разработанный комиссиями, фактически был уже готов, и изменить его графу было трудновато, но он тотчас принялся за дело. Сначала Панин стал утверждать, что выражение о передаче земли крестьянам в бессрочное пользование неграмотно с юридической точки зрения. Граф пускался даже на фальсификацию, чтобы отменить этот пункт, но его уличили и только слово «бессрочное», по его настоянию, заменили на «постоянное», что ничего по существу не меняло.

Однако Панин внес-таки свою лепту, добился повышения нормы оброка в ряде безземельных и малоземельных губерний, к которым относились и его имения, включая мстёрское.

Восемнадцать томов написали создатели проекта крестьянской реформы, да еще три тома предложений поступило от депутатов губернских комитетов. Но на окончательном этапе реформа опять забуксовала, и в немалой степени из-за Виктора Никитича Панина; чтобы разубедить графа, была даже образована «особая частная согласительная комиссия». И все-таки Панин добился еще того, что в ряде уездов на четверть и на полдесятины уменьшили обязательные земельные наделы крестьян.

ГЛАВА 1 Царская «свобода»

Закон об освобождении крестьян император подписал 19 февраля 1861 года, а обнародовали его только 5 марта.

До Мстёры он дошел лишь к 11 марта и был публично прочитан бурмистром.

Сначала в церкви Богоявления отслужили литургию в честь Манифеста и помолились за царя-освободителя и данную им свободу.

Когда Манифест прочитали, мало кто что-нибудь понял в нем. Поймали ухом: «Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им земли…» Недоумевали: в чем же тогда реформа, если вся земля остается у помещика?

Пока думали об этом, часть Манифеста оказалась уже прочитанной. В слух опять ворвалось: «…крестьянин обязан исполнять в пользу помещика… повинности».

Из церкви народ выходил в полном недоумении. Все надеялись, что отмена крепостного права враз и навсегда освободит их от власти помещика. Теперь же, судя по Манифесту, крепостное право отменено, но заканчивался Манифест призывом «пребывать в прежнем повиновении помещику» и беспрекословно исполнять прежние обязанности. Кто-то уже усомнился, царь-де, мол, не мог дать такую свободу, что это — происки помещиков: им не хочется расставаться со своим добром: что помещики скрывают настоящий царский манифест.

Александр Кузьмич Голышев взял у бурмистра Манифест и второй раз принялся читать. Но опять получалось, что по-прежнему надо платить оброк помещику, только теперь за «оседлость», это значило — за свой дом, участок, за то, чтобы тебя не выгнали с места, на котором живешь ты и столетиями жили твои предки.

С землей же вообще все было неясно, и ясность мог внести только помещик.

— С Паниным будем составлять уставную грамоту, — разъяснял Александр Кузьмич односельчанам, — как мы решим с ним про землю, так и будет.

Панин же вскоре написал бурмистру, что приедет во Мстёру только в августе, а пока пусть все идет, как было.

И жизнь во Мстёре потекла без изменений, если не считать сельского управления: теперь избиралось волостное правление во главе со старшиной. И первым старшиной мстеряне избрали опять Александра Кузьмича Голышева.

На пасху к Голышевым обещал выбраться со всем семейством

Константин Никитич Тихонравов: уж больно Иван расхваливал ему мстёрские пасхальные гулянья.

Голышевы, как давно уже было заведено, готовили к пасхе фейерверк. Раньше это делал Александр Кузьмич, теперь — Иван.

Он насмотрелся в Москве на «огненные утехи», привез с собой разные печатные и переписанные у знатоков руководства к ним и, как мальчишка, по словам матери, часами сидел в сарае, толча разные химические препараты. «Чем Мстёра хуже Москвы, где всякое гулянье сопровождается этими огненными утехами?! Специалистов нет? Есть специалисты, дело нехитрое, справимся».

Александр Кузьмич научил сына тому, чем сам владел. Однако неуемный Иван постоянно что-то совершенствовал. И вот за неделю до Христова воскресенья дом Голышевых вздрогнул от взрыва, зазвенели стекла, потом все стихло. Татьяна Ивановна пала на колени перед образами, решив, что пришел конец света. Александр Кузьмич бросился вон из избы на улицу. К их дому бежали люди. Значит, произошло что-то у них. Александр Кузьмич выскочил во двор. Ворота сарая были сорваны, в проеме стоял Иван. Лицо его было залито кровью.

Александр Кузьмич потащил сына в дом. Омыл лицо водой. Глаза оказались целы, только нижняя губа была рассечена поперек, и ее неудержимо заливало кровью. Александр Кузьмич послал дочь за доктором, а сам, облегченно вздохнув, что сын остался жив, ругал его почем зря:

— Коли не знаешь, как делать, нечего и соваться. Дом вот чуть не спалил, сам-от на тот свет мог отправиться…

Татьяна Ивановна причитала над сыном.

Доктор губу зашил, но шрам остался на всю жизнь, пришлось отращивать бороду и усы. И еще неделю после взрыва Иван Александрович отхаркивал из легких накопившуюся в них черноту.

Тихонравовы охали и ахали, когда Татьяна Ивановна в подробностях рассказывала им о том, как сын едва не погиб.

В страстную субботу не спали за полночь. Как всегда, торжественно и празднично прошел крестный ход. Домой вернулись Голышевы с гостями, уже когда стало светать. Только забылись сном, а уж Татьяна Ивановна принялась всех поднимать:

— Кто проспит заутреню в светлое Христово воскресенье, того в понедельник водой почнут обливать.

После заутрени пошли на кладбище. У Голышевых, кроме отцов и дедов, лежало на кладбище уже шестеро детей. Оставили на могилках яички, помолились., Потом разговелись «пасхой», горячими ватрушками и отправились гулять к реке.

Мстёра к пасхе разлилась, соединив свои воды с

клязьминскими. Бесконечный, до горизонта, водный простор с островками деревьев и кустарников, радовал глаз. Десятки ботников и празднично украшенных лодок сновали туда-сюда вдоль мстёрской набережной. Нарядные девушки разместились в больших лодках по десять — двадцать человек. Гребцы, из молодых людей, дружно ударяли веслами по воде, брызги летели на разряженных, в кружевах, девушек. Те взвизгивали, отклонялись в сторону, лодка кренилась — вот-вот перевернется, гвалт усиливался…

Вдруг кто-то, из удали, выстрелил из пистолета. Шум на реке возрос. И, видно, чтобы довести восторг праздника до апогея, с берега выстрелила пушка.

Вдоль реки вилась по берегу тропинка. Множество празднично одетых мстерян и гостей прогуливались по ней, любуясь разливом. Тут же дети катали по тропе крашеные пасхальные яички. Чуть повыше тропинки народ толпился у фруктовых лавочек с разными лакомствами.

К вечеру девушки расселись на лавочках и крылечках под окнами своих домов. Их во Мстёре воспитывали строго. Они не могли вольно гулять по улицам, ходить с песнями и водить хороводы. Даже в церковь родители отпускали их только ко всенощной и к заутрене, а к обедне ходить не дозволяли. Вот и теперь девушки лишь поглядывали на прогуливающихся по улице парней. Все ждали голышевского фейерверка, а Иван дожидался темноты.

И вот в сумерках снова ударила пушка, а следом пошли взрываться и хлопать бураки и хлопушки, засверкали бенгальские огни, забили освещенные огнями радужные фонтанчики, и взлетели ракеты, рассыпаясь по небу мириадами разноцветных огоньков. Многоголосое «Ура!» валами покатилось по Мстёре. «Уже ради одних этих восторженных криков стоило потрудиться», — думал радостный Иван Александрович. Супруги Тихонравовы были довольны, а дочери их, Лизонька и Мария, прыгали от радости.

— Ну и мастаки же эти Голышевы, — говорили мстеряне, — отец — мастер был до огненных утех, но сын и его перещеголял.

А кое-кто из раскольников опять ворчал:

— Вот еретики, божьи отступники, колдуны проклятые. Тихонравовы, прощаясь, звали к себе в гости. Молодые

Голышевы частенько наведывались во Владимир, и главным образом — чтобы побывать в театре. Владимирский театр был не чета московским, но Ивану Александровичу и он нравился. Авдотья Ивановна полюбила театр не меньше мужа.

Граф Панин приехал во Мстёру не в августе, как обещал, а в

сентябре. Приехал впервые, с сыном. Когда его роскошная, пятистекольная карета, запряженная шестеркой лошадей, пропылила к волостному правлению, народ не пришлось собирать. Вся Мстёра через десять минут была на площади перед правлением.

Едва помещик показался на крыльце, народ пал ниц. Служащие, в том числе и Иван Голышев, подошли к ручке барина. Старшина Александр Кузьмич Голышев готовился к этой встрече давно. Надо было все вопросы будущей уставной грамоты продумать заранее. Он тоже многое не понимал в этом запутанном, двусмысленном Манифесте. В пятидесяти верстах от Мстёры, в Сарыеве, было имение князя Долгорукого. Туда прибыл составлять для князя уставную грамоту петербургский чиновник Николай Яковлевич Дубенский. Всего год назад уехал он из Владимира, где служил чиновником особых поручений при владимирском губернаторе. Дубенский не раз бывал у Голышевых, подружился с Иваном Александровичем и теперь, прибыв на Владимирщину, известил Голышева-младшего, пригласив к себе в Сарыево. Александр Кузьмич обрадовался.

— Съезди, — наставлял он сына, — и все разузнай у Дубенского.

Дубенский разъяснил Ивану Александровичу, на каких условиях может быть составлена с Паниным грамота, и даже набросал два варианта ее.

Дубенский расспрашивал Ивана Александровича, как идет торговля, как дела в литографии, каковы его дальнейшие планы.

— Воскресную рисовальную школу собираюсь открыть для крестьянских ребятишек и библиотеку при ней, — рассказывал Голышев.

— Замечательное дело, — поддержал его Дубенский. — Давай-ка, Иван, вступай в наш Петербургский комитет грамотности. Мы изучаем издание книг для народа. Ты — издатель и книготорговец, будешь сообщать нам сведения по книжной торговле своего края. Потом поручения и еще найдутся. И приезжай-ка ты, дружочек, в Петербург, — говорил Дубенский, прощаясь, — и прямо ко мне.

Так старшина Голышев имел к приезду графа Панина два проекта уставной грамоты. Уговорил Александр Кузьмич односельчан не поскупиться на угощение графа, приготовил отличные вина, ананасы и живую стерлядь, чтобы как следует умаслить помещика. Граф был растроган такой встречей. Мстёра ему вообще очень понравилась. Осенним золотом были подернуты рощи и сады. Туманная даль щемила сердце грустью. Роскошным для сельской местности оказался и Богоявленский

храм. Хоть и видел его граф раньше на картинке Ивана Голышева, в действительности собор был еще лучше, а внутреннее, в золоте икон, убранство особенно пленило графа. Понравилось и угощенье, и верноподданнический прием старшины. «Не такой уж он зверь, как представляют его в письмах-жалобах раскольники», — думал граф. И в благодарность за прием и верную службу Панин подарил Александру Кузьмичу икону Владимирской Богоматери в серебряной, вызолоченной ризе и свою фотографическую карточку. Помощника старшины одарил серебряным бокальчиком. Три дня пробыл Панин во Мстёре, посетил священнослужителей, пришел в гости к Голышевым. К этому моменту в горнице голышевского дома посадили девочек-цветилыциц и мальчиков-рисовальщиков. И в одеж-ды их одели лучшие, и рисунки под карандаш и кисть положили поудачнее. Граф попросил Ивана показать свои новые рисунки. Иван только что закончил рисовать на камне вид Суздальского монастыря. Панин похвалил молодого человека и попросил выслать ему потом литографический снимок с этого рисунка.

Осмотрел владелец Мстёры и свои угодья, а потом велел старшине собрать сход. Люди давно его ждали, явились вмиг. Помещик объявил, что желает оставить все существующее в их пользовании на прежнем платеже оброка, то есть так же, как было до реформы. Мстеряне были поражены. В чем же реформа?! Должна же она что-нибудь изменить в их жизни?! Принялись объяснять графу, что земли у них мало, потому надо бы и оброк скостить. Панин разгневался и с сердцем отвечал, что он вообще не нуждается в их согласии и может, как это позволяет Манифест, вообще отобрать у них третью часть угодий себе в собственность, притом удобных и доходных угодий. Процедив это сквозь зубы, Панин не захотел больше разговаривать с крестьянами, во всеуслышанье приказал своим слугам готовить к другому дню лошадей для отъезда и уехал ночевать к Протасьеву.

Александр Кузьмич Голышев принялся песочить своих земляков и особенно обрушился на зачинщиков несогласия с помещиком, раскольников:

— Дурачье стоеросовое! Поймите, не в графе дело, а в Манифесте. Панин нисколько не нарушил царского предписания. — Об участии Панина в редактировании проекта реформы его крестьяне не знали. — Он все свои земли нам оставляет, а имел право отнять, скажем, лучшие сенокосы… — Голышев негодовал. Он так старался умаслить Панина, столько потратил на угощенье, а эти скряги-раскольники все испортили.

Раскольники же в своей многолетней вражде к Голы-шеву не верили в его заботу об общем благе и считали старшину

сообщником графа. В уставных грамотах они так же мало смыслили, как большинство мстерян. Долго шумело общество. В конце концов, так и не согласившись со старшиной, раскольники покинули сход, а оставшихся крестьян Голышеву удалось уговорить на предлагаемые графом условия оброка. Но граф так осердился, что не принял пришедшего к нему вечером старшину. Александр Кузьмич обиделся, но с графом ссориться не стал, да и дело надо было решать. Потому проглотил старик обиду и утречком пораньше привел крестьян к протасьевской усадьбе.

Когда Панин, собираясь уже уезжать, вышел из дому садиться в карету, крестьяне пали перед ним ниц.

— Что?! Что это значит?! — грозно спросил помещик.

Крестьяне объяснили, что просят таким образом прощения за вчерашнее.

— По недомыслию это, — уверял графа Голышев-старший.

— Вы расстроили меня вчера, — презрительно сморщился Панин, — я многое хотел вам сказать, а вы огорчили меня своей глупостью, — голос его дрогнул от обиды, — но что, говорят, спрашивать с дурака. Я прощаю вас, а для окончательного составления грамоты пришлю сюда управляющего, — и, захлопнув дверцу, граф приказал кучеру трогать.

Карета бесшумно покатила по мягкому проселку, поднимая за собой шлейф пыли. Крестьяне встали, отряхнули колени и, переговариваясь, стали расходиться. Они так и не поняли, для чего же приезжал граф и для чего была объявлена реформа, если все остается по-старому.

Панин прислал управляющего только в октябре. Тот вручил старшине Голышеву предписание. Граф оценил свое поместье в 167 200 рублей, которые мстеряне должны ему выплатить в течение двадцати пяти лет. Граф написал отдельно и самому Голышеву. Недовольные Александром Кузьмичом раскольники, снова пытаясь его сместить, послали Панину очередную жалобу. Но, помня теплый прием, устроенный ему мстёрским старшиной, помещик только пожурил его: «…нельзя, однако же, ожидать успеха, если будут допущены распри по предметам, относящимся до церковных обрядов и мнений о духовных предметах».

Но и после приезда управляющего проект уставной грамоты во Мстёре долго не приводился в исполнение. Народ волновался. И Александр Кузьмич велел сыну собираться в С.-Петербург.

ГЛАВА 2 Приезд Некрасова

Авдотья Ивановна Голышева увидала в окно, как из подъехавшей к их дому коляски вышел господин невысокого роста, в дорожном картузе. Он снял картуз, стряхнул с него пыль, вытер платком вспотевший высокий, с залысинами, лоб, огляделся и направился к их крыльцу. Заметив в окне Авдотью Ивановну, незнакомец крикнул:

— Могу я видеть господина Голышева?

Авдотья Ивановна не стала уточнять, которого из Голышевых господину нужно. К тому же тестю нездоровилось, и он прилег в боковушке.

— Да-да, проходите, — поспешно сказала она и позвала из литографии Ивана Александровича. Кто пожаловал, Иван Александрович тоже не знал. Правда, в первый момент лицо показалось знакомым, но, где его видел, Голышев вспомнить не мог. Он поздоровался с гостем и пригласил в избу. Незнакомец еще раз, перед крыльцом, отряхнул платье и картуз, потом твердым шагом прошел в переднюю. Он был болезненно бледен, казался несколько смущенным, но держался с достоинством. Когда вошли в дом, отрекомендовался:

— Некрасов, Николай Алексеевич.

«Сам Некрасов! — ахнул про себя Голышев. — Вот оно откуда — знакомое лицо, недавно видел в журнале».

Авдотья Ивановна уже расставляла на столе чашки, хлопотала о чае. Вскоре девицы Голышевы внесли фыркающий самовар, пряники и варенье.

Некрасов сказал, что едет из своего муромского имения.

— Леса там — отменные. Езжу охотиться. Хотя лето чаще всего провожу под Костромой. Костромские леса не хуже муромских, и сколько там зайцев!.. — Заметив, что хозяин к охоте равнодушен, Некрасов продолжал: — По Шуйскому тракту еду не впервые, на вашей ярмарке бывал, а в Вязниках так и живал:

Как молоком облитые, Стоят сады вишневые, Тихохонько шумят…

— Это о Вязниках?

— Может быть, может быть…

— Вязниковским садам лет триста, поди. В древности там, на берегу Клязьмы, Мокеева пустынь была, и монахи рассадили по крутым склонам сады. От них уж и миряне переняли, — рассказывал Иван.

— Слыхивал: родительская, васильская, кулачиха, кислиха…

— Да, это все вязниковские сорта. «Васильской» теперь и не

сыщешь. Белая была, вроде винограда. Родила немного, а на вкус — весьма приятная. Вымерзла, говорят старики, в зиму тридцать пятого — тридцать шестого. «Кулачиха» и «кислиха» — кисловаты, «кислиха» еще и мелка, а вот «родительская» всем хороша: черная, крупная, сладкая… Да кислая ягода, бывало, тоже не пропадала. Сок из нее бочками в Москву возили, на «вишневку».

Заинтересовавшись гостем, из боковушки вышел Александр Кузьмич, тоже сел пить чай. Теперь его Некрасов расспрашивал, на каких условиях он договаривается с коробейниками. Потом спросил о литографии.

— Это он по ней искусник, — указал старший Голышев на сына. — Днюет и ночует в ней, заграничны журналы читает, а я… я уж больше по торговой части теперь… А сынок в Строгановской школе в Москве учился, мастак на все руки и в грамоте преуспел. Вон во что деньги вкладывает, — не то с гордостью, не то с укором показал он на книжные полки.

Только, посумерничав, вылезли из-за стола, собираясь идти смотреть литографию и магазин, прибежал офеня Еремка. По Мстёре уже распространилась весть, что у Голышевых — знатный гость, известный поэт из Петербурга, Некрасов. Дошла новость и до Еремки. Тот встрепенулся. Видались они с Некрасовым. Встретились как-то во время весеннего разлива под Фоминками, когда Некрасов ехал в свое муромское имение Алешунино. Разлив тогда был так велик, что от крестьянских изб только соломенные крыши торчали из воды, — и по бескрайней водной равнине плавали целые острова со скирдами, стогами, и баньками. Тогда Некрасов и увидал лодку офени, облепленную ботинками крестьян. Еремка возвращался домой из южных губерний. Однако, попав в сильный разлив, перекрывший все дороги и тропы, сразу смекнул, что может тут сорвать хороший барыш, и, накупив в Нижнем Новгороде разных товаров, нанял в Фоминках лодку и пошел бороздить окское водное раздолье. Некрасов поговорил тогда с офеней. Узнав, что тот торгует книгами и картинками, стал расспрашивать о хозяине, Еремка рассказал о Голышевых.

Крепостной крестьянин-издатель весьма заинтересовал Некрасова, к тому же он давно искал крестьянина-книготорговца.

«И лавка у них есть, — рассказывал Еремка, — а на ярмарках еще балаган снимают. И мы каждую осень у них запасаемся не токмо картинками и книжками. Лександр-то Кузьмич и галантерею разную сам выделывал, а нет — так в Москве закупает, а уж мы у него».

Книготорговцев в этих краях Некрасов знал и других. Но о своем деле решил договориться именно с Голыше-выми.

Заинтересовали его эти крестьяне. Не от одного Еремки о них уже слышал.

Теперь Некрасов узнал коробейника, спросил, в каких землях тот побывал за прошедшие годы, как идет торг.

— Ко мне пойдемте в гости, песни моей Катеринуш-ки послушаете, — уговаривал Еремка.

Некрасов согласился. Очень любопытно было ему посмотреть, как живут офени, а уж песни народные любил он слушать до самозабвения. В Алешунине, бывало, управляющий собирал деревенских баб попеть специально для барина.

Пошли все вместе к Еремке. На улице их сопровождала уже толпа любопытствующих.

Еремкина молодая жена Катеринушка оказалась первой на округу певуньей. Как затянула:

Не брани меня, родная, Что я так его люблю… —

у Некрасова слезы на глазах выступили. А когда Катеринушка кончила песню, Николай Алексеевич обнял и поцеловал молодуху в щеку.

Разрумянившаяся от смущения Катеринушка звонко повела другую некрасовскую песню:

Меж высоких хлебов Затерялося небогатое наше село…

В избу набилось полно народу. Все смотрели на Некрасова. А когда песня закончилась, к поэту подошел молодой подвыпивший мужик, поклонился:

— Богомаз я тутошный, читал ваши стихи. Ндравятся. Седни праздник у меня — сын родился. Не побрезгуй, батюшка, благослови и разреши назвать сына твоим именем.

Некрасову это польстило. Он благословил.

Литографию Некрасов посмотрел вскользь, но долго рылся в магазине в книгах, рассматривал лубочные картинки, потом заговорил о деле.

— Я тоже хочу заняться изданием народных книжек, — сказал он Ивану Александровичу. — У вас уже налажена торговля, возьмете и мои книжки?

— Давайте попробуем, — сказал Голышев. — Только не я ведь хозяин, надо с отцом поговорить.

— Слышал я, слышал, — сказал Некрасов, — что хозяин у вас отец, а дела все вершит сын.

— Так-то оно так, — смущенно согласился Иван Александрович, — но надо все-таки с отцом поговорить, ну, не обидеть чтобы. Уважьте, Николай Алексеевич. А я? Я согласный. Сделаете честь.

Уезжал Некрасов от Голышевых в хорошем расположении духа. Иван Александрович согласился распространять его книжки

для народа через офеней. И даже совет дал: хорошо бы обложку поярче сделать, — скажем, красной. Приглянется обложка — пойдет и книжка.

— И делайте книжки маленькими, офеням их сподручнее в коробе уложить, крестьянину, едущему с ярмарки, тоже будут не в тягость.

На том и порешили.

В январе 1862 года Иван Голышев по поручению отца собрался в Петербург, к графу Панину. Ехать решили вдвоем с Авдотьей Ивановной, чтобы показать ее столичным докторам. С первых родов она так и не поправилась еще и больше не беременела.

— Приедешь в Питер, иди прямо к Безобразову, не робей, — наставлял сына Александр Кузьмич.

Владимир Павлович Безобразов, молодой столичный ученый, сам разыскал прошлым летом Голышевых на Холуйской ярмарке. Он путешествовал по России, изучая экономическое положение разных ее районов. Проезжая через Мстёру, увидел Безобразов вывеску голышевской литографии, подивился сельской печатне, заглянул. Ему сказали, что хозяев нет, но посмотреть литографию разрешили. Потом Безобразов отыскал в Холуе лавку Голышевых и пришел знакомиться с ними. Иван занимался с офенями, а Александр Кузьмич с удовольствием рассказывал петербургскому ученому о своем заведении, похвастался и сыном. Иван Голышев заинтересовал Безобразова, ему самому было немногим за тридцать. Однако поговорить с Иваном никак не удавалось. Перед отъездом Безобразов все же попросил Александра Кузьмича подменить сына, чтобы побеседовать с ним. Но Иван робел перед столичным ученым, и разговор не клеился.

— Я ведь тоже частично владимирский, — пробовал Безобразов расположить молодого крестьянина к себе, — сейчас, правда, вся семья в Петербурге, а лет десять назад мы жили в доме у Золотых ворот. Знаете удельную контору? Так мой отец в то время был управляющим этой конторой, а я учился во Владимирской гимназии.

Иван хмурился, не вступал в разговор. И Безобразов молча упрекнул себя: «Нашел чем хвастаться?! Гимназия, отец заведовал конторой по крестьянским делам…» Так и уехал Владимир Павлович, не растормошив Голышева-младшего, а со старшим они и чайку попили и договорились, что Безобразов пришлет им продавать свою книжку «Письма из деревни». Ивану же Безобразов настойчиво советовал написать для императорского С.-Петербургского географического общества, секретарем которого он был, обстоятельный доклад об офенях и книжной

торговле.

Безобразов вскоре писал в журнале «Русский вестник»: «Приятно поражает взгляд в селении Мстёра вывеска большими буквами «Литография Голышева», которою гордятся все жители. В самом деле: почему бы, кажется, заводить в селе литографию, состоящую в разряде городских промышленных заведений, и заводить крестьянину, да еще крепостному? Когда встречаешься воочию со всеми подобными вопросами, на которые решительно нечего ответить, кроме повторения самого же вопроса с отрицательною частицею — а почему бы не заводить? — тогда уже не можешь с самодовольствием рассуждать о недостатке самодеятельности и инициативы в народе…»

Иван Александрович уселся писать доклад об офенях. Отец обижался, почему Безобразов сыну поручил доклад, а не ему, и ворчал:

— Бумага терпит, перо пишет. Неча свечи-то переводить.

Когда доклад был написан, Иван повез его в Петербург. В столице прямо с Николаевского вокзала Голы-шевы, взяв извозчика, отправились на Васильевский остров к Безобразову. Жили Безобразовы богато, но — просто, и Голышевы быстро освоились в господском доме, чему немало способствовало радушие матери Безобразова, Елизаветы Павловны, и обходительность гостьи — Авдотьи Ивановны Голышевой.

На следующий день Безобразов повел Ивана Александровича в императорское географическое общество:

— Я вас со всеми познакомлю, вы обязательно должны вступить в наше общество, об Авдотье Ивановне не беспокойтесь, ее развлекут и к докторам сводят.

Иван Александрович и во Владимирском-то статистическом комитете робел, а тут — одни господа да академики… Он даже затосковал, идя с Безобразовым в его типографию, в которой и располагалось общество.

— Председателем у нас сам великий князь Константин Николаевич, — рассказывал Безобразов, — но он на заседаниях редко бывает, а вице-председателем — генерал-адъютант, адмирал Федор Петрович Литке. Литке и основал наше географическое общество. Он особенно прославился как руководитель кругосветной экспедиции 1826–1829 годов.

Как только пришли, Безобразов сразу передал Голышева Павлу Ивановичу Небольсину, сотруднику многих столичных журналов:

— Вот вам русский самородок, издатель лубка, торговец книжками для народа, из самой российской глуши. Научите его, уговорите писать в журналы, у него такой материал, такие

познания народной жизни!..

— Наслышан, наслышан о вашей промышленности, — говорил Небольсин, тряся руку Ивана. — Вот она, наша молодежь, — обращался он уже ко всем ученым, — а мы тут, в столице, в своих салонах, знать ничего не знаем. Не оскудела, господа, наша Россия талантами, не оскудела.

Доклад Голышева об офенях был выслушан «с живым удовольствием», Ивана Александровича засыпали вопросами, предложили:

— Давайте считать его сообщение вступительным взносом в общество. — Проголосовали единодушно.

Устав общества гласил: «В члены… избираются лица, принимающие деятельное участие в успехах наук, составляющих успех общества, или могущие оказать ему полезное содействие».

Иван Голышев доверие оправдал: уже в год приема, 1862-й, за присланные рукописи об офенях и иконописи и иконы для этнографического музея общества был награжден бронзовой медалью.

Потом Голышев заглянул к Дубенскому Николаю Яковлевичу, и тот повел его сразу к Семену Семеновичу Лошкареву, председателю комитета грамотности:

— Наиполезнейшим будет нашим сотрудником. Торгует книжками для народа, в том числе учебниками и учебными пособиями, издает картинки.

Комитет грамотности выпускал списки и каталоги лучших книг с кратким объяснением «нравственного направления» их. Он планировал открывать больше книжных складов при училищах и церквах, «в которых школы и простолюдины» могли бы покупать хорошие книги по дешевой цене.

«Эти склады могут постепенно вытеснить лубочные издания, которые одни до сего времени удовлетворяли народной любознательности». Такова была задача комитета грамотности. И, вступая в него, Иван Голышев таким образом как бы вступал в борьбу с самим собой, издателем лубка.

Приняли Голышева и в комитет грамотности при императорском вольном экономическом обществе, дали задание написать о книжной и картинной торговле своего края. Господа затаскали Ивана Александровича, каждый приглашал в гости, хотел представить его своим друзьям.

Целую неделю пробыли Голышевы в Петербурге. Город очаровал их. Несмотря на наступившие морозы, молодые супруги обхбдили пешком чуть не всю столицу. Поручения отца Иван выполнил, все, что нужно было выяснить с графом Паниным, выяснил, побывал и у Некрасова, поинтересовался, как идут дела

с «красной книжкой».

Некрасов жаловался на цензуру, рассказал о похоронах Добролюбова, о свалившихся на «Современник» репрессиях и сказал, что раньше апреля вряд ли пришлет первую «красную книжку».

ГЛАВА 3 Меценат, учитель, корреспондент

1 марта 1862 года Иван Голышев ехал во Владимир на очередное заседание статистического комитета. Это был Дарьин день, с которого начинали обычно белить холсты. И снег в огородах і и под окнами в проезжаемых деревнях был устлан льняными белыми холстами. Денек был славный. Солнце вовс;ю старалось, растапливая рыхлые на Ьеверной обочине сугробы, кое-где уже и черные проталины проглянули, но путь еще был санный.

В начале заседания статистический комитет почтил память своего верного корреспондента, археолога Владимира Александровича Борисова, неожиданно умершего на пятьдесят третьем году жизни. Голышеву дали фотографию Борисова, с тем чтобы он сделал рисунок и отлитографировал портрет для готовящихся к изданию «Трудов» статистического комитета.

Иван Александрович часто вспоминал Борисова, начал уже по его совету собирать материал о своей Мстёре. На заседание комитета он приехал еще и с маленьким докладом-обоснованием своего замысла — открыть во Мстёре воскресную рисовальную школу и библиотеку при ней для крестьянских детей.

Сначала Иван боялся говорить отцу о школе. Литография работала хорошо, средства были, но отношения с отцом стали портиться.

Однако Александра Кузьмича задумка сына обрадовала. Вот уж чем можно утереть нос раскольникам! Рисовальная школа — дело невиданное. Школа Голышева, его сына. Тут уж и к отцовской славе прибавится.

Только дело оказалось нелегким. С чего начать? Иван решил посоветоваться с Тихонравовым. Но и Тихо-нравов не знал, кто разрешает открытие школ. Обратился к своему приятелю, директору училищ Владимирской губернии Николаю Ивановичу Соханскому, тот «представил» дело знакомому попечителю Московского округа. Оказалось — не по адресу. Разрешение временнообязанным крестьянам давало губернское по крестьянским делам присутствие, Константин Никитич Тихонравов поговорил с владимирским губернатором, и они решили войти в присутствие с ходатайством статистического комитета. Но это будет позднее, а пока Голышев докладывал на заседании комитета:

— Из числа жителей Мстёры большое количество занимается

иконописным и чеканным мастерством. Сверх того при заведениях имеются по найму многие жители Палеха, Холуя и других сел. Сами хозяева заведений большею частью производят иконописание грубо, учась один от другого и, несмотря на собственную неопытность, принимают в свои заведения для обучения малолетних мальчиков, не стараясь тщательно обучать их и смотреть за правильностью рисунка, — стараются только, чтобы они скорее вырабатывали в их пользу деньги…

Комитет одобрил решение Голышева открыть рисовальную школу и библиотеку и выразил «признательность ему за полезные действия». Возвращался Иван Александрович домой окрыленный. Его имя много раз упоминалось на заседании комитета. В отчетном докладе за прошлый год отметили, что он безвозмездно доставил в комитет для будущего сборника «Трудов» триста экземпляров литографированных видов мстерского Богоявленского храма и различные гербарии. Теперь он будет готовить для «Трудов» портрет Борисова. Он все, что угодно, готов сделать для комитета, там его уважают, ценят, верят в него. От замыслов у него голова шла кругом. А Тихонравов, давно уговаривающий Голышева писать в газету, прощаясь, сказал:

— Жду вашу статью.

Тему для статьи подсказал случайно услышанный разговор:

— В Голдобине вон мужики запасной хлебный магазин открыли, — вели беседу двое мстерян.

— Да к чему нам хлеб-то иметь запасной? — возражал богатый крестьянин-хлеботорговец. — Ведь и без него можно обойтись, лучше составить хлебный запасной капитал. На деньги все, коли надо, достать можно.

— Не скажи, — возражал ему небогатый крестьянин, — у тебя пазуха толста, а как нашему брату понадобится хлебца-то купить да придем к тебе попросить, при крайности без денег, в кредит или под заклад, так ты нас и вздерёшь. А коли дашь без денег-то, уж, верно, в куле огреешь лишних рубля два. Да и хлеб-от отпустишь — хоть молотком разбивай. А когда будет хлебец в магазине, тогда дело-то поскладнее будет нашему брату, да и вы не так величаться-то будете.

Хлеб во Мстёру привозили издавна по воде из низовых губерний. Мстеряне побогаче торопились оптом скупить его, а потом перепродавали в разновеску бедным крестьянам с наценкой или давали в кредит и под залог.

Бедняк не смотрел, какой хлеб, не обвешивает ли его торговец, он радехонек был уже тому, что по милости торговца-богача, не имея денег, тащит домой куль муки.

Повелось даже так, что богатый торговец закупал хлеб двух

сортов, соответственно и платя, как за два сорта. Потом же он хлеб второго сорта сбывал весной бедняку-крестьянину по цене первого.

То, о чем переговаривались крестьяне, Голышев и сам давно обдумывал вместе с отцом-старшиной. Тут Иван Александрович и решил написать в газету о хлебных магазинах, вопрос этот волновал многих, и не только во Мстёре.

Он так и сделал. Начал заметку с диалога мужиков. Потом рассудил, что бедному крестьянину хлебный магазин необходим. В нем он может взять весною муку по цене 6 рублей 50 копеек, и это уже дешевле, чем у перекупщиков, а вернет долг в сентябре, когда хлеб стоит уже только четыре рубля. Такова была его стоимость в зависимости от сезона. И будет, рассуждал Голышев, и крестьянам хорошо, так как не надо в трудное время идти кланяться богачу и брать у него плохую муку, и у магазина из процентов за пользование хлебом будет расти капитал, а значит, и запас муки.

В девятом номере за 1862 год, 12 мая, первая заметка Ивана Александровича Голышева «Нужно ли иметь хлеб в запасных магазинах там, где нет хлебопашества» была опубликована во «Владимирских губернских ведомостях».

Магазин с запасным хлебом вскоре и был открыт во Мстёре старшиной Александром Кузьмичом Голышевым. Раскольники-хлеботорговцы затаили на Голышевых еще одну тяжкую обиду, ибо хлебный магазин лишал их солидных барышей и заставлял искать новый источник доходов.

Первая удача в качестве корреспондента придала перу Ивана Голышева уверенность, и он тут же сел писать в газету о своей, открытой уже, школе. Тихонра-вов охотно опубликовал и эту статью, через два номера после первой.

«В слободе Мстёре Вязниковского уезда, — говорилось в статье без подписи, — 22 апреля произошло торжественное открытие библиотеки для чтения и воскресной школы рисования…»

Иван Александрович пожертвовал школе 100 оригиналов и все принадлежности к рисованию, 20 учебников, «назидательных и исторических», и 20 экземпляров прописей по чистописанию, а в библиотеку — журналы и до 50 своих книг.

Школа разместилась в ранее пустовавших комнатах Правления, и к открытию ее в классы записалось уже 28 человек.

Даже прослезился Иван Александрович, когда мальчики Мстёры и окрестных деревень после торжественных речей на открытии школы уселись перед ним и смотрели на него вопрошающе. Мгновенно вспомнился его первый день в

Строгановской школе, когда он, такой же вот несмышленыш, начал учиться рисовать под руководством профессоров Строгановки.

Двадцатичетырехлетний учитель рисования Иван Голышев очень хотел походить на тех своих учителей.

Занятия шли с одиннадцати до четырех часов дня, в зависимости от погоды, в ненастье они продолжались дольше, чтобы при хорошей погоде дети могли употребить остальное время для гулянья. И, наверное, не было в России еще такой демократической школы, которая бы в своих занятиях пристраивалась даже к погоде и помнила, что детям еще и погулять надо.

Иван Александрович разрешал ученикам, как это делалось в Строгановской школе, брать оригиналы домой, чтобы и на неделе, в свободное время, порисовать.

То, что дети добровольно и охотно посещали школу, было для их учителя большой радостью. «Призвание это, — писал он, — благодаря провидению, оправдывает мои труды, которые я исполняю с живейшим участием».

Около трехсот человек записалось в голышевскую библиотеку. Православные крестьяне приняли школу и библиотеку «с истинным радушием», а раскольники говорили: «Да к чему нам это ученье, мы и без того жили, да и деньги нажили».

А так как православные были в основном — бедняки, то и получилось, что материально поддержать новую школу было некому. Только князь Владимир Петрович Мещерский, чиновник особых поручений при министре внутренних дел, бывавший во Мстёре, прислал несколько религиозных и исторических книг да велел раздать детям полсотни экземпляров евангелий «на русском наречии», что и было исполнено торжественно, с богослужением и водоосвящением, окроплением святой водой книг, с назидательными речами.

Посещение школы было абсолютно вольным. По воскресеньям торгующие родители нередко увозили детей с собой, привлекали их при отпуске икон офеням, и все-таки в классах постоянно находилось от пятнадцати до тридцати учеников.

В их распоряжении были иностранные гравюры на стали, оригиналы духовного содержания, способствующие правильной иконописи, краски, кисти, бумага, карандаши, перья.

Одно огорчало Ивана Александровича, что иногда, в его отъезды, школу приходилось закрывать, ибо так и не нашлось у него помощника хотя бы на эти дни.

Даже мастера-иконники стали отдавать в школу своих сыновей. Однако ни один из них не захотел помочь Голышеву в обучении ребятишек.

«Конечно, я могу действовать один, — писал Иван Александрович в газете, — без участия других лиц в образовании детей, по мере моих сил, — но еще было бы лучше, когда занимались два или три лица: выдавать бума-гу> карандаши, краски и проч., преподавать и в это же время принимать, записывать и выдавать книги и журналы — все это одному не так-то удобоисполнимо».

Но земляки не вняли его призывам.

Через газету он излагает свой общий взгляд на образование крестьян. Убеждает, что воскресные школы надо открывать и тогда, когда крестьяне этого не хотят: «…Может быть, сначала они и не очень удачно будут оправдывать открытие школ, но впоследствии… сами же крестьяне оценят благодеятельное направление их… и, вероятнее всего, у них явится желание посвятить праздник на это доброе дело…»

На своем опыте он уже знал, что не везде найдутся учредители и преподаватели-добровольцы для таких школ, и предлагает: «…при содействии местного начальства избираются же лица во всякого рода общественные должности, — так же собственное их образование есть польза общества, поэтому следовало бы вменить в обязанность старшинам убеждать крестьян избирать лицо, долженствующее заниматься личным участием в преподавании образования в воскресной школе, нет сомнения, что из тысяч душ найдется хотя один грамотный, если не в полном смысле слова, то, по крайней мере, он будет способствовать к развитию первых правил грамотности… конечно, еще бы лучше, если бы приняло этот труд на себя местное духовенство».

Вначале школа, несмотря на недовольство раскольников, процветала. Число учеников в ней возросло де шестидесяти пяти. Занимались в ней уже не только мстёрские ребятишки и молодые люди, а и крестьяне из окрестных деревень и даже из соседних уездов.

Частенько вместе с детьми в классы являлись и родители, посмотреть, чем тут занимаются, да и самим подучиться. Немало было и просто любопытствующих, проезжающих по тракту чиновников и помещиков. Слава о необыкновенном мстёрском крестьянине перешагнула уже границы губернии.

Школа и библиотека требовали от Голышева немалых средств. Все труднее приходилось ему.

«Благотворительные жертвователи, не оставьте глас

вопиющего вашим вниманием, благодетельствуйте народному образованию», — обращался Голышев через газету, надеясь «на благосклонное внимание просвещенной публики».

Ни копейки, ни книжки не пожертвовали мстеряне ни в школу, ни в библиотеку.

Посетил как-то школу владимирский генерал-губернатор Александр Петрович Самсонов. Но и он ограничился только «назидательными наставлениями крестьянам и мальчикам… о полезных занятиях и учении».

Князь Мещерский писал в своих «Путешествиях по России»:

«Все усилия молодого Голышева сделать это ремесло (т. е. иконопись) менее безобразным и более правильным в массе простых и бедных иконописцев оказались бессильными: стариков не переломишь, а детей эти старики неохотно пускают в рисовальную школу, — одни — потому что они раскольники, или староверы, другие просто из опасения лишиться двух рук для своей мастерской».

Но раскольники, все более недовольные старшиной Голышевым, всячески вредили и детищу его сына — рисовальной школе. Им потом удастся интригами опять сместить Голышева-старшего, и это предопределит конец рисовальной школы. Чтобы не поссориться с новым, теперь раскольничьим, Правлением, многие православные крестьяне будут бояться пускать своих детей в рисовальную школу, не жалуемую начальством. Иван Александрович напишет в «Воспоминаниях»: «Ученики подвергались насмешкам, часто не находили сторожа, особенно в зимнее время, отпереть здание и, простояв попусту, должны были возвращаться домой… После пятилетних трудов, не видя никакой общественной или другой поддержки, я вынужден был оставить школьные занятия».

Все имущество школы и библиотеки он раздарит в народные училища округи: Мстёрское и близлежащего села Рыла церковно-приходские, Холуйское образцовое рисовальное, в Вязниковскую тюремную школу, во Мстёр-скую благочинную библиотеку, — более семисот книг, десятки художественных оригиналов, рисовальные пособия.

ГЛАВА 4 Несбывшиеся надежды

Но школа закроется еще спустя несколько лет. А пока день Ивана Александровича забит до отказа. Литография, торговля, занятия рисованием с детьми. По поручению комитета грамотности он ездит по уезду, исследуя народные училища. «Губернские ведомости» печатают одну за другой его статьи и заметки о ярмарках, ловле рыбы и крестьянских секретах ее копчения, отчеты о воскресной школе, и Голышев уже уверовал в свое перо.

Подолгу беседует он с возвращающимися из странствий офенями, изучая их язык. И Тихонравов одобрил уже его статью об офенях для публикации в «Ежегоднике» — новом издании губернского статистического комитета.

Голова Ивана Александровича полна идей. Все предприятия ему удаются. Он — на взлете. К нему, почти как к равному, относятся важные чиновные лица в статистическом комитете, петербургские ученые — в письмах. Казалось бы, жить да радоваться. Но черные мысли, мрачные опасения терзают его. Родившийся еще в детстве страх перед графской конюшней не пропал до сих пор. Мало того, сейчас он нарастает с новой силой. Отец опять во вражде с раскольниками, а это обостряло отношения с обществом и самого Ивана Александровича.

Поздним вечером Иван Александрович с Авдотьей Ивановной обсуждали козни односельчан, грубые выпады против сына и снохи Александра Кузьмича.

— Кабы отделиться от отца, зажить своим домом и делом, — мечтал Иван Александрович.

— Не потерпит он этого, — вздыхала Авдотья Ивановна.

Может, попробовать получить звание неклассного художника? Оно освобождает от общества. Отец станет безвластен надо мной, тогда и отделимся…

— Но звание присуждает Академия художеств, она поди как строга.

— Не без этого, только в Строгановке у нас рассказывали, что кое-кто из наших умудрился получить это звание по чужим рисункам, просто-напросто купив их.

— Не грешить же?

— Да нет, я не собираюсь покупать.

— У тебя и свои хороши. Пошли «Народный праздник», приложи еще работы ребятишек Воскресной школы, должна же академия зачесть твой безвозмездный труд…

Вдохновленный поддержкой жены, Иван Александрович

принялся переводить свою акварель «Народный праздник» на камень, отлитографировал, приложил еще двадцать пять лучших рисунков своих учеников и в начале 1863 года отправил в столичную академию художеств.

Вскоре академия уведомила его, что дело будет рассматриваться в августе. Голышев волновался.

Александр Кузьмич, узнав о затее сына, усмехался:

— Ишь, чего захотел! Да разве выгорит дело без хлопот сильных мира сего?!

Иван Александрович и сам подумывал съездить в Петербург, попросить похлопотать своих знатных знакомых, но личных денег у него не было, а отец как отрезал:

— Нечего тратиться понапрасну. Напиши Безобразову, захочет — и так поможет.

Иван Александрович написал, но все лето вестей из Петербурга не было, и Голышев очень обрадовался, когда собрался по комитетским делам в столицу Тихонравов. Иван Александрович надавал ему поручений: в археологическое общество передать найденные им старинные предметы; Павлу Ивановичу Мельникову, занимающемуся по заданию правительства изучением раскола в стране, — заметки о мстёрских раскольниках, и главное, узнать, как там его дело в академии…

Медленно тянулись дни ожидания. И вот однажды Авдотья Ивановна радостная вошла в кабинет мужа с письмом в руках:

— От Тихонравова!

— Значит, вернулся, — обрадовался Иван Александрович, — читай.

Чтобы сберечь зрение мужа, Авдотья Ивановна читала почти все письма ему сама.

Письмо от Тихонравова было длинное. Константин Никитич писал, что пробыл в столице дольше командировки на две недели и что сам граф Строганов давал ему отсрочку.

— А что он там про мои поручения пишет? — нетерпеливо перебил Иван Александрович.

— Находки твои он «исправно» доставил, и они уже поступили в Эрмитаж «на обозрение» императору. Далее Константин Никитич пишет, что был тепло принят графом Строгановым, и Тихонравов был у него четыре раза, раз обедал, а то пил чай. Граф ему показывал свой музей древностей. И вот слушай, Ванечка, что он пишет: «Много я говорил ему о Вас, о Вашей полезной деятельности, и когда Его Сиятельство узнал, что Вы из школы живописи, то поручил мне передать от него желание познакомиться с Вами лично и потому просит Вас: как только

будете в Петербурге, то непременно быть у него. Это он мне повторял еще перед отъездом раза три, притом дополнил, что «подобных людей надо поднимать и выдвигать» и что он все готов для Вас сделать и во всяком случае содействовать».

Авдотья Ивановна обняла мужа и поцеловала:

— Ну, дорогой, поздравляю, может, граф и с получением звания художника поспособствует… — Она стала читать письмо дальше, и радостное настроение их сразу пропало. Тихонравову сказали в Академии художеств, что звание вряд ли будет присвоено в нынешнем году. Во всяком случае вопрос будет решаться только после выставки, после осмотра ее государем.

На следующий день пришла весть от Безобразова. Он писал, что был все лето в деревне, потому просьбу Голышева похлопотать о его деле получил уже по возвращении в Петербург, когда было слишком поздно, Голышеву было отказано. Безобразов подбадривал Ивана Александровича, писал, что дело можно будет поправить в будущем году.

— Не захотел помочь — и всё тут, — сердился Александр Кузьмич, — так и поверим, что стоко месяцев он о доме не справлялся. Просто не за-хо-тел. Чего им, господам, о нас печься. А ты уж рот раскрыл: графы, господа — товарищи тебе. Как были мы для них крепостными, так и остались. Вот выкачать что с нас они — тут как тут, а помочь…

Александр Кузьмич уже две недели валялся в постели, а деятельная его натура страдала от такой оказии, потому он на всех злился, гонял домашних и теперь рад был позлословить.

— Обойдешься и без этого диплома, руки, голова на плечах есть, и так сойдет.

Вскоре вернулась и посылка из академии. В ней было уведомлено, что рисунки «признаны неудовлетворительными».

Иван Александрович был потрясен. Он надеялся на благополучный исход и — вдруг…

И так было тошно, а отец не унимался:

— В господа выбраться захотел. Вот тебе наука: не лезь со свиным рылом в калашный ряд, занимайся своим делом. Школу-то Строгановскую бросил, а теперь в художники вознамерился…

И если в Александре Кузьмиче отказ академии вызвал бурю протеста и злобы, то Ивана Александровича — придавил. В смятении он писал Тихонравову: «Позвольте принести Вам мою искреннюю душевную благодарность за Ваше доброе ко мне внимание; перо мое слабо и не может передать тех сердечных чувств, которыми наполнена душа моя…»

Только Тихонравов был к нему по-настоящему добр и — без сословных церемоний. Но и ему Иван Александрович начал было

письмо витиевато, уничижительно, как писал обычно знатным особам. Но вовремя спохватился, понял, что такое обращение может и обидеть Константина Никитича, относившегося к нему дружески.

И, отказавшись от высокого стиля, Голышев писал Тихонравову, что, занимаясь исследованием иконописи во Мстёре и Холуе, он собрал коллекцию икон, не заинтересует ли она комитет.

Потом Иван Александрович сообщал, что давно приметил по пути в Холуй из Мстёры любопытную часовню Николая Чудотворца, что даже Безобразов заметил ее, проезжая, и упомянул в своих путевых заметках. Так не надо ли описать ее поподробнее и сделать рисунок?

Но никакие дела и заботы не могли отвлечь Ивана Александровича. Он запил. Раз зимой возвращался из Владимира в таком состоянии, что не помнил, как доехал, лошадь сама нашла дом. Александр Кузьмич неистовствовал, пьяного сына и бивал, усугубляя тем его отчаянье.

Выходила сбившегося с пути мужа Авдотья Ивановна.

— Вино уму не товарищ, — уговаривала она Ивана Александровича, — загубишь свой талант.

Авдотья Ивановна была мужу и другом, и нянькой, и доброй женой. Вместе искали выход и из этого положения.

Весна 1864 года началась рано. В ночь с восемнадцатого на двадцатое апреля тронулся лед на Клязьме. Любуясь разливом, Голышев вез на заседание статистического комитета коллекцию крупных раковин, найденных на берегах Тезы под Холуем. Опять на заседании было определено: «Голышева благодарить, а раковины сдать в музей комитета». На осеннее заседание Иван Александрович привез для музея двадцать икон, целую коллекцию, отражающую большое разнообразие их, писанных во Мстёре и Холуе. Любопытство вызвали иконы огромное, а Иван Александрович пояснял коллегам:

— Вот это — полномерная, а это — маломерок, эта же — десятерик, всего десять вершков в длину. Где одно лицо — называется — одиночка, со многими лицами — людница, а здеся, видите, в три ряда, крестообразно, клетками, мученики и угодники, так эта трелядницей зовется…

— Вам обязательно надо книгу об иконах написать, — говорили и Тихонравов, и председательствующий на заседании губернатор.

— Я уже написал, вот, — стесняясь, сказал Иван Александрович и протянул Тихонравову рукопись. — Это о Мстёре. Есть там и про иконописание наше.

— Ну, молчальник, ну, молодец! — хвалили его, а в протоколе записали: «Рукопись по рассмотрении напечатать в третьем выпуске «Трудов» статистического комитета и согласно желанию Голышева для него 1200 экземпляров, с покрытием материальных расходов, без оплаты за набор».

Несколько лет работал Голышев над книгой о Мстёре. Начал сразу после давней встречи с Борисовым, когда тот подарил ему свое описание Шуи. Иван тогда залпом прочитал ту книжонку и решил, что, пожалуй, и впрямь можно вот так же рассказать о Мстёре. Но, берясь за эту работу, он не представлял, какой она окажется сложной.

А работать Ивану Александровичу становилось все тяжелее. Александр Кузьмич без устали враждовал с раскольниками, волей-неволей втягивал в распри и сына. Искренне, без ханжества, преданный царю, отечеству и православию, жаждущий деятельности во имя своих идеалов, волостной старшина Голышев не только строго и точно исполнял старшинские обязанности, но постоянно проявлял инициативу, вовлекая в свои затеи всех слободчан, особенно старательно раскольников, так что «вовлечения» часто оборачивались просто насилием.

В 1863 году в Варшаве началось польское восстание. Восставшие неожиданно напали на русские казармы и перебили спящих безоружных русских солдат. Восстание захватило Западную Белоруссию, Литву.

Александр Кузьмич, возмущенный действиями бунтовщиков, усадил сына писать «адрес» царю: «Слобода Мстёра, глубоко тронутая бесчеловечными действиями мятежников России, поспешила заявить свою преданность Августейшему монарху…»

Старшина собрал волостной сход, принес в Правление икону св. Александра Невского, объявил, что хочет препроводить ее вместе с «адресом» императору, и предложил подписать «адрес» и собрать деньги в пользу раненных в царстве Польском русских воинов, и сам сделал первый взнос. — '

Слободчане не спешили раскошеливаться, особенно раскольники.

На следующий день по указанию старшины в Богоявленском храме устроили торжественную литургию, присутствовать на которой Александр Кузьмич «нарядил» всем мстерянам.

Три дня он загонял в свой дом слободчан для подписи «адреса» и сдачи денег в пользу раненых, а сыну велел «описать» в газете об «адресе» и торжествах.

Иван Александрович написал об этом статью, а потом еще, по настоянию отца, сделал и отдельный ее оттиск: «Отголосок русских». Это была первая книга Ивана Александровича

Голышева.

Дела, творимые старшиной Голышевым, по сути были не плохие. Но, человек самовластный и необузданный, он жестко навязывал свою волю другим, и это вызывало протест у людей.

Однако Александр Кузьмич не унимался. Стоял на Базарной площади Мстёры заброшенный, давно пустовавший дом. Хорошее, двухэтажное каменное здание. Не худо бы его за обществом оставить, размышлял Александр Кузьмич, да так, чтобы и не выплачивать за него помещику. Давно мечталось старшине Голышеву устроить во Мстёре богадельню для престарелых. Вот и здание подходящее. В первом этаже открыть богадельню и харчевню, а во втором приют для призрения сирот и незаконнорожденных младенцев. Вот и богоугодное дело.

Вынес Александр Кузьмич свои задумки на сход. Православные охотно поддержали старшину:

— Дело говоришь, Кузьмич, а то, сказывают, малюток-то подкинутых предают насильственной смерти, — говорили крестьяне.

Раскольники протестовали:

— Призрение бедных и сирот — дело государственное, мы и так бедствуем, еще графу сколь выплачивать надоти.

Александр Кузьмич жестом угомонил сход:

— А теперь слушайте соизволение графа. Я просил у него разрешения именовать богадельню домом-приютом графа Панина. И вот Виктор Никитич благодарит общество за это богоугодное учреждение и дозволяет назвать его именем.

Александр Кузьмич хотел объяснить сходу хитрость задумки, что, мол, теперь здание останется за обществом без выкупа, ибо теперь граф постесняется просить деньги, но разъяренные раскольники уже не дали ему говорить.

— Как ты смел доносить графу об этой богадельне, не посоветовавшись с нами?! — кричали они.

— Не нужно нам никаких богоугодных заведений!

— Сколь денег топерь на это потребуется!

Поднялась суматоха. Однако голосовать против богадельни и приюта было уже нельзя, чтобы не прогневать графа, а с ним мстёрским крестьянам еще расплачиваться и расплачиваться. Александр Кузьмич, в общем-то, на это и рассчитывал, собираясь привести в исполнение свой замысел.

Раскольники же снова объявили Голышеву войну.

В это время, обследуя губернию, завернул во Мстёру владимирский генерал-губернатор Самсонов. Он заехал специально посмотреть воскресную рисовальную школу и библиотеку Ивана Александровича Голышева и остался доволен

ими.

Община богатых раскольников, воспользовавшись случаем, прямо в дом Голышевых принесла начальнику губернии жалобу на старшину Голышева, сообщив при этом, что точно такую же жалобу она послала ездившему в то время по губернии с ревизией сенатору А. Х. Кап-геру.

Губернатор выслушал обе стороны, стоял за Голышева, однако опасался сенатора, потому на время пребывания того в губернии все же отстранил Александра Кузьмича от должности.

Голышеву-младшему Самсонов поручил устроить в честь приезда сенатора фейерверк, в саду помещика Протась-ева, в имении которого сенатор намеревался остановиться.

Иван Александрович давно уже не занимался «огненными утехами» и хотел было отказаться. Но отец запретил это:

— Утешить сенатора ради отца родного тебе лень?! — кричал он. — Ишь, ученым заделался, некогда ему!

Пришлось заняться фейерверком. «…Более недели я провозился с этими пустяками, — писал потом Иван Александрович, — но все вышло удачно, и сенатор остался очень доволен».

Капгер посетил воскресную школу и библиотеку молодого предпринимателя-ученого, долго беседовал с ним и с Александром Кузьмичом и предписал мировому съезду по поводу жалобы раскольников, что она — необоснованна, подана партией староверов, враждебной Голышеву, а потому постановил оставить ее без внимания.

Александра Кузьмича после этого снова возвели на должность старшины. Домашние, родственники — все советовали ему остепениться и, получив «Достойное удовлетворение», добровольно отказаться от должности. Но Александр Кузьмич ни за что не хотел этого и еще больше принялся мстить своим недоброжелателям. Мировой судья, узнав об этом, написал Александру Кузьмичу частное письмо: «…Вот уж я другой год служу и дожидаюсь, не будет ли в тебе перемены, но к прискорбию моему я не нахожу ничего, окромя твоей мстительности и недоброжелательства во всем… Ты со своим характером постоянно думаешь, что все тебе враги и желают твоей гибели… ты забыл, что мщение есть смертный грех, ни закон, ни служба не терпят его, а потому надо сделать одно: или бросить злобу, или оставить службу…» Старшину Голышева и это письмо не образумило.

Раскольники добились досрочного назначения выборов. Как проходили перевыборы старшины, как раскольники ловчили, нарушая правительственнный указ, Иван Александрович описал

потом в статье «Выборы в крестьянском быту» в «Губернских ведомостях», подписавшись: «Православный».

Смещенный с должности старшины, отец вообще ошалел. Неуемная, любившая властвовать его натура оказалась без приложения своих сил. Не давал ему покоя и обман раскольников на выборах. Александр Кузьмич рассылал всюду жалобы, требовал, чтобы и сын бросил свои научные изыскания и занялся его кляузными делами.

Ивану Александровичу отцовы склоки вообще претили, к тому же он страдал от ответных козней раскольников больше отца, и уж совсем не хотел он ввязываться в отцовы дрязги, часто просто стыдился их.

Иван Александрович искал отцу дела, чтобы как-то угомонить старика. В это время императором Александром II были утверждены и опубликованы правила о православных церковных братствах. Общество православного церковного братства имело целью — «служить нуждам и пользам православной церкви», противодействовать посягательствам на ее права со стороны иноверцев и раскольников.

Вот куда бы направить энергию отца, подумалось Ивану Александровичу, и он посоветовал Александру Кузьмичу создать православное братство во Мстёре. И 7 ноября 1864 года «Владимирские губернские ведомости» писали, что первым во Владимирской губернии откликнулся на призыв императора учредить повсюду православные церковные братства крестьянин слободы Мстёры Александр Кузьмич Голышев. Потом он и был избран братчиками председателем братства, а Иван Александрович — делопроизводителем, обязанности которого он будет исполнять двенадцать лет бесплатно.

Братство помогало православным погорельцам, больным, вдовам и детям, а раньше это делали только раскольники, одновременно затягивая православных в свою веру. В церкви братство установило свою кружку для пожертвований в пользу бедных. Братство выписывало газеты и журналы, а после использования передавало их в мстёрскую библиотеку, чтобы все крестьяне могли бесплатно читать их. Братчики следили, чтобы раскольники не злоупотребляли против лиц православных. Однако применять к раскольникам принудительные меры братство не имело права.

ГЛАВА 5 Начало Голышевки, «обжорная» ярмарка в Холуе и масленица во Мстёре

Как-то, возвращаясь из Владимира, Иван Александрович Голышев попал в один вагон с помещиком Протасьевым, своим соседом. Сначала вместе посетовали, что сиденья в этом вагоне второго класса больно жестки, словно не на пружинах, а на каменьях, что тесно до невозможности. Позвали вагонного, но он только руками развел, не нашего, мол, ума дело: «мы токмо служащие». — Они до того боятся, — возмущался Протасьев, — потерять место, что едва ли осмеливаются и думать о том, что сами могут как-то изменить положение, допустить не смеют, что начальство может впасть в недосмотр, который удобнее исправить тому, кто близко к делу.

Голышев согласился. Заговорили об Александре Кузьмиче. Иван Александрович сказал, что с отцом стало тяжело жить и что они с женой планируют построить свой дом.

— Хорошее дело, — поддержал Протасьев. — Хотите, я продам вам немного земли в своем имении?

— Уж больно бы ладно было! — встрепенулся Голышев. — И бумагу тогда от вас возить не надо будет, мы литографию в новый дом переведем.

Семь лет уже ютились они с Авдотьей Ивановной в маленькой комнатенке рядом с кухней, перестроенной из амбара, и она служила им и спальней, и гостиной, и кабинетом — Ивану Александровичу.

Когда приехали на мстёрскую станцию, долго не могли найти извозчика, был канун Ильина дня, и все извозчики были пьяны.

От станции до слободы Мстёры двенадцать верст. Сперва ехали среди берез. Верст через пять пересекли большую просеку, по которой шла построенная когда-то Аракчеевым дорога на Нижний. Потом потянулись перелески и долинки, чередующиеся с болотами, в низинах с наложенными гатями, проезжая по которым седоки «тряслись всеми суставами и внутренностями».

Поля пестрели колышками с надписями. Потом показалось Татарово и большие черные клубы дыма писчебумажной фабрики Протасьева. До шестисот человек уже работало на ней, считай все Татарово да пол-Мстёры.

Александр Кузьмич, по предложению сына, сразу согласился купить землю у Протасьева. Выделять сына из дела он не

собирался, а новый дом был нужен, старый стал тесен и совсем обветшал.

Иван Александрович хотел бы и дело разделить, но, воспитанный в духе полного подчинения отцу, не решался пока и сказать об этом. Он даже землю самостоятельно купить не мог, потому что все доходы от литографии были в руках отца.

Более всего Ивана Александровича радовало то, что дом будет стоять не на мстёрской земле, это укрепляло надежду со временем зажить независимо.

Когда Иван Александрович приехал к Протасьеву в Москву, обосновавшемуся там на зиму, составлять купчую на землю, Протасьев крайне удивился, что Голышев оформляет ее на имя отца.

— Понимаешь ли ты, чем это может обернуться для вас с женой? — внушал он молодому сотоварищу по издательскому делу. — Мало ли что взбредет в голову вашему батюшке, и оставит он вас ни с чем. Да и по смерти отца усадьбу и дом придется делить уже между всеми наследниками.

И все равно Иван Александрович так и не решился затеять разговор об этом с отцом. Помог случай.

Чтобы наказать Голышева-старшего за рассылаемые всюду жалобы, раскольники снова, как двадцать лет назад, обвинили его в растрате полутора тысяч общественных денег, через это завязалась опять большая тяжба, ибо Александр Кузьмич виновным себя не признавал и отказывался платить начет.

И теперь, покупая землю, он опасался, как бы раскольники через суд не отбили эту землю, потому и решил сделать крепостной акт на имя сына. Протасьев не менее Ивана радовался такому повороту.

Участок почти в четырнадцать десятин, в восемнадцать раз превышающий обычный крестьянский во Мстёре, был куплен за шестьсот пятьдесят рублей. Находился он за оврагом, в селе Татарове, рядом с усадьбой самого Протасьева.

Место было преотличное. Прямо на Шуйском тракте, но отгорожено от него аракчеевской березовой аллеей. С пригорка участок плавно спускался вниз, переходил в заливной луг, и луговина тянулась до самой реки Мстёрки.

В трехстах шагах шумели сосны и березы протасьев-ского парка. За забором стояли помещичьи дома. Хорошее соседство. Пустырь можно превратить в сад.

Решили, пусть дом будет простой, без всяких излишеств, деревянный, но — большой, двухэтажный, чтобы и литографию разместить, и книжную лавку и чтобы жить было просторно.

12 апреля в Ницце, после тяжелых страданий, как писали

газеты, умер наследник царского престола, старший сын Александра II, великий князь Николай Александрович. С цесаревичем многие в России связывали свои надежды на будущее, потому кончина наследника была встречена всей Россией с печалью. Мстёра отслужила по умершему панихиду.

Покинул в начале 1865 года Владимир генерал-губернатор Александр Петрович Самсонов, он был отозван в столицу. При Самсонове Владимирский статистический комитет процветал. Перед отъездом Самсонов успел вручить полюбившемуся ему активному деятелю комитета Ивану Александровичу Голышеву серебряную медаль для ношения на шее на Станиславской ленте.

«Я был весьма рад этой высочайшей награде, — писал Иван Александрович, — ибо она освобождала меня от телесного наказания. У нас много было примеров по разным крестьянским местечкам, что крестьяне, преследуя кого-либо из своих собратьев, приискивали какую-нибудь вину, а затем, по приговору волостного суда, наказывали его розгами». И с Иваном Голышевым местные власти не церемонились. Как-то Иван Александрович тяжело заболел, и в это время пришло распоряжение сотского из Вязников немедленно явиться в стан канцелярии. С властями не спорят. Едва живой отправился Иван Александрович в уездный город, и как же он был возмущен, когда узнал, что хлебать киселя за двадцать верст ему пришлось только для того, чтобы подписаться в прочтении бумаги по торговым делам, совсем не спешной. «Не правда ли, огромным уважением пользуются у становых наши мужи науки?!» — возмущалась по этому поводу газета.

Последняя суббота перед сырной неделей — масленицей — называлась на Руси «широкой». Иван Александрович отправился в Холуй. Тихонравов давно просил его написать об этой, стихийно укоренившейся, пятой, неофициальной, ярмарке в Холуе, прозванной «обжорной». И если в большую ярмарку шумели в Холуе два базара: верхний — в гостином дворе, и нижний — на площади, на самом берегу Тезы, то в широкую субботу базар устраивался только на площади. Приезжали сюда для того, чтобы накупить провизии для предстоящей масленицы. Покупались в основном яства: свежая и соленая рыба, лакомства, подарки близким, гостинцы — детям.

В Холуе у Голышевых была своя лавка, в которой они торговали во время ярмарок и в базарные дни. Пробираясь к ней, Иван Александрович прошел нижним базаром, поднялся на горку к гостиному двору. На верхнем базаре было пусто и тихо. В гостином дворе было открыто не более двадцати лавок — с образами, панскими товарами, галантереей и некоторыми

другими товарами для офеней, и у тех не толпился, как обычно на ярмарке, народ, только прошли два офени.

Голышевы хорошо поторговали осенью и на зиму лавку закрыли. И теперь к ней невозможно было подойти, столько намело снега. Ноги по колено проваливались в сугробы. Начерпав полные валенки' снега, Иван Александрович нашел сторожа, спавшего в закутке, и попросил лопату.

Не переставая зевать, недовольный тем, что его разбудили, сторож, кутаясь в тулуп, сказал, что лопат нет у него и у других сторожей вряд ли найдется.

«Вот он, русский человек, — чертыхался Голышев, пробираясь сквозь сугробы, — круглые сутки будет храпеть, пока его не занесет с головой».

Лопат он, как и предсказывал ему первый сторож, не нашел ни у одного из двенадцати в торговых рядах. «И за что им только деньги платят, — возмущался Иван Александрович, — разгребая тропинку к своей лавке какой-то доской, которую тоже нашел с трудом. — А ведь сугробы — одна из причин, почему народ сейчас сюда не заглядывает, какие уж тут прогулки, если в сугробах ноги повывихиваешь».

Когда он часа через два снова спустился на нижний базар, атмосфера на нем заметно изменилась. Тут и там уж слонялись полупьяные, стоял шум, гвалт, звучало крепкое словцо.

К четырем часам пополудни окончательно все было пьяно. Шатающиеся компании, с песней и гармошкой, бродили вдоль прилавков. То тут, то там вспыхивали ссоры и пьяные драки.

Торговцы закрывали лавки. Десятки саней разъезжались по домам с пьяными седоками.

Иван Александрович зашел в трактир пообедать перед дорогой. Там было мусорно, натоптано снегом, пахло прокисшей солянкой. Трактир гудел множеством людских голосов. «И не мудрено напиться, — подумал Иван Александрович, — если рюмка водки стоит всего пять копеек, дешевле стакана чая с сахаром, и целая бутылка вина чуть подороже солянки».

Дома у каждого к масленице варилась брага, зеленое вино, пеклись блины, блинчики, пряженцы, пряженчики и сладкие пирожки. На масленице все старались, как говорили в народе, есть до икоты, пить до перхоты, петь до наслады, плясать до упаду. Хозяева зазывали:

— У нас в дому только вино да пиво, а воду кладите себе в сани, сгодится для бани, да и вода отсюда не близко, и ходить к ней склизко, пируйте, сидите, да других не тесните, кто хочет — веселись, хоть с лавки вались.

Нарядные, выезжали зажиточные мстеряне в масленицу на

лошадях, подвязав глухари-бубны, оглашающие-оповещающие хозяев, чтобы встречали гостей.

И всю сырную, масленичную неделю катились из села в село ярмарки. В сырный понедельник — в Коврове, что в нескольких десятках верст от Мстёры. Во вторник ярмарка была в Вязниках, в среду — в Палехе, в четверг — в Гороховце, в пятницу — в Сарыеве, в субботу — во Мстёре. И разъезжали всю неделю с ярмарки на ярмарку праздничные, веселые толпы людей. И на всех базарах этих не столько торговали и покупали, сколько гуляли, масленичные базары и назывались — разгульными.

Мстёрский базар завершал сырную неделю, когда было уже ох как много съедено и выпито. Рыбу к тому времени уже не ели, и продавались одни почти лишь «сухояс-тия» — огромнейшие калачи до двадцати фунтов весом, огромнейшие пряники, различные ягоды, чернослив, изюм, шептала (урюк), жемки и другие лакомства, которые покупали уже на прощеное воскресенье. Прощеным воскресеньем и заканчивалась разгульная масленица.

ГЛАВА 6 Трагический циркуляр

Радости ходят рядом с печалями. В апреле 1865 года вышел закон о литографии и книжной торговле, по которому открывать эти заведения разрешалось только людям вполне благонадежным и имеющим некоторое образование. Голы-шевы думали, что новый закон не затронет их. Литография открыта с разрешения министра внутренних дел, владельцы ее вполне благонадежны, и некоторое образование Иван Александрович имеет, поэтому надо просто заново получить разрешение губернатора на книжную торговлю, и они послали прошение губернатору.

Голышевы не знали о тайном циркуляре, разосланном министерством внутренних дел на места. В нем отмечалось, что заводить литографии возможно только там, где «имеются достаточные средства для полицейского надзора, а именно в губерниях и наиболее значительных губернских городах, но отнюдь не в селениях». Эти последние слова «отнюдь не в селениях» и стали причиной беды, обрушившейся на Голышевых.

Вновь назначенный, пока исполняющим обязанности, губернатор Шатохин совсем не знал Голышевых и поступил формально, послал в Вязники становому приставу предписание, в котором, со ссылкой на тайный циркуляр, говорилось, что торговля Голышеву и другим мстёр-ским торговцам «более дозволена быть не может и оная должна быть закрыта, с обязательством этих лиц подписками о прекращении». «…А так как, — писал далее губернатор, — я не могу каждодневно следить за выше указанными лицами, то поручаю вам следить, чтобы помянутые лица… книгами не торговали и литографий не делали; если на случай будет сделано кем-нибудь из этих лиц ослушание и они станут тайно торговать или литографировать, то таковых ослушников вместе с их книгами и литографиями, представить ко мне».

Предписание пришлось на самую горячую пору — ухода-отъезда офеней, когда склады были забиты товаром. «Между тем, — вспоминал Иван Александрович, — местное волостное начальство не зевало». И, будучи раскольничьим, искало удобный случай рассчитаться с бывшим старшиной. Во Мстёре, Холуе проходили ярмарки, а товар Голышевых пылился на складах. В связи с денежными затруднениями пришлось отложить строительство нового дома.

Волостное правление обязало Голышевых строжайшею подпискою. Специальная торговая депутация днем и ночью следила, не печатается ли что-нибудь в их заведении, не ведется

ли в магазине торговля. Но так пристально следили только за Голышевым. Прочим мстёрским книготорговцам власти потворствовали.

— Книгами торговать нельзя, а водкой можно, — негодовал Александр Кузьмич. В это время по всей стране открывалось множество новых питейных заведений^ — Что ж, — с вызовом решил Голышев-старший, — будем торговать водкой.

Он спешно сколотил в Татарове домушку и сдал ее в аренду под кабак. Это еще больше разожгло раскольников. Их вера строго запрещала питие.

Голышевы послали губернатору новое прошение, должен же он учесть особенность положения Ивана Александровича, члена многих ученых обществ. Но Шатохин, не вникая в это новое прошение, переслал его в губернское правление, а то лишь приобщило к делу. Бюрократическая машина работала в полную силу. Всегдашней волоките, как нельзя лучше, способствовал тайный указ.

Иван Александрович отправился к губернатору сам, захватив только что вышедшую свою книжку «Богоявленская слобода Мстёра… история ее, древности, статистика и этнография». Он надеялся, что вышедшая очень кстати книжка покажет губернатору, что нельзя ее автора ставить на одну доску с неграмотными книжными торговцами. Шатохин благосклонно принял книжку в подарок, поблагодарил. Вежливо усадил Голышева в кресло, сказал, что с удовольствием бы дал ему разрешение, однако не знает, как отнесется к этому губернское правление, надо подождать его решения. Пытаясь ускорить дело, Иван Александрович отправился в губернское правление, а советники сказали ему то же самое: «Мы бы с удовольствием разрешили вам торговать, да не знаем, как к этому отнесется губернатор».

Литография, магазины, сараи и сени Голышевых были с полу до потолка заставлены стопами картинок и книг.

В доме стояла гробовая тишина. Литографские рабочие стали роптать, хотя зарплата им была выдана вперед. Голышевы решили отпустить рабочих совсем, не платить же им и дальше за ничегонеделанье.

Протянув время, губернское правление пришло к странному решению: так как литография Голышевых открыта с разрешения министра внутренних дел, то нет основания прекращать производство, но свидетельства на торговлю в лавке выдано не было. Дозволялось торговать, с разрешения уездного исправника, только на улицах и площадях, вразнос.

— Час от часу не легче, — неистовствовал Александр

Кузьмич, — производить можно, а торговать произведенным — нельзя. Издевательство! Надо хоть взять у исправника дозволение на торговлю вразнос.

Исправник, усмехаясь, такое разрешение дал, Александр Кузьмич обрадовался и ему, засобирался на ярмарку в Холуй. Так потом и торговал залежавшимся в лавках товаром на столиках перед лавкой. Начинался дождь, столы покрывали рогожами, а продавцы и покупатели прятались под крышу. На лавке должен был висеть замок, знаменуя то, что она закрыта. В ней запрещалось иметь освещение. И когда товар на уличном прилавке кончался, хозяин, крадучись, с фонарем, пробирался в собственную лавку за новым товаром. Иван Александрович горько шутил:

— Держим в руках два света: свет просвещения — книжный товар — и другой свет — от тьмы распоряжений полиции.

Иван Александрович поехал хлопотать в Петербург. Тихонравов, переживавший несчастье друга как свое, отправился с ним, надеясь все устроить через влиятельных знакомых.

Тихонравов имел в столице и служебные дела, поэтому оформил командировку от статистического комитета и намеревался остановиться в гостинице. Ивана Александровича отец наставлял на гостиницу не тратиться, а ехать сразу к Безобразову, поэтому в Петербурге друзья расстались на вокзале.

Был понедельник, в департаменте у Безобразова, помнил Иван Александрович, не приемный день, и он отправился к Владимиру Павловичу прямо домой. Но на двери Безобразова была записка: хозяин принимает дома по воскресеньям. Что делать? Голышев был в затруднении, но все-таки решился позвонить. Дверь открыл незнакомый Ивану Александровичу швейцар. Молча выслушав сбивчивые объяснения Голышева, он ответил:

— Владимира Павловича нет, принять вас статский советник сможет только в воскресенье.

В досаде и расстройстве поплелся Иван Александрович со своим саквояжем в гостиницу к Тихонравову. Константин Никитич усадил друга за стол:

— Пиши Безобразову записку. Пошлешь ее по почте, и она, минуя этих олухов-швейцаров, будет преподнесена хозяину на тарелочке.

Потом Тихонравов принялся вслух разрабатывать план:

— Думаешь, почему я остановился в этой гостинице? Глянька в окно, что видишь? Правильно: Казанский собор. Так вот, каждый день к утрене в него ходит господин Богданович. Уж он-то подскажет нам, что делать. Теперь пиши записку нашему

бывшему губернатору Александру Петровичу Самсонову, он теперь — почетный опекун С.-Петербургского опекунского совета, тоже не оставит без помощи…

Богдановича утром в Казанском соборе они встретили, он, действительно, подсказал, куда следует обратиться. К обеду в гостиницу пришел любезный ответ от Безобразова, он звал Ивана Александровича к себе, а к вечеру в гостиницу явился сам генерал-лейтенант Самсонов. Он дружески обнялся и расцеловался с земляками, заставил Голышева в подробностях рассказать свое дело и сразу сел писать секретарю императрицы — тайному советнику Морицу.

На следующее утро Тихонравов отправился в археологическое общество, а Иван Александрович поехал к Безобразову.

Владимир Павлович встретил его с распростертыми объятиями:

— Весьма рад вас видеть, милейший! Садитесь, рассказывайте, как здоровье Авдотьи Ивановны, как батюшка?

— Благодарю вас, Владимир Павлович, жена и тятя здоровы. У нас другая беда.

— Что такое? Какая беда?

Голышев рассказывал, а Безобразов возмущался:

— Вот они — наши чиновники: как только занял кресло, тут же перестал думать, считает главной заботой теперь — выполнять циркуляры. Следуй точно циркуляру, усидишь в кресле. Оклад идет, жизнь безбедна, голова не болит, сердце спокойно.

205

Безобразов дал Ивану Александровичу письма к члену совета главного управления по делам печати Фуксу и к действительному статскому советнику Петру Петровичу Семенову, управляющему Центральным статистическим комитетом.

— И успокойтесь, — ободрил он Ивана Александровича, — отправляйтесь сейчас же к Фуксу и обязательно информируйте меня о том, как будет двигаться дело.

Голышев был тронут такой заботой и вниманием. Доброе слово, участие, ему были нужны, пожалуй, не меньше самой помощи.

Еще две недели ходил Иван Александрович от вельможи к вельможе, из канцелярии в канцелярию, но, благодаря участию многих влиятельных лиц, дело шло к благополучному завершению. Географическое общество направило владимирскому губернатору свое защитное слово, отметив большие заслуги Голышева-ученого. Письмо было подписано вице-председателем адмиралом Ф. Литке.

Голышев сам привез это письмо владимирскому губернатору Шатохину и, вручая, сообщил, что распоряжение управления по делам печати должно вот-вот подойти.

Шатохин будто бы обрадовался такому повороту дела, покаялся даже, что ему крайне неприятно было закрывать литографию; Иван Александрович, слушая начальника губернии, думал: «Кошечке — игрушки, а мышке — слезки». Однако и теперь Шатохин не поторопился исправить несправедливость и поставил на поданном Голышевым письме резолюцию: «На днях должно быть получено из управления по делам печати отношение по предмету дозволения открыть книжную торговлю Голышеву в ел. Мстёре, тогда вместе с сим доложить и это письмо».

К концу января следующего года дошло распоряжение до Мстёры. Литография опять заработала, но теперь порядок значительно изменился. Прежние цензурные правила были очень просты. Рисунки с подписями отсылались в цензуру по почте. С этих зацензурованных оригиналов рисунки переносились на камень, с камня делали оттиск, который снова посылался в цензуру — уже для получения выпускного билета. Оригинал с выпускным билетом служил постоянно, мог переходить от одного лица к другому.

Теперь же цензурование картинок стало ежегодным, и Голышевым приходилось выполнять пустую работу — перецензуровывать одни и те же сюжеты.

Опять пришлось хлопотать. Сначала Голышев входил с ходатайством по этому вопросу в цензуру, но она не сделала послабления. Пришлось опять обратиться в главное управление по делам печати. Оно разрешило цензуровать раз в три года, но и этой небольшой уступки удалось добиться только в 1868 году.

В «Воспоминаниях» Иван Александрович писал: «Вскоре оказалось, что я был ни больше ни меньше, как только козлом отпущения за всех. Собратья мои по книжной торговле, сидевшие спокойно у себя дома во время моих поездок, хождения, тревог и волнений, не замедлили воспользоваться данным мне разрешением. То же самое губернское правление, которое так строго отнеслось ко мне, стало выдавать дозволения всем торговцам».

В начале декабря, морозным, темным вечером, в окна Голышевых грубо забарабанили. На крыльце стоял брат Александра Кузьмича. Не раздеваясь, он прошел в избу, устало опустился на сундук:

— Беда! Малость не спалили ваш сруб в Татарове. Александр Кузьмич начал было одеваться, чтобы бежать в Татарово, но брат остановил его:

— Да погодь ты, уж поздно топерь, вчерась еще дело было. Дарья Пономарева, ну, дочь коей в услужении у Протасьевых, навестить, это, свою дочь ходила да и засиделась там за чаем допоздна. Дочь-от и ночевать ее оставляла, а Дарья уперлась: «Домой надоть, завтра утречком в Вязники съездить собираюсь». И пошла в ночь-от одна. Идет это она мимо вашего сруба. Тихонечко. Побаивается, ну и не шумит. Они ее вот и не заметили.

— Да кто они-то? — нетерпеливо перебила деверя Татьяна Ивановна.

— Погодь, не влазь! — грубо одернул ее муж.

— Незнамо кто. Идет это Дарья-то мимо вашего сруба и слышит — мужики говорят. Ну, она и затаилась, чтоб снег не скрипел: не Кузьмич ли с сыном разговаривают там? Обрадовалась было: с вами во Мстёру подумала идти оврагом-от. Да слышит — не ваши вроде голоса-то. Да и что-то чудное балакают. Один и говорит: «Зажигай дом, а вы бегите навстречу Голышеву. А когда Голышев увидит пожар, поедет тушить, убейте его».

— Господи помилуй! — закрестилась и запричитала Татьяна Ивановна.

— Четверо их, мужиков-то, было тама. Дарья как припустилась бежать, они ее и приметили. Бросились за ней, догнали, поняли, что слышала она ихний разговор, взялись бить ее, а она ревет и только просит: «Помилуйте, ничего не знаю, никому не скажу». Куда там! Отняли у нее деньги, дочь жалованье свое ей как раз отдала, узел с платьем барина, она стирать несла, сняли с нее валенки, новые еще, да и потащили в прорубь, утопить, значит, хотели. А тут и едет кто-то по дороге. Дарья-то как закричит. Мужики испугались и бросились бежать. Дарья — еще кричать, чтобы путники ее услыхали. Куда там, сил уж у ней мало было, проехали путники мимо. Она надела на голы ноги рукавицы да так, полураздетая и избитая, чуть ли не ползком и добралась домой за полночь. Сперва и говорить-от не могла. Только вот к нонешнему вечеру и отошла да рассказала.

Преступников не нашли. Голышевы были уверены, что это происки раскольников.

ЧАСТЬ 4. От гадальных книжек до научных монографий 1868–1878

Крестьяне, получив свободу, устремились в города, на фабрики, заводы. Множились мануфактуры. К всероссийскому торжищу — Нижегородской ярмарке — тянулась железная дорога. Дорог вообще в эту пору строилось много. Временные правила о печати разрешили выпускать «в столицах» журналы и газеты без предварительной цензуры, но после трех предупреждений издание закрывалось. Без цензуры выпускались некоторые художественные и научные книги. В университетах стали избирать ректоров и деканов.

По-настоящему порадовала крестьян отмена в 1874 году рекрутчины. Введена была всеобщая воинская повинность с двадцати одного года, на шесть лет. Для грамотных срок сокращался вдвое, для имеющих среднее и высшее образование — еще на год.

В семидесятых годах тысячи молодых образованных людей отправились в народ, «открывать ему глаза на его социалистическую сущность», однако деревня встречала зачастую своих учителей настороженно, а то и враждебно.

В 1875 году восстанием в Боснии, Герцеговине, а затем в Болгарии началось движение освобождения славянских народов от турецкого ига. Турки были так жестоки в подавлении восстания, что вызвали возмущение всего мира, а в России — особенно. По всей России шел сбор пожертвований и запись добровольцев. Даже женщины просились в сербскую армию сестрами милосердия.

Турцию поддерживала Англия, которая помешала России урегулировать славянский вопрос без кровопролития. В апреле 1877 года царское правительство начало войну против Турции. Длилась она меньше года, но была чрезвычайно тяжелой. Форсировав Дунай, перебравшись через Балканы, наши войска оказались запертыми на зиму в горах. Почти десять тысяч солдат обморозились или совсем погибли в снегах. Потом турки были изгнаны с Балкан, из Закавказья, но окончательно их разгромить не позволили Англия и Австро-Венгрия, боявшиеся усиления России.

Война потребовала более миллиарда чрезвычайных расходов. Росли цены, внутренние и внешние займы. После Окончания

войны вернувшиеся домой солдаты, герои Шипки и других сражений, считали, что реформа должна быть пересмотрена, земля переделена.

Началось массовое самовольное перераспределение земли Крестьяне 23 губерний отказались платить повинности В Киевской губернии бунтовало 40 тысяч человек из 19 волостей. В Воронежскую губернию правительство вынуждено было ввести «военные команды».

Папский террор придавил не только крестьян-бунтовщиков, а всю Россию, — с соседями разговаривали шепотом.

Все шире росло недовольство правительственной политикой.

ГЛАВА 1 Первая монография

От Рождества до самого крещения стояли крепкие морозы с небольшими метелями. По случаю престольного храмового праздника Богоявления во Мстёре 6 января традиционно устраивалась ярмарка.

Торговля на ней особого оборота не имела. Съезжались на нее скорее всего погулять, повидаться с родными, и выглядела ярмарка просто большим базаром.

К Голышевым накануне ярмарки, с вечера, приехали погостить из Холуя с мужем и детьми Фелицата, из Вязников — Анастасия. У младшей, Катерин-ки, семейная жизнь не задалась, и она уже год как вернулась с детьми к родителям.

Татьяна Ивановна радовалась гостям, хлопотать у печи поставила дочерей, а сама возилась с внуками.

— В богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается, — говорила она детям, — вот, об чем открытому небу помолишься, то и сбудется. Январь прежде Васильи-чем величали, по Васильеву дню, еще овсень да таусень прозывали, а то — просинцем, поясней после декабря стало, на куриную ступню свету прибыло.

После завтрака гости и хозяева, по-праздничному принарядившись, отправились на ярмарку, оставив в своей лавке приказчика. Ребятишки тут же прилипли к ларькам со сладостями, которых в любой праздник видимо-невидимо. Старики Голышевы задержались возле лоханей, а Иван Александрович с Авдотьей Ивановной прошли дальше. Они ничего не собирались покупать в этот день, шли так, посмотреть.

Последние годы Иван Александрович как-то пристальней стал приглядываться к жизни и быту русского крестьянства. Во всей России возрос интерес к русскому, народному. Статьи Голышева о местных обычаях, играх, трудовых праздниках шли в газете сразу, как только он напишет. Доклады его на заседаниях больших ученых встречались с восторгом. И Голышев стал уже летописцем-бытописателем своего края. Почти в каждом номере «Владимирских губернских ведомостей» появлялись рубрики: «Вести из Мстёры», «Письма редактору от И. Голышева из Мстёры».

И по ярмарке он шел, наслаждаясь яркостью расписной посуды, праздничными нарядами слободчан и гостей, прислушиваясь к веселым разговорам.

Товар был на ярмарке в основном деревянный: кадки и кадочки, корыта, колоды, лохани, ведра и целыми возами —

гробы, иногда дубовые, а чаще — сосновые. Ну, гробов слободчанам так много сразу не требовалось, потому скупали их сперва перекупщики, возами прямо, а потом уж скупщик и — гробовщик, в любое время к нему мстерянин придет и нужный гроб выберет.

— Пойдем, пойдем скорее, — потянул Иван Александрович жену в сторону, — вон к тем возам, там перекупщики потеху затевают.

Он придержал Авдотью Ивановну чуть в стороне от возов с деревянной посудой, где торговался с крестьянином известный во Мстёре перекупщик Никита Рубцов. Пятеро приезжих парней тоже остановились рядом, прислушиваясь к торговле.

— Смотри, — шепнул Иван Александрович жене, — парни намерены перебить торг.

Так и получилось. Только Никита Рубцов с крестьянином ударили по рукам, как парни небрежной походочкой подошли к хозяину воза и с ходу предложили ему более высокую цену. Крестьянин в растерянности смотрел то на Никиту, то на парней. Парни были разухабисты, доверия не внушали. Рубцов тоже присматривался к парням: покупатели они или взметчики? Взметчики сбивали цену, ковфкали торг, чтобы на этом заработать. Эти были настойчивы, предлагали кидать жребий. С шутниками, у которых в кармане пусто, жребий кидать было не опасно. Выиграв, они, посмеиваясь, уходили обычно. А эти были с деньгами, один даже небрежно продемонстрировал пухлый кошелек. Но Рубцов решился. Не кидая жребия, предложил взметчикам по пятьдесят копеек на душу, и те сразу удалились.

— Легко отделался, — пошутил, подходя к Рубцову, Иван Александрович.

— Куда там. На ветер два рубля выкинул, чтоб их нелегкая… Дурью маются жеребцы.

Иван Александрович и эту базарную сценку опишет потом в газете.

За письменным столом он проводил теперь все больше времени, уверовав, что труды эти его интересны людям.

Вдохновлял успех первой книжки «Богоявленская слобода Мстёра». Профессор Московской духовной академии, археолог, член московского комитета по духовной цензуре, давний знакомый Ивана Александровича, Петр Симонович Казанский писал Голышеву, что этой его книжицей заинтересовался Владимир Иванович Даль, составляющий толковый словарь живого русского языка, что он нашел у Голышева слова, которых не было в его словаре, особенно касающиеся иконописания.

Трудясь над «Мстёрой», Иван Александрович много работал в

архивах. Путь к древним актам ему указал еще в детстве отец. Вступив в должность бурмистра в сороковые годы, Александр Кузьмич принялся разбирать в шкафах сельского правления бумаги, к которым никто не притрагивался десятилетиями. В этих пыльных залежах, поеденных кое-где книжным червем, нашел Александр Кузьмич храмовую грамоту «за печатью» самого митрополита Суздальского и Владимирского Илариона. Печать от времени сгладилась, края грамоты поистлели. Александр Кузьмич очистил ее, поместил под стекло в раму и повесил в Богоявленском храме. Брал отец маленького Ваню иногда с собой и в архив Богоявленского храма.

Поэтому, задумав описать Мстёру, Иван Александрович в первую очередь отправился в этот архив. Староста храма ввел его в мрачный, каменный, без окон, чулан. В нем было холодно даже в пышущий жаром летний день. Иван Александрович обвел свечой полки, и что-то вздрогнуло от восторга у него внутри: сколько древних тайн он откроет тут и расскажет о них слобожанам, ничего не ведающим о своих предках.

Древние акты хранили в особом сундуке — скрыне. В писцовой книге 1628, 1629 и 1630 годов читалось: «в стародуборяполовском стану… написано за стольники за князь Василием большим да за князь Иваном большим да за князь Василием меньшим… детьми Петровича Ро-модановского… отца их старинная родовая вотчина погост Богоявленская слободка…». Занимателен был сам язык древнего писца: «…а у церкви… келья черного попа Лариона… да келья крылошеника Моисея… да бобыльских дворов… Федька да Миняшка да Михалка да Андрюшка Ивановы… да Онофренко кузнецы, да Китайко мельник… Ивашка да Сергушка Холодов… Кондрашка да Кирилка Сергеевы да племянники их Дакучайка Елизарьев, да Якушка Ильин… да Власко горшечник…».

В актах описывались «худые» уже тогда пахотные земли, пустоты, перелоги, на реке «мельница двухколесная мелет на вотчинников, а оброку с нее не платят».

Голышев старательно переписал всю писцовую книгу. Потом столь же долго просидел над «Описной раздельной книгой» слободы 1710 года, которая подробно описывала все храмы, церковную утварь, колокола, ризы и книги, вотчинников, дворовых и задворных людей… И было в слободе тогда 182 крестьянских двора и 57 лавок, кабак и таможня, а «на кабаке и таможне» сидели «головы и целовальники по указу из ратуши с Москвы… и збирали зборы денежны к Москве в ратушу». Тогда уж, значит, было тут такое бойкое торговое местечко, раз Москва своих сборщиков прислала.

Чем дальше, тем заинтересованнее вчитывался Иван Александрович в древние документы: грамоту царя Петра Алексеевича, множество челобитных крестьян Ромоданов-ским, допросы беглых крестьян.

«Книг по археологии и другим исследованиям я не имел, — писал Голышев, — да и негде было взять здесь». А надо было осмыслить и систематизировать древние находки. Он ехал во Владимир к Тихонравову.

Константин Никитич любил вставать в три-четыре утра. Он будил кухарку, чтобы грела самовар, пил чай и работал, пока домашние спят. Голышев и являлся к нему спозаранку.

— Проходите, батюшка, проходите, — улыбаясь, говорила смущающемуся от раннего визита Ивану Александровичу кухарка Глафира, — не спит хозяин, уж второй раз самовар ставлю.

— «Труды» комитета очень редко выходят, — жаловался Тихонравов, — наверное, лучше выпускать их тетрадками поменьше, но — почаще, Ну, хотя бы по три в год.

После чая Тихонравов с огромным интересом рассматривал привезенные Голышевым старинные акты и раскладывал их в три стопы.

— Вот так, любезнейший Иван Александрович, уловили? Так же как Русь наша есть древняя — великокняжеская, старая — царская — и новая — императорская, таковы же и акты. Так вот, двадцать, а не семнадцать, как вы считали, ваших актов принадлежат восемнадцатому веку и заключают в себе мстёрские вотчинные дела и ни в коем случае не относятся к старинным. Еще очень недавно помещики собирали оброк со своих крестьян и ягодами, и яйцами, и всякой живностью и все сие творили по образу и подобию своих приснопамятных предков. Впрочем, не печальтесь: и эти акты интересны читателю, и мы их напечатаем в хронологическом порядке. Да, забыл спросить. Вы где остановились?

— Я оставил саквояж в гостинице.

— Ах, опять в нумерах?! Анна Егоровна, слышь? — закричал Константин Никитич, услышав шаги жены. — Ах, ты его еще и блинами хочешь кормить?! Ты слышишь? Он опять остановился в нумерах.

— Я побоялся стеснить вас, — Иван Александрович, смущенный, хоть и шутливым, яростным натиском Тихо-нравова, все-таки был польщен гостеприимством хозяина и вовсю улыбался.

— Здоровы ли Александр Кузьмич и Татьяна Ивановна? — спросила в тон мужу Анна Егоровна.

— Здоровы, только тятя по-прежнему много скандалит.

Голышев подолгу просиживал у Тихонравова, читал его книги. «…Некоторые, лишние у него, он мне дарил, — вспоминал Иван Александрович, — а из других я выписывал необходимые материалы, для чего и просиживал целые ночи; некоторые источники увозил с собой и по выписке материалов пересылал обратно… В слободе Мстёре не с кем посоветоваться, не с кем бывало перемолвить слова по отношению к наукам: не только не получали здесь журналов, но и газеты дешевой цены были чрезвычайной редкостью».

Уж и свою порядочную библиотеку имел Голышев, брал также книги из владимирской публичной и епархиальной библиотек, у Тихонравова, Протасьева, Сень-кова…

Только теперь, много читая и пиша, Иван Александрович по-настоящему ощутил потерю зрения. Единственный рабочий глаз от такого долгого напряжения уставал, начинал болеть и совсем плохо видел уже в сумерках. Писать же и читать при свечах было особенно тяжко.

ГЛАВА 2 Серапионова пустынь

Как-то летом Голышевы всем семейством отправились в Серапионову пустынь на богомолье. В этот день, день усекновения главы Иоанна Крестителя, в Серапионову пустынь собирался народ со всей округи. Татьяна Ивановна бывала там не раз, но теперь уж давно не наведывалась и увязалась с молодыми: «А то одна и вовсе до смерти не соберусь». Александр Кузьмич присоединился к компании тоже.

Выехали затемно, чтобы успеть к заутрене, путь предстоял неблизкий. Всю дорогу обгоняли шедших пешком богомольцев из Мстёры, соседнего Татарова, Станков…

Утро было ненастное, небо без просветов, в тучах. Едва отъехали, пошел дождь.

Рассвело, но посветлело мало. А когда уже стали подъезжать к пустыни, хлынул ливень, да еще с градом, и сразу резко похолодало. Татьяна Ивановна раскаивалась, что поехала. Промокшие и продрогшие пошли Голышевы к заутрене. Народу было, несмотря на холод, так много, что невозможно было положить поклон.

Церковь освещалась девятью окнами в два света, да фонарем в куполе. Иконостас был в пять ярусов. Иконы в основном новейшего времени, но многие — хорошей кисти. По малиновому фону иконостаса шли золотые арабески и орнаменты.

Над церковными вратами полукругом была изображена Тайная вечеря, а над нею — господские праздники — Св. Троицы, Успение Преосвященной Богородицы, Сретенье Господне, Вознесение Господне, вход в Иерусалим. Золотился в пляшущих от дыханья десятков людей отблесках свечей и лампад дорогой оклад иконы Корсун-ской Богоматери.

Ивану хотелось рассмотреть эту икону получше, но он стоял далеко, и пробраться вперед не было никакой возможности.

Татьяна Ивановна еще дорогой рассказывала:

— Икона Корсунской Богоматери — чудотворная, явилась на этом месте, на котором основана пустынь.

Прихожане перед молитвой святому угоднику клали на его главу нитки, шнурки, тесьму, а потом несли их домой. Считалось: если обвязать таким шнурком больную голову, то боль отступит.

Благоговейно пели на клиросе девицы. Ради этого хора в основном и стекались в пустынь из окрестных сел и деревень люди. Ради него приходили из дальних мест богомольцы.

После окончания литургии смотрительница пустыни Агафья Степанова, познакомившись с Голышевыми и узнав, с какой

целью приехал Иван Александрович, пригласила все семейство к трапезе.

— Что, понравился наш хор? — спрашивала смотрительница.

Те заверили, что хор — отменный.

— Авдотья Прокофьева им управляет. Я ее из своего Нижегородского монастыря переманила. Поют теперь до двадцати девиц, и я — с ними. Отбоя нет от желающих поступить в сестры. Принимаем, но — со строгим усмотрением. Два небольших огорода, пять коров, да лошадь — такое у нас хозяйство. Доход от церкви не имеем: не разрешают нам ни с блюдом по церкви ходить, ни иметь сборную кружку. Потому живут девицы без прислуги и чисто своим трудом.

Девицы еще расшивали полотенца и белье, да их некуда было сбывать. Научились убирать образки фольгой, делать для них цветы, но — опять вышло затруднение: негде доставать бумагу и фольгу.

Отметил Голышев, что на богомолье в Серапионовой пустыни, несмотря на многочисленное стечение народа, нет ни одного хмельного человека, как это зачастую бывает на других богомольях. Питейной продажи тут не было никакой, торговали только разными лакомствами: баранками, орехами, пряниками, конфетами, ягодами, палатки были раскинуты близ самой церкви.

К трапезе пригласили и богомольцев, прибывших аж из самой Сибири.

Сначала клир девиц пропел один из псалмов, потом все уселись на длинные скамьи вдоль стола. Подали четыре блюда, пища была простая, но вкусная, а продрогшим и утомившимся с дороги показалась особенно аппетитной. Девицы во время нее читали вслух Четьи-Минеи.

Дождь к концу трапезы перестал, даже солнце проглянуло. И смотрительница Агафья повела Голышевых показывать пустынь.

/ Расположена она была в живописнейшем уголке Клязь-(минской поймы, на самом берегу большого чистого озера) Калачное, берега которого поросли дубовым кустарником. (Народ любовно называл это местечко «пустынькой«.

Церковь св. Троицы с приделом, небольшая, белокаменная, стояла на холме. Рядом — деревянная, но искусно раскрашенная под каменную, колокольня на пять колоколов в окружении вековых дубов.

Невдалеке от церкви виднелись бревенчатые дома священника и причетчика, их дворовые постройки, а с другой стороны, несколько в отдалении, новый большой, двухэтажный дом и почти примкнувшие к нему три стареньких, мал мала меньше, деревянных домика.

Перехватив взгляд Ивана Александровича, смотрительница сказала:

— Тут девицы из хора жили, только в полную ветхость дома пришли. В большой разлив вода аж в печку заливалась. Так вот, вместо этих келий отдельных, мы большой дом поставили.

— И сколько же лет вашей пустыни? — спросил Иван Александрович.

— По преданиям — более двухсот. Прозвана по имени ее основателя Серапиона, да я синодик потом покажу. Был тут сперва мужской монастырь, и прозывалось место Семибратскою пустынью. Разбойники, бродяги лесные разорили ее и разграбили, церковь деревянную сожгли, и была пустынь упразднена. А эта церковь уж усердием прихожан построена, двухпрестольная. Холодная — с главным престолом св. Троицы — и теплая — Корсунской Богоматери, в честь находящейся тут чудотворной иконы. Тихое было местечко. А потом, в середине прошлого века, спрятались тут от суеты мирской девять служительниц богу. Жили при церкви, кормились собственными трудами, создали свой хор. Да так хорошо пели, что и я прослышала в Нижнем Новгороде о том пении. Захотелось послушать сей девичий хор, пришла как-то на богомолье да так и осталась.

Было это всего лет семь назад. Крепко взялась Агафья за устройство женской обители. Только благодаря этой «божьей радетельнице», при поддержке владимирского епископа Феофана, и было построено в обители двухэтажное общежитие для посвятивших себя богу сестер.

В верхнем этаже разместились большая моленная, гостиная, спальня смотрительницы и две комнаты сестер. В первом этаже — большая трапезная, кухня и пять комнат.

Агафья Степанова разрешила Голышеву осмотреть и комнаты девиц. В них было чисто и опрятно, на стенах висели иконы и духовные картинки. Иван Александрович увидел и первые свои, и только что привезенные в подарок обители сюжеты из Апокалипсиса, которые вручил смотрительнице со своими традиционными длинными пояснениями Александр Кузьмич.

Преосвященный Феофан, назначая смотрительницей обители Агафью Степанову и благословляя обитель, наставлял, чтобы приобретала книги для чтения и чтобы девицы читали эти книги вслух, и даже список книг присоветовал.

На ночь Голышевых разместили в новом доме. Утром следующего дня старики, Катеринка и Авдотья Ивановна уехали, а Иван Александрович остался. Он задумал описать историю пустыни, ее быт и к описанию приложить литографированный рисунок ее. Потому с утра и занялся рисованием.

Обительские девицы, одни стесняясь, другие озоровато пересмеиваясь, толпились вокруг молодого художника, засыпали его вопросами и ахали, глядя, как твердая рука мастера намечает очертания их священного храма и обительских построек.

Пришел взглянуть на работу Ивана Александровича и священник. Разогнав девиц и стоя у Голышева за спиной, рассказывал:

— От пения и чтения девиц храму большая польза выходит. Расстроился было как-то хор — и доход сразу упал. Возродился хор — и доход в месяц сравнялся с годовым.

По вечерам, сидя со свечой в отведенной ему комнате, Голышев вел подробное описание пустыни:

«Церковь одноэтажная, покрыта железом, с овальным куполом, кончающимся небольшим, с четырех сторон храма, скатом, на верху купола четырехугольный фонарь с окнами, пропускающими с четырех сторон свет в церковь; на верху этого фонаря еще меньший, глухой фонарь, ведущий к самой шейке главы; на ней утверждена одна глава в виде луковицы, покрытая белым железом, ананасной гранью, на коей осьмиконечный крест…»

Он занес себе в тетрадь надписи на крестах, перечисление всего царствующего дома, заключительная надпись гласила: «крест хранитель всея вселенныя, крест красота церкви, крест царей держава и верных утверждение, крест ангелов слава и демонов язва».

Кресты были 1816 и 1837 годов. Несколько десятилетий назад сделаны, а Иван Александрович относился к ним уже как к историческим реликвиям.

Всего четыре года назад пало крепостное право. И вот бывший крепостной крестьянин пишет историю своего времени. Это ли не высшая философия — осознание своего времени и себя как личности?!

Иван Александрович тщательнейшим образом измерял аршином квадраты церковных палат, высоту, ширину и длину алтаря, описал все иконы, определял их древность.

Он залезал на колокольню, стоял, пораженный великолепным видом бесконечных лесов, чашей обрамленного кустарником озера, реки и заречных далей. Изучал священные изображения и надписи на колоколах: один — древний, 1779 года, в 25 пудов. Другой большой, в 84 пуда, колокол был отлит в Костроме, на заводе купчихи Ираиды Дмитриевны, вдовы Поляковой, с изображениями святых и словами: «На то установлен благо-вестъ и звонъ, чтобъ церкви сзывалъ въ земной святой С1онъ».

Смотрительница, как драгоценную реликвию, подала Ивану

Александровичу для рассмотрения обещанный синодик.

В нем было двадцать пять цветных рисунков, писанных рукою древнего художника. Заглавный лист гласил: «Лета отъ Рождества Христова 1728 года сей синодикъ дому Живоначальныя Троицы Серапионовы пустыни пере-деланъ вновь тоя пустыни тщаниемъ многогрешнаго иеромонаха Герасима Вязниковца. При казначее старце Сергие Лихопожинскомъ».

На первом рисунке был человеческий череп. На втором — «глава человеческая на пьедестале», перед нею сидел царь, с другой стороны человек, «указывающий перстом». На третьем — человек во гробе. На остальных — события из жизни некоего новгородского посадника Шила: «бысть ввеликом Новеграде чудо страшно и удивлению достойно бе некто посадник именем Щил имея у себя сына едина чадо, бе богат вельми и многимъ даяще сребро влихву взимаше на годъ на новгородской рубль деньгу Новгородскую. И отъ того собра имения много и помысливъ на то сребро церковь поставити и монастырь оградити».

С почитанием листал Голышев эту старинную книжицу. В скольких руках она побывала! В нее были внесены имена и тех девяти вязниковских девиц, пожелавших уйти в обитель от суеты мирской: Натальи, трех Анн, двух Александр, Марии, Феодосии и Параскевы.

Сначала Голышев опишет эту поездку в Серапионову пустынь в статье, которую опубликует владимирская губернская газета, потом выпустит небольшую брошюру с литографическим рисунком.

Часто бывая в Холуе, Голышев много раз видывал в версте ˆслободы Борковскую пустынь, слыхивал, "что основ'ашГ она князем Иваном Дмитриевичем Пожарским по завещанию родителя, известного героя, князя Дмитрия Михайловича Пожарского, и якобы именно в память о 1612 годе, что именно «на сем месте имел остановку на несколько времени» со своею дружиною князь Дмитрий Пожарский, идя в 1612 году на избавление Москвы от поляков. Здесь дал князь обет пред богом выстоять в борьбе с врагами, не щадить своей жизни. И «в памяти сихъ св. чувств, въ благодарность Богу, тогда же положил основать на оном месте обитель во имя св. Николая Чудотворца». Опишет Голышев и эту пустынь.

Археолог, историк и старший редактор Центрального статистического комитета Александр Иванович Артемьев сопутствовал великому князю Алексею Александровичу в путешествии по России. Посетили они и Московскую этнографическую выставку. Великий князь заинтересовался лубочными картинками. Голышев узнал об этом и поспешил

послать ему через Артемьева свои картинки и книжку о Мстёре. Великий князь картинки нашел «чрезвычайно интересными». Особенно ему понравились, сообщал Артемьев, «Поход на Мамая» и «Взятие Очакова».

Теперь уж каждое свое новое издание Голышев посылал Артемьеву в двух экземплярах: для него самого и для великого князя.

После прочтения брошюр о Серапионовой и Борковской пустынях Артемьев писал Ивану Александровичу: «Все это очень любопытно и полезно. При этом мне пришла такая мысль: почему бы Вам, да еще вкупе с К. Н. Тихонравовым, не предпринять полного описания монастырей и приходов Владимирской губернии». Голышев отвечает, что дело это невыполнимое. «Где печатать такое издание? Если посредством Губернской Типографии, то выходит чрезвычайная медлительность, так как типография завалена казенными работами и мелочными заказами… И притом предпринять подобное издание — надобно иметь средства, а они у меня… очень часто останавливают всякое предприятие; и такие издания не могут окупиться у нас в покрытие собственных издержек, — любителей найдется очень мало… Но за всем тем по моей особенной любви к описаниям родного края, насколько будет возможно, если дозволят силы и средства, я постараюсь воспользоваться Вашим советом… В настоящее время я печатаю «Древности Богоявленской церкви в ел. Мстёре»; к этому изданию приложится 20 литографированных рисунков-снимков с древностей. Разумеется, я знаю наперед, что и это издание не покроет материальных издержек, и я печатаю только единственно из любви к старине русской…»

Сначала материал публиковался в «Губернских ведомостях», а уж потом этот же набор использовался для издания в «Трудах» статистического комитета. И в это время можно было сделать отдельные оттиски для себя, сброшюровав их. Для «Трудов» типография печатала бесплатно, для покрытия расходов она и делала оттиски, пока набранные статьи не потерялись. И Голышеву приходилось подолгу жить во Владимире, ловить момент, когда оттиски можно уже использовать для брошюрования. «Только пока бываешь во Владимире, — жаловался Иван Александрович в письме Артемьеву, — дело и двигается и «у переплетчика», и в другом месте, а уехал — опять остановится на точке замерзания». За набор типография не брала и с автора, брала плату только за бумагу, печатание, переплет.

«Я рисую и снимаю разные виды, — жаловался Голышев Артемьеву, — для «Трудов» статистического комитета, которые прилагаю по 200 экземпляров к каждому выпуску безденежно, и

ни за работу, ни за печать, ни за бумагу мне по типографии не имеется снисхождения; Да уж хотя бы не задерживали в отпечатывании…»

Через Артемьева Иван Александрович хлопотал о вступлении в С.-Петербургское археологическое общество. Он уже несколько лет посылал туда свои древние находки, отмечался в «Известиях» этого общества. «Владимир Павлович Безобразов, — сообщал Голышев Артемьеву, — когда я был в Петербурге, обещал, чтобы записали меня в члены общества, но, полагать надобно, запамятовал. Покорнейше прошу Вас, если только возможно и незатруднительно Вашему Превосходительству, не оставьте предложить меня в члены этого Общества, а я со своей стороны по силе и возможности постараюсь быть не номинальным членом и оправдать Ваше обо мне предложение…»

ГЛАВА 3 Делегат первого археологического съезда

Собирайся, дружище, едем на съезд археологов в Москву, — говорил, обнимая приехавшего на очередное заседание статистического комитета Голыше-ва, Константин Нититич Тихонравов.

— Как?

— Так, так, любезный, едешь от статистического комитета, еще я и Артле-бен. Готовься выступать.

— О чем?

— Выбери: об иконописании, офенях… подумай… Там таких людей повидаешь, дружок.

— Да у меня даже костюма приличного для такого случая нет.

— Костюм — наживное дело, время еще есть. Отведу завтра тебя к своему портному, сошьет. Иван Александрович привез во Владимир и жену. Авдотья Ивановна ехала только из-за театра. Заседание статистического комитета было назначено на субботу, а на воскресенье жена Тихонравова Анна Егоровна обещала купить для Голышевых билеты в театр.

Голышеву на этом заседании комитета вручили серебряную медаль «За усердие» для ношения на шее на Аннинской ленте. Потом сам Иван Александрович вручил Тихонравову для музея и библиотеки комитета привезенные книги и литографии. И в заключение Иван Александрович прочитал свою новую статью «Лубочные старинные картинки».

Заседанием было определено: всех благодарить, «в особенности изъявить искреннюю благодарность действительному члену И. А. Голышеву за безвозмездное приношение рисунков его литографии для… «Трудов» статистического комитета — 200 экземпляров», а статью о лубочных картинках, «исполненную большого интереса», опубликовать в 8-м выпуске «Трудов».

16 марта 1869 года в Москве открылся первый в России съезд археологов. Среди ста тридцати его делегатов девяносто было из Москвы и Петербурга, в основном профессиональных ученых, таких, как петербуржцы А. И. Артемьев, А. Ф. Бычков, Н. В. Калачов, москвичи Ф. И. Буслаев, И. Е. Забелин, Д. И. Иловайский, М. П. Погодин, Д. А. Ровинский, было четыре представителя губернских статистических комитетов. Из них трое — владимирцев, «из крестьянского сословия» один Голышев.

Собрался съезд в залах домашнего музея князя Сергея Михайловича Голицына, любезно предоставленного археологам. Заседание шло в главном зале музея, а в двух боковых и библиотеке была развернута выставка. Владимирцы тоже представили на нее «десять предметов старины» из музея статистического комитета, в том числе и дары Голышева. Его находки были и на стеллаже московского археологического общества. Голышев на съезде не отставал от Тихонравова.

— Константин Никитич, — окликнул в перерыве Тихонравова историк Погодин. Они поздоровались дружески. Тихонравов представил ученому Ивана Александровича.

— Слышал, слышал о вас, — пожал руку Голышева Погодин, а потом заговорил с Тихонравовым. — Я книгу закончил о вашем Успенском соборе. Посмотрите, батенька, вы по этой части непревзойденный знаток.

«С чувством особенной любознательности слушал я речи ученых, — вспоминал Голышев, — съезд этот мне представлялся как бы целым рядом лекций для изучающих и вообще занимающихся археологией». Он внимал каждому слову выступающих.

Уваров говорил о массовом истреблении памятников старины:

— Утраты многочисленны, такое разрушение идет быстро, и каждый год уносит с собой некоторые из тех важных памятников старины, которые пополняют пробелы в наших летописях или разъясняют нам все то, что в них недописано и недосказано… еще большая часть из них остается для нас неизвестностью и пропадает совершенно бесследно. Теперь каждый трудолюбивый ученый, снимая рисунок с памятника, описывая его историческое значение для древнего быта России, может думать, тридцать и сорок лет спустя придется спрашивать: где этот памятник? Существует ли он, или он уже совершенно разрушен?

На съезде было «определено» шесть тематических отделений. Каждый делегат волен был выбрать любое. Артлебен, например, как архитектор, сразу остановился на «Древнерусском искусстве — архитектуре». Тихонра-вову хотелось побывать на заседаниях отделения по археологическим раскопкам. Голышев пошел с ним.

Уваров, Филимонов, Иловайский и другие ученые спорили о стилях суздальских и владимирских церквей. Раньше Голышеву казалось, что он вполне разбирается в церковной архитектуре. Теперь он почувствовал, что знания его — ничтожны. Однако заметки его, представленные съезду, были под стать заметкам ученых.

«Некоторыми членами съезда было заявлено, — писал он, —

об истреблении, уничтожении и нехранении вообще памятников церковной древности. Я считаю долгом присовокупить по этому важному предмету и мои некоторые сведения. По заявлению члена съезда графа Михаила Владимировича Толстого, им обращено внимание на несохранение древних икон в Троице-Сергиевской лавре. Если уже означенные памятники не сохраняются тщательно здесь, в этом российском святилище, то что сказать о сохранении их в других местностях России, особенно в провинциях и малых местечках уездных городов?.. Грустно бывает смотреть на совершающиеся истребления старины… Холуйские иконники употребляют древние акты на прокладку икон, то есть свертывают или сминают их шариками и прокладывают ими между икон… Мне пришлось быть у одного заводчика иконописного заведения, так у него я увидел пуды рукописей… Но часто бывает, что замечание любителей старины встречается не только без внимания, но еще и подвергается насмешкам. Мне кажется, что было бы весьма полезно членов археологического общества снабдить инструкциями, по которым бы они могли в некоторых случаях останавливать уничтожение памятников древности следующим способом, который был у меня на самом деле». Он рассказал, как спас древние ризы на иконе Владимирской Божьей Матери и в храмовом образе Богоявленского собора. Удалось это благодаря участию самого преосвященного Суздальского и Владимирского Феофана, к которому вынужден был обратиться Иван Александрович. Однако чаще всего он сталкивался с полным невниманием к своим замечаниям. Кто он? Почему его должны слушаться чиновники и священники? Вот если бы московский ученый сделал замечание…

«Члены общества покровительства животных постоянно преследуют жестокое обращение с животными и частенько представляют к мировым судьям, члены же археологического общества не снабжены никакими уполномочиями к сохранению памятников древностей нашего дорогого Отечества. Представляю взгляд мой и мнение на усмотрение археологического съезда».

Академик Погодин выступил на съезде с большим докладом «Судьбы археологии в России». Он поведал всю историю археологии, назвал главных ее исследователей и разобрал их работы. Он тоже много говорил о необходимости защитить старину:

— Должны быть придуманы меры или указаны средства, как сохранить уцелевшее, как отыскать затерянное, как употребить в пользу науки найденное… Одно описание памятников бесплодно: нужно их объяснение, указание их отношений ко всему современному им порядку вещей.

Поэтому, подчеркивал Погодин, археолог должен прекрасно знать историю. Древняя Русь не хотела знать никакой мирской науки, думала только о спасении души, недооценивала свою историю. С Нестеровой летописью, например, Петр I познакомился за границей, переписал ее в Голландии, тогда как в России были лучшие ее списки. Древние документы в монастырях лежали «погруженные в глубокий сон». Теперь, когда к ним появился интерес, хранители испугались ответственности за плохую сохранность этих ценностей и принялись или припрятывать их подальше, или сбывать с рук, а то и вовсе уничтожать. Позднее письменные памятники научились хранить, а вещественные продолжали истреблять беспощадно, образа подправлялись, иконостасы перестраивались, старые окна расширялись.

Погодин отметил, что древности Владимира «нашли трудолюбивых писателей в г. В. И. Доброхотове и К. Н. Тихонравове». И еще раз упомянул Владимир:

— Издания некоторых статистических комитетов по обилию материалов имеют право на почетный отзыв, например, Владимирского, Ярославского, Нижегородского, Симбирского и Костромского.

Оказалось, что одним из первых провинциальных органов, обративших внимание на местную археологию, были «Владимирские губернские ведомости». Говорили, что владимирские Золотые ворота, памятник семисотлетней давности, «сохранился отлично», вспоминались валы Владимира, и Уваров свое выступление посвятил археологическим находкам на Владимирской земле.

Владимирцы сидели именинниками, их все поздравляли:

— Ну, владимирские, на всех заседаниях вас поминают!

— Диво ли?! Старина там на каждом шагу. Вашими стараниями да сохранена будет!

— Памятники, — продолжал Погодин на следующем заседании, — это не только памятники Петру I и Минину с Пожарским, — это и узкое окошко в церковной стене… линия в резных или лепных украшениях, какая-то дверь, лоскуток заскорузлой кожи… глиняная вещь или медный крестик… старый кирпич, — такие памятники в некоторых случаях более драгоценны, нежели золотое монисто или серебряное ожерелье. Верные понятия об археологии отсутствуют часто в высших лицах, и в архиереях, и в губернаторах… Я сам видел, как в Кириллове монастыре, в святых воротах, заезжий маляр переписывал образ великой княгини Ольги. Из монастырей возами вывозились древние акты. Пергаментными листами

заклеивались окна…

Он предлагал читать лекции по археологии в гимназиях, издать общедоступное обозрение предметов русской археологии, историческое описание примечательных городов. Предлагал платить «находчикам» старины вдвое «против вещественной цены металла».

Съезд ставил задачей «сблизить разрозненные пространством ученые силы». Ему это удалось. Голышев много друзей приобрел на этом съезде и будет потом с ними переписываться и встречаться.

На съезд крестьянина пригласили, но к устроенному в конце его «пиршеству» не позвали. Оно было только «для членов — сильных мира сего». Это задело самолюбие Голышева, но все-таки общее впечатление от съезда было прекрасным.

На съезде Голышев познакомился с нижегородским делегатом Александром Серафимовичем Гациским. Возвращались домой вместе. Оказалось, что обоим по тридцать.

— О, я на две недели вас старше, — смеялся Гацис-кий, — радуясь знакомству с молодым коллегой.

Гациский, так же как Голышев, печатал в своих «Губернских ведомостях» статьи по этнографии и археологии.

— Учеными делами можно нажить только котомку за плечами, — шутил он. — Вы в Нижнем бываете?

— Бываем, на ярмарку ездим.

— Так я живу на Студеной улице, в своем доме, номер восемнадцать, прошу пожаловать.

1869 год, начавшись для Голышева с награды серебряной медалью, принес ему еще множество благодарностей и подарков.

Путешествующему по России цесаревичу Александру Голышеву преподнес на Владимирской станции свои сочинения, и теперь, в благодарность за них, наследник прислал Ивану Александровичу золотые часы и древние шейные панагии с крестом. А брат его, великий князь Алексей, «глубоко сочувствуя постоянным и плодотворным трудам» Голышева «по подъему народной педагогики» и за поднесение «весьма редких лубочных старинных картин и брошюр», изъявил благодарность.

В октябре же пришли во Мстёру сразу две медали Голышевым: отцу и сыну — за их деятельность в обществе православного братства.

ГЛАВА 4 Переезд в новый дом

В июле во дворе пусто, да в поле, на грядках густо. Июль — грозник и сено-зарник, макушка лета.

Запахло и во Мстёре свежим, душистым сеном. Возы с крутыми боками сваливали у ворот, и вся семья, от мала до велика принималась укладывать, утрамбовывать сено в сенники, на сушилах.

И летом, в разгар сельскохозяйственных работ, не останавливались в слободе производства. Потому и справляли во Мстёре сенокос наемными рабочими, крестьянами из окрестных деревень. И в огороде в июле — страда. Полют

гряды, собирают ранние овощи. В какой огород ни загляни, с утра раннего белеют женские головные платки, спозаранку сверкают в бороздах голые пятки ребятишек. Да надо еще и в лес с лукошком сбегать. И уж тянет к вечеру из печи сладким запахом черничного пирога. Всю неделю в трудах праведных, спинушку не разогнешь, сто потов под палящим солнцем спустишь, а в субботу похлещешься в баньке березовым веничком, смоешь недельную тяготу и — бодро тело, весел дух. Открываются сундуки с девичьими нарядами. Выбирают девицы, какое платье надеть.

Когда хорошо работается, хорошо и отдыхается. С восьмого июля, с Казанской, начинались во Мстёре традиционные девичьи гулянья вокруг слободы.

В первый день гулянья положено было надевать платья хоть и новые, но — ситцевые, простенькие. Пусть рассмотрят парни девушек сперва в естественной красоте. На второй праздничный день девицы принаряжаются уже в кисейные платья, потом — в шерстяные. А уж дальше — по достатку — в самые лучшие и дорогие, в шелковые и штофные.

Лишь в конце гуляний допускалось это, по достатку, разнообразие. В первые же дни девушки, а туляли они «артелями», договаривались промеж себя, ка) ая во что оденется, чтобы ни одна не моглг обидеть, затмить своим платьем другую. И каждая боялась оказаться наряднее своих подруг.

Не только парни отправлялись посмотреть на девичьи гулянья, но и вся взрослая и старая Мстёра высыпала на улицы, шла за околицу и рассаживалась, кто где, вдоль прогулочной девичьей тропы.

Девушек и не выпускали даже на гулянье одних. Сопровождала их обычно замужняя женщина, родственница одной из девиц. Бывало, такую «соглядательницу» девушки и специально нанимали.

По шесть — десять девиц, в два-три ряда, молодежные компании фланировали вокруг Мстёры. Впереди, чуть поодаль, чтобы не мешать девичьим разговорам, шла «соглядательница». В первом, почетном, ряду, особенно справа, были места девиц познатней да побогаче, а уж следом шли остальные.

— Ой, гляньте, как девицы Киреевы созрели! — восклицали старшие мстеряне. — А Настасья-то Парамонова, словно маков цвет, расцвела.

И ползли молва да пересуды от скамейки к бугорку, на которых расселись зрители, от взгорка к лавочке.

Девичьи гулянья продолжались до самого Успеньева дня — до пятнадцатого августа.

А у Голышевых в августе — традиционный день офеней. До 850 000 картинок в год выпускало уже их заведение. Восемь человек работали в нем 240–250 дней в году. 182 дома, свыше 300 человек раскрашивали печатные картинки, в основном девочки и девушки от 10 до 20 лет. Большинство картинок Голышев рисовал сам: сюжеты из Ветхого и Нового заветов, аллегорическое изображение праздников, молитв.

— Мне Клариньку с собачкой, уж больно умильная парочка, — просил офеня Матвей Корягин, набирая картинок в дорогу.

Хорошенькая девочка с распущенными волосами и большим бантом гладила собачку. Любили крестьяне украшать стены такими головками. Эта картинка шла в паре с «Добрым товарищем»: в узорчатой рамочке — мальчик, похожий на ангелочка, сидел с кошкой.

В этой же серии Голышевы выпускали «Маленькое семейство» — тоже в цветастой рамочке, ребенок и крольчиха с крольчатами. И еще сдвоенная картинка подобного рода: юный наездник с луком на кудрявом коне и «забавный ездок» — отрок, едущий на козе.

Лучше всего расходились картинки религиозного содержания: «Николай Чудотворец», «Иисус поразил антихриста», изображение церкви Христовой в виде корабля, плывущего по морю, где его преследуют еретики, «Великомученица Параскева-пятница», изображения святых угодников. По-прежнему в огромном количестве расходились картинки-портреты царей и императоров, сказки и былины. Эти картинки шли из года в год в первоначальном виде, не перерисовывались, а расходились сотнями

тысяч.

Иван Александрович выпускал и потешно-сатирические картинки, и мистико-развлекательные, типа «Магическая стрела,

или Вернейшее гадание на картах». Это уже была маленькая книжица, отпечатанная тем же способом, что и картинки, и особым образом сложенная. Или «Ступени человеческого века»: «В 10 лет — дитя, 20 лет — юноша, 30 лет — муж, 40 лет — деловой человек, 50 лет — спокойствие, 60 — приближение старости, 70 — старик, 80 —хворый, 90 — труд и болезнь, 100 — особая милость божия».

Народу нравились такие незамысловатые книжонки. И наконец — гадальные книжки. Тут уж пожелания-предсказания были на любой вкус: шестерка бубновая — веселая дорога, восьмерка — получите известие, которое вас обрадует… И уж как игра: «возьми зерно, брось в середину сияющего круга с числами, на какое число упадет зерно, то под тем же числом читай ответ».

Тут и хорошие ответы: «блюди незлобие и не осуждай других», «уныние — грех страшный», «гордый богу противен», «кротостью побеждай врага своего», «исполнится твое желание, если похоронишь и гордость, и самолюбие, и скоро получишь более того, нежели думаешь», «если ты не переменишь своего крутого нрава, ожидай болезни», «девушка гуляй, а дельце помни», «не торопи жизнь, придет время, что ты получишь, к чему стремишься»…

И хотел бы Голышев влиять на развитие вкуса народа содержанием и качеством своего товара, да мало мог.

— Возьми побольше литографий и вот — классических картинок со стихами, — предлагал Иван Александрович офене Василию Краснову.

— Да куды — побольше?! — отнекивался Василий. — Сколь я этих «литографий» да «праздников» продам в день? Десяток, не боле. И хошь она подороже, а барыша даст мене, чем тыща в день проданного «простовика» дешевого. Вот и посчитай, чево мне лучше брать в дорогу, Лександрыч.

Литография могла существовать только при условии скупки товара офенями. Кроме них, сбывать картинки в таком количестве во Мстёре было некому.

Иван Александрович торопился со строительством нового дома, чтобы быстрее уехать от отца.

Наконец строительство было завершено. Дом, как и задумали, был прост, но все-таки казался настоящим дворцом по сравнению со старым. Двухэтажный, обитый тесом, в пять окон по фасаду, он чудно пах свежим, еще живым деревом.

Две наружные ступеньки под украшенным железной резьбой козырьком и крутая внутренняя лестница парадного вели сразу на второй этаж, к жилым комнатам, терраске, с большим итальянским окном над парадной дверью, многочисленным

чуланам и кладовкам.

На первом этаже разместили литографию, книжную лавку и комнату для гостей. К ним вел вход со двора. Там же была еще одна, черная, винтовая лестница наверх.

Радости четы Голышевых не было предела. Иван Александрович заимел теперь свой кабинет: небольшой, всего в два окна, глядящие на Мстёру. В красном углу Иван Александрович разместил большой иконостас со старинными иконами, дедова еще письма, который отец отдал ему на радостях переселения. Между окон Иван Александрович поставил письменный стол. Со зрением у него становилось все хуже и хуже. Слева от стола вся глухая стена была занята сделанными на заказ шкафами. В них теперь разместились книги, старинные акты и рукописи.

Покрашенные полы застелили половиками, и шаги стали совсем не слышны, что для Ивана Александровича тоже было немаловажно, так как он любил ходить, обдумывая свои писания. Теперь его шаги не будут беспокоить жену.

Неутомимый на выдумку, Иван Александрович соорудил внутренний телефон. Железная труба, с воронками на обоих концах, шла сквозь пол из его кабинета в литографию. Очень удобно: не отрываясь от работы, можно было связаться с рабочими литографии. Авдотья же Ивановна подобным образом связывалась с кухаркой, кухней, расположенной как раз под столовой.

Дом с участком сразу прозвали во Мстёре Голышев-кой Пока он стоял на пустыре, и Голышевы тут же принялись обихаживать его. Сделали гряды, планировали, как посадить фруктовый сад, березовую рощу. Но все это — постепенно, не в ущерб занятиям Ивана Александровича.

Когда Иван Александрович с женой впервые остались вдвоем ночевать в новом доме, затихшем после ухода Александра Кузьмича и помогающих в переезде рабочих, то обнялись, поздравляя друг друга, и всплакнули от счастья.

ГЛАВА 5 «Древности Богоявленской церкви»

Конец лета. 28 августа — осенины, солнце засыпает, но с утра еще — ясно.

Иван Александрович с рассвета сидел за письменным столом. В раскрытое окно лился с пустыря пряный запах полыни. Где-то рядом, в поле, озабоченно прокричали журавли. «Наверное, деток наставляют, готовят к дальнему пути», — подумал Иван Александрович.

Авдотья Ивановна с кухаркой спозаранку отправились по грибы. Рабочие в литографию еще не пришли. Тихо в доме. Хорошо, легко работается.

Вдруг заунывная песня послышалась со стороны Мстёры, стала приближаться, и вот уже показалась шеренга, человек в десять, — калики перехожие, слепцы. Шли они, держась друг за друга, и пели грустную, щемящую душу песню:

Кому повем печаль мою? Кого призову к рыданию?..

Первый из них держал в руках берестяной бурачок для милостыни.

Иван Александрович уже не раз слышал «Плач Иосифа Прекрасного» и давно собирался записать его. Он вышел навстречу окруженным уже детьми слепцам, позвал их к себе во двор, усадил за стол, сам поставил самовар.

Слепцы с удовольствием угощались, рассказывали о своих судьбах и путях-дорогах, продиктовали Голышеву свою песню, потом спели еще «Плач Адама и Евы». Иван Александрович и его записал. А позднее, с комментариями, опубликовал их в губернской газете.

Настоящее удовлетворение приносили теперь Голышеву только археологические изыскания. «Составленное мною исподволь, в продолжение 2–3 лет, издание древностей Богоявленской церкви… встречено было с особенным участием любителями отечественной старины», — писал он. «Древности Богоявленской церкви в слободе Мстёре» вышли в 1870 году. Шестьдесят страниц текста и двадцать прекрасных рисунков-литографий внутреннего вида храма, его старинных предметов, церковной утвари и книг. Он снова подробно описал свою Мстёру для тех, кому не досталось первой книжки, и особенно досконально — церкви, главные иконы их и ризницы, надгробия и старинные могильные камни. Отлично сумел передать красоту каждого древнего культового предмета.

Через губернатора Самсонова он послал новый альбом императору и наследнику. Император откликнулся «высочайшей благодарностью», цесаревич прислал пятьсот рублей серебром. Великий князь Владимир благодарил «за ученые и художественные труды и многолетние занятия, которые радуют сердце каждого истинно русского человека», изволил обратить внимание на «прекрасно исполненные рисунки древней Богоявленской церкви ел. Мстёры» и прислал в подарок золотые часы. Граф Панин отблагодарил своего бывшего крепостного за «Древности» серебряной кружкой, а новый владелец Мстёры, граф Комаровский, писал, что ему «чрезвычайно приятно было увидеть этот замечательный труд», и называл альбом о древностях Богоявленского храма поистине роскошным, выражал уверенность, что издание «не пройдет незамеченным»: «Изыскания и история оной церкви составлены очень добросовестно и хорошо. Дай бог, чтобы Ваши труды на художественном поприще не прошли бы безвестными для окружающих Вас жителей Мстёры и чтобы Ваш пример животворно и просвещенно подействовал на окружающую Вас среду».

Однако односельчане читать «замечательный труд» своего земляка не собирались. Отпечатал Голышев всего двести экземпляров альбома, предвидя, как трудно его будет продать. Сто экземпляров отдал в пользу церкви Богоявления безвозмездно. Подарил альбом своим важным знакомым в Москве и Петербурге. Хотел часть издания продать. Разослал местным знакомым и некоторым зажиточным староверам, но продал только пять экземпляров трехрублевых альбомов, отпечатанных на простой бумаге.

Московский книготорговец Манухин, поклонник сестры Катерины, будучи во Мстёре, взял с собой в Москву на комиссию десять экземпляров «Древностей» и «Лубочных картинок» да и вернул спустя время обратно запачканными и измятыми.

Денежные расходы на альбомы, таким образом, не оправдались, а прекрасных отзывов было хоть отбавляй. Секретарь императорского русского географического общества барон Ф. Р. Остен-Сакен писал, что издание «заслуживает полнейшего внимания, как по интересу предмета, так и по изяществу и основательности исполнения». Профессор Казанский откликнулся: «Своим трудом Вы дали историческую известность Вашему храму, употребив так много труда и вместе с тем, конечно, много и денежного пожертвования, на подобные издания не решаются, опасаясь издержек, и Соборы Столичные». «Русские ведомости», делая обзор новинок, отмечали: «Первое место, без

сомнения, должны занимать рисунки древностей Богоявленской церкви Владимирской губернии Вязниковского уезда в слободе Мстёре… Художественная сторона издания очень хороша и может поспорить со многими столичными литографиями».

В том же 1870 году вышла еще одна брошюра Голышева, а по существу — монография: «Лубочные старинные народные картинки, происхождение, гравирование и распространение, с тремя рисунками».

У русского лубка история была богатой. Особенно широкое распространение он получил в конце XVIII столетия и после войны 1812 года.

Народу лубочные картинки полюбились: они позволяли в каждой избе устраивать картинную галерею, приносили в самые глухие уголки России любопытные сведения, а то и свободный взлляд на царское правление.

Потому не очень поощрялось печатание лубка власть имущими. Преследуемы были народные картинки окружною грамотою 1674 года патриарха Иоакима, указом 1721 года Петра I, указом 1744 года Святейшего синода… Но все-таки до Николая I печатание картинок шло без цензуры. Николай I урезонил печатников, но лубок продолжал здравствовать, технология печати картинок совершенствовалась.

Голышев подробно описал все эти способы печати, а потом перешел к подробному рассмотрению прежних, теперь редких, картинок.

Как-то офеня привез ему из дальних краев деревянную доску, по краю ее вилась полустертая славянская вязь, нравоучительное сказание-изречение о двенадцати добрых друзьях, с которыми человек не должен расставаться: это — правда, чистота, любовь, труды, послушание, смирение, воздержание, рассуждение, неосуждение, покаяние, молитва, милость. «О человече, имей сих 12 другов, зело много добра ими получиши, его же и не чаеши, воздадут тебе сугубо не во сто но паче тыся-ще». Рисунок-отпечаток с этой доски был приложен к книге.

Потом Голышев рассказал еще о пятнадцати прежних картинках, выгравированных на меди. В «Аптеке духовной» предлагался такой рецепт врачевания грехов: «возьми корень нищеты духовныя, на нем же ветви молитвенные процветают цветом смирения, изсуши его постом, воздержанием, изотри терпеливым безмолвием, просей ситом чистой совести; всыпь в котел послушания, налей водою слезною, и накрой покровом любви, и подпали теплотою сердечною, и разжется огнь молитвы, подмешай капусты благодарения и уваривши довольным смиренномуд-' рием влей на блюдо разсуждения… и часто

прикладай на раны сердечныя и тако уврачуеши болезни душевныя от множества грехов».

Следом шли картинки со стихами «Голландский лекарь и славный аптекарь», «О глупой жене», «Сказка о воре и бурой корове», «Назидательный урок матерям», новый вариант картинки «Мыши кота погребают»…

Замыкал монографию «Синодик гравера XVII века Василия Андреева». Книга предназначалась для исследователей и коллекционеров лубка. Разослав издание по своим знакомым, Голышев получил прекрасные отзывы о монографии.

ГЛАВА 6 Горестный и счастливый 1871 год

Переезд в новый дом не освободил Ивана Александровича от деспотизма отца и семьи. Александр Кузьмич посчитал и этот дом своим, по-хозяйски распоряжался в нем. Худшие черты его характера с возрастом усугублялись. Все в сыне теперь раздражало Голышева-старшего. Его ученые занятия, неокупаемые издания, обрушившаяся на сына слава. Раньше, бывало, литография считалась фирмой Голышевых, и награды отцу и сыну давали одинаковые. Теперь в печати отца даже не упоминали, называли хозяином Голышева-младше-го. Все награды шли ему. Раздражало его даже то, что сын с невесткой живут ладно, горой стоят друг за друга.

Сестра Катерина, без спросу у брата, тоже поселилась в новом доме, стала просить у отца и землю выделить ей на новом участке.

*Иван Александрович с женой впали в отчаянье. «Я дожил, слава богу, до таких лет, которые имеют потребность в самостоятельности, в свободе воли, в свободе действий, в свободе мыслей, — писал он Тихонравову, — а тут, наоборот, отец делает из меня школьного мальчишку, постоянный какой-то надзор, постоянное преследование… я терпел и терплю, но, терпя, терпя, и камень лопнет… не может быть тягче, когда свяжут у кого-либо свободу и отнимут всякую волю, это то же самое: „пой, птичка, пой"».

Тихонравов, Протасьев советовали не уступать Катерине и отцу. Дом и земля — на Иване Александровиче, он их законный хозяин.

Но когда молодые Голышевы объявили о своем решении не выделять в доме долю Катерине, жизнь их превратилась в сущий ад.

Александр Кузьмич демонстративно принялся переводить торговлю обратно в старый дом, хотел было и литографию вернуть, но Иван Александрович не позволил.

Они с женой усердно обихаживали новый участок, и он вскоре же стал давать хороший доход. Александр Кузьмич потребовал у сына, чтобы тот отдавал и эти деньги ему, выплачивая таким образом затраченную на покупку земли сумму, и буквально лез в драку, отнимая у сына деньги.

Чтобы не скандалить, молодые Голышевы смирились и с этим. Но Александр Кузьмич, державший торговлю в своих руках,

перестал выделять сыну деньги. За всякой копейкой, сапожнику заплатить или портному, приходилось идти к нему с поклоном.

— Плохо быть честным человеком, — сетовал Иван Александрович в разговоре с женой. — Надо было утаивать потихоньку из доходов, и не бедствовали бы мы с тобой сейчас.

— Плохо говоришь, милый, — успокаивала его жена, — обманом весь свет пройдешь, да назад не воротишься. Чистая совесть не угрызает сердца.

— У него — все, а я — бедный батрак.

— Ничего, может, как-нибудь устроится.

Помочь вызвался Константин Никитич Тихонравов. Он велел Ивану Александровичу писать в статистический комитет прошение о присвоении ему звания почетного гражданина. Оно, если хлопоты удадутся, освободит Голы-шева от мстёрского общества, а потом и от отцовской зависимости.

— Возможно ли? — сомневался Иван Александрович.

— Думаю, что да, — подбадривал отчаявшегося Ивана Александровича Тихонравов. — Опишите только все свои заслуги.

Голышев уселся писать: сделал три тысячи рисунков к «Трудам» статистического комитета, почти полторы сотни статей и заметок опубликовал в «Губернских ве-домохозяин». И вместо «всяких наград» за свои труды дарено в сельские школы, склад книг комитета грамотности, открытый во Мстёре, комиссионерство при священном синоде…

«Мои отношения совершенно исключительны от всех прочих крестьян слободы Мстёры, — заканчивал Иван Александрович свое прошение, — и я не имею с ней ничего общего, как отдельный землевладелец и особняк домохозяин». И вместо «всяких наград» за свои труды он просил «освобождения из крестьян». Его в это время хотели избрать во Мстёре в старшины, но он отказался, чтобы не иметь никаких обязанностей перёд мстёрским обществом.

Александр Кузьмич, узнав о хлопотах сына, еще больше взъярился, оставив его вообще без копейки. «Верчусь, как рак на мели, — писал Иван Александрович Тихонра-вову, — начинает Душа продавать лишнее платье, не грустно ли?» Когда Иван Александрович посылал рабочих к отцу за деньгами, тот куражился:

— Коль ему нужны деньги, пусть сам придет.

Или посылал с Катериной сыну рубль, да наказывал еще:

— Пусть Иван пришлет мне полный отчет, куда этот рубль потратил.

Уже ходили по инстанциям бумаги с ходатайствами об освобождении Ивана Александровича, в хлопоты включились все

владимирские и столичные его друзья, надо было набраться терпения…

22 февраля 1871 года на годичном собрании статистического комитета Голышев отчитывался о своей работе в комитете за десять лет. Перед заседанием он беседовал с губернатором, говорил, что отец не дает согласия на выход из крестьянского звания, губернатор обещал уладить это, а после заседания «как-то особенно» пожал Голышеву руку и сказал: «Будьте покойны». Взволнованный возвращался Иван Александрович домой, но Авдотья Ивановна встретила мужа в слезах.

— Старик? — спросил Иван Александрович жену, та согласно кивнула, и Иван Александрович опять впал в меланхолию.

Время тянулось медленно. Тихонравов, обещавший сообщать о ходе дела, молчал. Отец по-прежнему неистовствовал. Зима 1871 года была суровой: сильные морозы, вьюги, метели. Молодые Голышевы хворали. Холодно было еще и на масленицу. Только к концу апреля потеплело.

Двадцатого апреля» Иван Александрович работал в литографии, когда пришла Татьяна Ивановна и сообщила ему, что приехал Тихонравов, остановился у них в старом доме.

Иван Александрович отчаялся: «Что бы это значило?! Почему Константин Никитич вдруг остановился у отца? Боится сообщить мне печальную весть? Тогда зачем сообщать ее отцу?»

— О чем толкуют тятя с Тихонравовым? — пытал Иван Александрович мать.

— Да веселый Константин Никитич, а об чем калякают — не уловила, со мной все шутил и руку целовал.

— Веселый? — воспрянул духом Иван Александрович.

— Да, балагурит Никитич, а меня послал к тебе…

Разговор, говорит, будет у нас сурьезный.

Тихонравов приветствовал их с Авдотьей Ивановной сдержанно. И Иван Александрович опять подумал о неблагоприятном исходе своего дела.

— Я мимоездом, — говорил Тихонравов. — Не известно ли чего из Петербурга?

Иван Александрович пожал плечами и сказал:

— Было только письмо от Безобразова, из которого ясно, что дело мое едва ли возможно.

Тихонравов расспрашивал Александра Кузьмича, как идет торговля, можно ли ею прожить безбедно. Проговорил целый час. Иван Александрович стал приглашать Тихонравова к себе. И тут, хитро улыбаясь, Тихонравов сказал, что послан сюда губернатором, и вручил Ивану Александровичу уведомление о том, что «по всеподданнейшему докладу г. министра внутренних

дел Государь император всемилостивейше пожаловал» его званием личного почетного гражданина.

«Не помню, в каком состоянии я тогда находился! — вспоминал Иван Александрович. — Как ребенок, со слезами бросился обнимать г. Тихонравова; жена моя залилась слезами; все знакомые порадовались моему счастью… Один только отец весьма сухо отнесся к радостной вести».

Вечером в Голышевке собралось застолье. Пришли поздравить Ивана Александровича родные и друзья, выпили за новоиспеченного почетного гражданина. Александр Кузьмич застольем пренебрег.

— Не серчай на отца, — старалась Татьяна Ивановна сгладить мужнино недовольство, — подумай, он, чай, всю жизнь об этом мечтал, да не вышло, а ты без его помощи высвободился…

Когда Иван Александрович через два дня засобирался ехать во Владимир, чтобы поблагодарить губернатора лично, Александр Кузьмич отказался дать ему денег на дорогу и, усмехаясь, ерничал:

— Ну, что, почетный гражданин, ни копейки за душой?!

Авдотья Ивановна поехала с Иваном Александровичем до Вязников, чтобы там взять у своих денег в долг.

Пока Иван Александрович ездил во Владимир, во Мстёру пришло множество писем-поздравлений от его столичных друзей, хлопотавших по делу. А потом почта донесла и «высочайшее повеление» об исключении И. А. Голышева из крестьян мстёрских и причислении его к Вязникам.

И долгожданная свобода не защитила Ивана Александровича от деспотизма отца. Александр Кузьмич всячески срамил сына на людях, чтобы побольнее ударить его.

«Наконец сил моих не стало, — вспоминал Иван Александрович. — Улучив удобную минуту, я поведал обо всем соседу, помещику Е. И. Протасьеву, занимавшему в то время должность мирового судьи. Он уже знал о моем положении… знал также, что отец мой все делает из зависти и самодурства. Небезызвестна ему была и любовь моего родителя к кляузным делам. Е. И. Протасьев присоветовал съездить во Владимир — поговорить с прокурором окружного суда, хорошим моим знакомым, Н. А. Трохимовским». Иван Александрович решил написать прокурору.

В августе Иван Александрович ожидал столичных гостей. По просьбе Артемьева должен был встретить возвращающуюся с Нижегородской ярмарки чету Майковых. Леонид Николаевич Майков был младшим внуком директора императорских театров,

поэта и комедиографа. Дворянство Майковых было древним. Иван Александрович волновался в ожидании знатного гостя. Поезд из Нижнего должен был прийти после обеда, а утром Иван Александрович разложил на столе бумаги, собираясь дописать начатое ранее заявление прокурору о происках отца. Вдруг на улице закричали:

— Пожар! Мстёра горит!

Обеспокоясь за родителей, Иван Александрович с женой бросились во Мстёру. Пожар случился небольшой, и далеко от отцовского дома, но молодые Голышевы замешкались во Мстёре и отправились на станцию встречать гостей, не заходя домой..

Супружеская пара Майковых оказалась очень милой и обходительной. Майкова интересовали ремесла мстерян, Голышевы им все показали. Потом они сводили гостей в Богоявленский храм, посидели в Голышевке за столом. Майковы заторопились к вечернему поезду, и Голышевы поехали провожать их на станцию. Но на вечерний поезд гости уже опоздали, уехали только ночным, и Голышевы возвращались домой в два часа утра.

— Ванечка, а в твоем кабинете свеча горит! — удивленно воскликнула Авдотья Ивановна, когда они подъехали к дому.

Иван Александрович тоже был в недоумении. «Отец!» — мелькнула у него в голове страшная мысль. И он вспомнил, что, торопясь на пожар, оставил на столе бумаги, чего уже давно не делал, так как отец, в его отсутствие, неизменно рылся в них.

Иван Александрович бросился в свой кабинет.

— Вернулся?! — с усмешкой встретил его Александр

Кузьмич. Он по-хозяйски сидел за столом сына. Все ящики стола были выдвинуты, а содержимое их перерыто.

«Он перебрал все, что у меня было, — вспоминал Иван Александрович, — ни одна бумага не осталась нетронутою; самую же главную, заготовленную для прокурора, он взял к себе и вместе с нею крепостной акт на землю. Со злой усмешкою, однако, сказал мне, что ничего не взял… и отправился в свой дом».

Это был полный разрыв. Александр Кузьмич стал уносить из дома сына все, что ему вздумается, перехватывал и читал все приходящие на имя Ивана Александровича письма.

Мировой судья, помещик Протасьев, все-таки уговорил Александра Кузьмича не доводить раздел с сыном до суда, вынудил отказаться от преследований сына, «оставить самоуправство». Ивану Александровичу он советовал взять у отца товару «на хорошую сумму».

«Я сделал уступку, — писал Иван Александрович, — не только не взял товара, но и ничего; одна его… подписка о

невмешательстве в мои домашние и хозяйственные распоряжения — прекратила наши столкновения. При этом отец долго не успокаивался и хотел преследовать меня, но губернские власти вразумили, что во всем виноват он, а потому мы и остались — каждый при своем».

Так в тридцать три года Иван Александрович начинал жизнь заново. Добрые люди, в том числе Осип Осипович Сеньков, дали ему взаймы, другие открывали кредит по книжной торговле. «Я стал вести расчетливую жизнь, — вспоминал Иван Александрович, — и хотя не имел денег, но имел душевное спокойствие. 1871-й год сразу избавил меня от двух тяжелых гнетов: крепостного и семейного».

ГЛАВА 7 Старинные пряничные доски

Тихо и спокойно стало в Голышевке по вечерам, когда затихал стук литографских станков и солнце большим багровым шаром скатывалось в болото за синим лесом.

Александр Кузьмич больше не надоедал сыну, зажил своим хозяйством. Татьяна Ивановна наведывалась и передавала мстёрские новости.

Голышевка обживалась. Рядом с домом разбили цветник, за ним насадили большой фруктовый сад, а вокруг него живую изгородь из боярышника. Из белой персидской сирени, шиповника и жасмина соорудили в саду «комнаты» — беседки. Три липово-кленовых аллеи спускались к реке, до самого заливного луга, а между ними полянки были сплошь засеяны анютиными глазками. Построили теплицы. Замечательной становилась усадьба, удовольствие для глаз, отрада для сердца, и доход уже давала неплохой.

Крестьянское хозяйство было небольшим: корова, лошадь, десяток овец да куры. Зато всяких нахлебников по-прежнему хоть отбавляй: собака Лайка, селезень с подбитым крылом, пара кошек и пернатая дичь, пресмыкающиеся твари.

Авдотья Ивановна так больше и не беременела. Это было настоящей трагедией для них обоих, очень любящих детей. В общем-то, в их доме всегда звучали детские голоса: заходили дети братьев и сестер, ученики рисовальной школы. Потом Авдотья Ивановна увлеклась обучением рукоделью девочек из училища, открытого при братстве.

«Детьми Бог меня не наградил, — писал Иван Александрович в «Воспоминаниях». — Я решился приблизить к себе посторонних лиц, чтобы направлять по своему пути и чтобы они заимствовали у меня полезное занятие». Сначала он взял на воспитание своего племянника

Ивана Тюлина, сына двоюродной сестры Анны, рано потерявшей мужа и обремененной большой семьей. Иван Тюлин помогал ему по литографии, писал под его руководством статьи в губернскую газету

Позднее Иван Александрович также покровительствовал крестьянскому мальчику из Холуя Коле Сивкову, делающему успехи в рисовании.

Авдотье Ивановне хотелось девочку, и Голышевы взяли в дом дочь сестры Ивана Александровича, Катерины, маленькую

красавицу Симочку, Сеночку. Авдотья Ивановна полюбила девочку как родного ребенка.

Самыми счастливыми часами жизни молодых Голыше-вых были зимние вечера, когда они со своими воспитанниками собирались в столовой за большим обеденным столом.

Столовая была самой просторной комнатой в доме. Вдоль глухой стены ее тянулся большой, без стекол, книжный шкаф, который шел далее в кабинет Ивана Александровича. Над столом висели две гравюры «Распятие Христа» работы итальянского художника, которыми хозяин дома очень дорожил. Огромный маятник больших, в деревянном футляре, часов глухо отстукивал время, наполняя комнату уютом. А когда часы начинали бить, казалось, что со Мстёры доносится приглушенный колокольный звон.

В столовой было полно занимательных для молодых людей «снарядов»: барометров, измерительных приборов и других разных новинок, которые по-прежнему покупал всюду Иван Александрович.

Стол стоял посреди столовой в окружении десятка венских стульев. Собрав сюда все свечи, за столом работали и хозяева, и воспитанники.

Николай Сивков рисовал, Иван Тюлин писал очередную статью для губернской газеты о машинопрядильном производстве вязниковского купца Демидова, а Иван Александрович готовил к публикации грамоту 1721 года князя Ромодановского своему мстёрскому бурмистру «о поставке на государеву Московскую парусную фабрику равендуковой пряжи».

Переводя древнюю грамоту со старославянского, Иван Александрович поглядывал на своих воспитанников. Иван Тюлин уже опубликовал в газете очень любопытные статьи — о старых мстёрских обычаях подавать тайную милостыню, о средстве истребления мышей мальчиками, о семике — и считал себя опытным корреспондентом.

Прежде, еще до цензуры, картина лубочная такая была. А потом указ Синода прекратил ее существование. Иконы такие до сих пор по заказу пишут, и они в большом ходу. И это изображение — старое. Есть несколько вариантов заговоров к нему. Послушай, как звучит один из них:

«При море Черном стоит столп каменн; в столпе сидит святой великий апостол Сисиний и видит, возмутилось море до облаков и выходят из него двенадцать жен простоволосых — окаянное дьявольское видение. И говорили те жены: „Мы трясавицы, дщери Ирода царя". И спросил их святой Сисиний: „Окаянные дьяволы! Зачем вы пришли сюда?" Они же отвечали: „Мы пришли мучить

род человеческий; кто нас перепьет, к тому мы и привьемся, помучим его, и кто заутреню просыпает, Богу не молится, праздники не чтет и, вставая, пьет и ест рано, — тот наш угодник"». А лихорадки сии имена имеют. Огнея тело человеческое распаляет, как печь смоляными дровами. Ледея, словно лед студеный, род человеческий знобит, не согреться от нее и в печи жаркой. Глухея уши закладывает. Ломея кости и спину человека ломает. Пухнея отек пускает. Глядея в ночи человеку спать не дает. Когда я в детстве лихорадкой тяжело заболел, мать молилась: «Во имя отца и сына и святого духа, окаянные трясавицы, побегите от раба божия Ванечки за три дня, за три поприща» — и давала воду с креста пить.

Голышев публикует еще одно исследование: «Изображение икон св. Флора, Лавра, Модеста и Власия и значение этих образов в народе».

Материал для него собирался давно и постепенно. Среди людей, особенно придерживающихся раскола, ходили списки с указанием, какой иконе надо поклониться при той или иной болезни. Иван Александрович изучал их. Пытал свою мать, она рассказывала:

— О прозрении твоем я молилась в восьмой день июля пресвятой богородице Казанской. От зубной боли священномученику Антипе надо молиться, в одиннадцатый день апреля, а женщине от трудного рождения — пресвятой богородице Феодоровской, в шестнадцатый день августа. А ежели возненавидит муж жену неповинно — святым мученикам Гурию, Самну и Авиву, в пятнадцатый день ноября. В Ильин день молятся, чтоб грозой не убило, а о бездождии и о вёдре просят святого пророка Илию, в двенадцатый день июля.

Подробнейшим образом Голышев изучает вопрос. В маленьком исследовании у него ссылки почти на десяток разных трудов. Среди них народные календари, серьезные работы об иконописании и совсем новые публикации художника Д. Струкова. Струков бывал во мстёрской литографии, поддерживал связь с Иваном Александровичем и подарил ему свои книги по иконописи.

В марте 1873 года умер Осип Осипович Сеньков. «Жаль этого полезного мануфактурного деятеля, — писал Иван Александрович В. П. Безобразову, знакомому с Сеньковым, — и, к сожалению, не осталось после него мужского потомства, остался только один сын после умершего же брата, еще молодой человек».

Голышев написал большой некролог о Сенькове, опубликовал его в губернских и епархиальных ведомостях и, сделав оттиск,

выпустил отдельной брошюрой.

Он буквально забросал «Губернские ведомости» своими статьями, так что Тихонравов умолял его подождать: «Всего вдруг нельзя же…»

Писал Иван Александрович о производстве фольговых икон во Мстёре и о медно-отливных образах, о вязни-ковской гостинице и о поимке осетра в реке Клязьме, продолжал публиковать древние акты, наблюдения за погодой, отчеты о действиях местного почтового отделения, о пожарах…

В июне 1874 года Мстёра готовилась к престольному празднику Владимирской Божьей Матери и к ярмарке, которая должна была открыться 23 июня. Мстёрцы к ней приготовили тысячи икон для офеней.

Иван Александрович тоже готовил к ярмарке свой картинный товар. В доме Голышевых было шумно. Приехал Константин Никитич Тихонравов с дочерьми Лизонькой и Варенькой. Константин Никитич последнее время прихварывал и теперь надеялся немножко отдохнуть во Мстёре. Девочки и до того уже гостили у Голышевых и очень подружились с Авдотьей Ивановной и Иваном Александровичем.

Остроумный, веселый, Константин Никитич, где ни появлялся, вносил оживление.

19 июня, за четыре дня до ярмарки, в полдень, молодежь, во главе с Тихонравовым, резвилась и лакомилась созревшими ягодами в саду. Иван Александрович с рабочими литографии увязывал во дворе стопами картинки, собираясь отвезти их в свой небольшой склад в торговых рядах на базарной площади Мстёры.

День был яркий, солнечный, но сильно ветреный. Рабочие чуть зазевались, оставив без присмотра стопу картинок, налетевший ветер подхватил их, закружил в воздухе, часть картинок закинул на дворовые постройки, а другие унес за забор.

— Не приведи господи пожар в такую ветрину, — сказал Иван Александрович.

И вдруг ударил печальный колокол церкви Богоявления во Мстёре. Неужели все-таки пожар?!

Иван Александрович бросился во Мстёру. Было три часа пополудни, и, несмотря на сильный ветер, стояла жара. Она держалась уже с неделю, и сушь установилась такая, что искры было достаточно для вспышки.

Пылало уже несколько домов на Миллионной улице и на соседних. Огонь будто бегом бежал по Мстёре. Ветер легко перекидывал пламя с домов на дворовые постройки.

Люди выбрасывали под окна сундуки и домашнюю утварь, но огненный вихрь из тряпья и сена, метаясь по улице, вовлекал в

огонь и выброшенные вещи.

Сущий ад был на улицах Мстёры.

Старый дом Голышевых стоял с не подветренной стороны, но огонь задел и его. Иван Александрович помог родителям вынести вещи на улицу и бросился обратно к себе. Пожар вполне мог захватить и Голышевку.

А в Голышевке давно таскали вещи из дома. Огненные галки и искры уже долетали до Татарова. Жители ближних к Мстёре домов залезли на крыши и поливали ведрами их.

Тихонравов по-хозяйски обходил дом Голышевых. Вынесли все сундуки, картинки, книги, великолепную коллекцию старинных деревянных крестов.

До Голышевки огонь не дошел, пожар угомонил внезапно налетевший дождь. Но за два часа во Мстёре сгорело 127 домов, среди них десять — каменных. Выгорела лучшая часть центральной улицы, сгорела одна женщина, и даже костей ее не нашли. Погибло в огне много приготовленного для ярмарки товара.

Вечером Иван Александрович, вместе с Тихонравовым, пошли во Мстёру навестить стариков Голышевых.

Вынесенное имущество было цело, а дом сгорел почти дотла.

Татьяна Ивановна молча и тихо бродила по пепелищу, а Александр Кузьмич разбирал при свете свечи во дворе свои бумаги.

— Слава богу, все спасено. Я привожу в порядок бумаги, — сказал он удивленным гостям.

Татьяна Ивановна перешла жить в Голышевку, а Александр Кузьмич не захотел кланяться сыну, ушел, пока отстраивается дом, жить к дочери Анне.

А Иван Александрович сел писать статью «Значительные пожары в ел. Мстёре в 1734, 1832 и 1874 годах» и, сравнивая их, анализировал причины и последствия.

«Бедняки не в силах перенести постигшее несчастье, — писал он о последнем пожаре, — и слобода Мстёра долго, да и едва ли, устроится как было… если не поможет благодетельная благотворительность».

Иван Александрович принялся за новую большую работу. Решил выпустить альбом старинных пряничных досок, а в предисловии описать прощеное воскресенье, в которое пряники до сих пор были в большом ходу.

Масленица всегда на Руси была неделей веселья, а в последний ее день, воскресенье, все, проведя в полном веселии масленицу, приготовлялись к великому посту, шли к родственникам прощаться с масленицей, просить прощения за

обиды, мириться.

Даже обедня в прощеное воскресенье заканчивалась пораньше, чтобы больше осталось у людей свободного времени. И сразу после обеда начинались в этот день во Мстёре хождения. С гостинцами шли старшие в семействах к волостному или другому начальству, родители — к учителям своих детей, дочери, вышедшие на сторону, — к своим родителям, крестники — к восприемникам, младшие — к старшим, и вообще близкие — друг к другу.

И делалось это непременно с пряниками. А то несли и калачи по пять — восемь фунтов, конфеты, изюм, чернослив да винные ягоды. В ответ крестные давали детям гривенники, а взрослых дарителей угощали водкой и брагой. При этом младшие старшим в ноги кланялись и говорили: «Прости христа ради».

— Раньше, бывало, к прощеному воскресенью все пекарни пряничными заказами завалены, — говорила

Татьяна Ивановна, — всю масленицу только и пекли пряники, да какие! Да и вообще пряников было много. Бывало, заплачет ребенок, ему уж пряничек суют: «Ванечка, не дать ли тебе пряничка?» Парни девкам на свиданиях пряники с надписями дарили: «знак любви», «знак верности», «знак уважения», «знак дружбы», «знак памяти», «кого люблю, того дарю…». А девицы припевкой отвечали:

Пришел ко мне миленький, Приносил подарочек, Петербургский пряничек…

Теперь уж не то, разве это пряники теперь, вот ране на санях развозили пряники, такие большие были…

К вечеру в прощеное воскресенье расчищались от снега дорожки на кладбище, и все шли поклониться праху земному своих родственников, — если давно человек умер. А ежели два-три года назад помер — то с причетами и приговорами плакали на могилах:

Мать сыра земля,
Ты раскройся,
Гробова доска,
Ты возьми к себе
И меня с собой.
А, болезный ты мой
Ясен сокол,
Сокровище мое красное…
А с другой могилы неслось:
Головушка моя бедная,
Сиротская, одинокая,
На плечах моих

Не держится,
Тебя, сердечного, поминаючи…

Наслушавшись рассказов Татьяны Ивановны о «бывалошных» пряниках, Иван Александрович решил ими заняться.

Подтолкнула как-то находка. Слава о нем, как собирателе всяческой старины, уже и до Вязников дошла. Так, гостил Иван Александрович как-то у родственников жены, а тут сосед их зашел и, узнав, что в гостях у них тот самый Голышев, который старинные вещи собирает, предложил зайти посмотреть одну печатную доску.

Иван Александрович тут же пошел. Доска действительно была древняя, полусгнившая, явно пряничная, с незамысловатым рисунком.

— Гляньте, тут написано что-то, — говорил хозяин доски. — На чердаке я ее нашел, давно, видать, валялась.

По краю доски и вправду шли какие-то буквы. Голышев попытался прочитать, но получалась бессмыслица.

— Я тоже пробовал разобрать, да не вышло, — продолжал хозяин. — Можа, ключ какой потайной имеется.

Иван Александрович купил эту доску и долго потом пытался расшифровать надпись, но так и не сумел. Скорее всего это был просто орнамент из букв. Но с тех пор Голышев стал разыскивать и коллекционировать старинные печатные пряничные доски, заказывал их офеням.

Но больше всего нашел прежних досок в тех же Вязниках. Пользовались когда-то известностью вязников-ские пряники. И хоть слава их давно прошла, доски кое-где отыскивались. Кое-кто ими и до сих пор пользовался и продавать Голышеву наотрез отказался.

Тогда-то и появилась у него мысль издать атлас рисунков пряничных досок. Сохранить хоть внешний вид этих отживающих старинных памятников.

Он выпрашивал интересные доски на время, срисовывал рисунок, литографировал его. А потом составил «Атлас старинных пряничных досок Вязниковского уезда Владимирской губернии».

«…В старину и еще в не очень глубокое отдаленное время пряничные, особенно местные, произведения заключали первостепенную важность и в богатом и в бедном дому, когда не было быстрых путей сообщения и скорого привоза разнообразных товаров», — писал Голышев.

Узорчатые пряники были известны еще при князе Владимирском. В русских былинах говорится: «учали добры молодцы есть пряники печатные, запивать винами крепкими».

Позднее, как рассказывают документы, пряники видели и на царском столе.

Известно, как однажды великому князю Владимиру Александровичу преподнесли ржевский пряник, который называли «молена», весом в один пуд и тридцать футов. Он был в полтора аршина длиной, в один аршин шириной и в полтора аршина толщиной. Его многочисленные орнаменты и двуглавый орел посредине были украшены цветным сахаром и позолочены.

Существовало множество рецептов пряников. Пресные пряники были светло-желтого цвета, тонкие и легкие.

Кислые, на заквашенном тесте, — толстые и тяжелые, темно-коричневого цвета, и напоминали коврижки.

Пеклись пряники в огромных печах, преимущественно на картофельной патоке с прибавкою меда, разных приправ и любимых в старину гвоздики и корицы; рисунки испещрялись разными ягодами.

Богатые обычно покупали кислые пряники, а бедные — пресные. Для богатых пеклись и специальные, дорогие пряники, так называемые одномедные, в которых было много меда.

Пряники очень любили раскольники. Они имели свои доски с рисунками и готовили пряники наряду с брагой, медом и мореным хмельным напитком, имевшим название м е д о к-в а р е н о к.

Голышев рассказывал, как мстёрские старообрядцы во время пребывания во Мстёре владимирского архиерея, поднесли преосвященному большой пряник на блюде, ходатайствуя при этом об устройстве во Мстёре единоверческой церкви.

Старообрядцы, отмечал он, исстари отдавали предпочтение пряникам: в деревнях, в некоторых селениях употребляли еще и пряничные орехи — испеченные из пряничного теста маленькие шарики или нарезанное маленькими кусочками тесто.

Такими пряничными орехами, по выходе замуж, молодая оделяла гостей.

Были среди резчиков пряничных досок не только ремесленники, а и настоящие мастера. Они старались увековечить свое имя и вырезали его в виде инициалов на пряничных досках. Например, вязниковский купец Петр Гагаев ставил на пряниках буквы П. Г. Другой вязниковский пряничник писал на прянике: «1824 года, месяца июня 5 дня резал вязниковский купеческий сын Иван Николаев Черникеев».

«Судьба старинных пряничных досок самая печальная, — отмечал Голышев, — и самые пекари почти уничтожились, а с ними вместе большие паточные заводы…»

В альбоме, кроме исторической справки о русских пряниках,

помещены оттиски и рисунки старинных пряничных досок 1750, 1776 и 1781 годов, найденных в Вязниковском уезде.

«Атлас рисунков и старинных пряничных досок» был отпечатан всего в пятидесяти экземплярах, но принес Голышеву большую известность.

Центральная печать скоро откликнулась на издание:«Мы… должны ценить труд и энергию таких почтенных деятелей, как г. Голышев, которые не теряют свое время в праздности или пустоте провинции, а посвящают его собиранию и изданию интересных образчиков старинной нашей бытовой обстановки».

Но был в рецензии и яд: «…рисунки его должны исполняться несколько более умелою и художественною рукою. В настоящее время они обличают очень не великое умение рисовальщика, бросающееся в глаза незнание перспективы и тушевания…»

Под конец автор рецензии призывал Голышева посмотреть, «как подобные издания делаются заграничными любителями отечественной древности, как они ничего не приукрашивают, ничего не прибавляют и не изменяют, но также ничего не убавляют и не искажают…».

Рецензент не уразумел, что рисунки придуманы и сделаны не Голышевым, Голышев их только копировал с разваливающихся старинных досок.

«Убедившись в тщетности моих усилий достать в Петербурге и в Москве Ваши издания, любопытные и весьма интересующие меня, — писал Ивану Александровичу граф Путятин, — обращаюсь к Вам с покорнейшею просьбой известить меня, где оныя могут быть приобретены. Особенно желательно бы мне было сделаться обладателем оттисков с пряничных досок».

Великий князь Владимир Александрович за «новый труд по отечественной археологии» прислал Голышеву бриллиантовый перстень с изумрудом. «Его императорское высочество» великий князь Алексей Александрович пожаловал «за интересные в археологическом отношении труды» вызолоченным кубком с подносом. Великие князья Сергей и Павел подарили свои кабинетные портреты в бронзовых, вызолоченных, украшенных императорскою короною рамках, с подписью: «за поднесение атласа с пряничных досок».

Иван Александрович опять рассылал свое новое издание по знакомым и знатным людям бесплатно. Тихо-нравов давно советовал ему посылать свои издания, по экземпляру, в исторические журналы. «Но я полагал, что Для этого нужна особая протекция или близкие отношения и знакомство, — вспоминал Голышев, — а без того и другого боялся впасть в ошибку, подвергнуться строгой критике или насмешке над

нашими жалкими и убогими умственными провинциальными выдумками… но как-то пришла минута, я по сообщенному мне адресу

К. Н. Тихонравовым препроводил на имя редактора «Русской старины» свои сочинения…»

Редактор петербургского журнала «Русская старина» Михаил Иванович Семевский быстро откликнулся:

«Я уже успел с ними ознакомиться и вполне признаю как их основательность, так и несомненную пользу д. я изучения отечественной старины. Труды, подобные Вашим, посвященные изучению местных древностей, бесспорно, должны лечь в основание всей науки отечественной археологии. Желаю Вам дальнейших успехов в почтенной деятельности Вашей».

А немного спустя «Русская старина» писала в своем обзоре «трудов по отечественной истории и археологии во Владимирской губернии»: «Исследователь старины своих родных мест, составитель «Атласа», побуждаемый похвальною любознательностью, обратил внимание на предмет, совершенно новый в области археологии: пряники в быту русского народа… Мысль сохранить в потомстве оттиск древних пряничных досок вполне счастливая…»

ГЛАВА 8 «Памятники старинной русской резьбы по дереву»

Дмитрием Александровичем Ровинским Голышев познакомился еще на первом археологическом съезде. Погодин, обозревая археологию России, упомянул Ровинского как автора «Истории русских школ иконописания до конца XVIII века», опубликованной в «Записках» императорского русского археологического общества. Иван Александрович заинтересовался этим ученым, друзья познакомили их.

Ровинскому было тогда уже сорок четыре года, но он только входил еще по-настоящему в науку. Москвич, он закончил Петербургское училище правоведения, вернулся в Москву, занимался профессиональной работой, стал губернским прокурором, потом сенатором, участвовал в ряде реформ, завоевал репутацию прогрессивного и гуманного человека, а на досуге занимался историей искусств и археологией.

Этому способствовала его дружба с историком, исследователем московских древностей Иваном Михайловичем Снегиревым, вместе с которым обходил Ровинский все московские урочища, научился от профессора Московского университета методам исследования старинных памятников.

Очень помогло гуманитарному самообразованию Ровинского прекрасное «древлехранилище» профессора Московского университета, историка Михаила Петровича Погодина, его родственника. В собрании Погодина было почти семьсот листов русского лубка, но сам он писал книги о другом, потому и предложил своему молодому родственнику заняться народными картинками. И советовал коллекционировать «именно русское, потому что его и не берегут, и не собирают». Вот почему Голышев — издатель лубка — заинтересовал Ровинского, но он тогда все свободное время отдавал работе «Русские граверы и их произведения с 1564 года до основания Академии художеств», и современные картинки были отложены до лучших времен.

И только спустя пять лет после съезда и знакомства Ровинский написал Голышеву: «Мил. Государь! Позвольте просить Вас уступить мне 1 экземп. брошюры Вашей о лубочных картинках и 1 экз. атласа рисунков со старинных пряников; деньги по Вашему назначению будут тотчас же высланы. Ваш покорный слуга…»

Ровинский тогда жил уже в Петербурге и очень порадовал Ивана Александровича своей просьбой и обещанием купить атлас,

расходы по его изданию опять были немалые, а покрыть их было нечем: все заинтересовавшиеся изданием вельможи предпочитали, чтобы автор атласа подарил его им.

Голышев тут же послал брошюру и атлас Ровинскому, и тот скоро откликнулся: «Искренно благодарю Васьза присылку мне Вашего прекрасного издания о пряниках. Деньги 4 р., по Вашему назначению, по-моему слишком дешевому, прилагаю при сем. Позвольте мне подарить Вам экземпляр моего словаря рус. портретов на слоновой бумаге (в продаже таких не было)». Так началась переписка и дружба их, продолжавшаяся потом до самой смерти Ивана Александровича.

«В настоящую минуту я печатаю большую книгу о русских лубочных картинках, будет не менее 100 листов, — писал Ровинский в 1874 году своему новому другу. — Предполагаю к книге сделать атлас с копиями, точь-в-точь, древних лубочных картин (таких мне нужно на д е р е в е более 200).

Если бы мне вздумалось приложить к некоторому числу экземпляров (напр, к 50, всего полагаю напечатать 200 экз.) Ваши оттиски пряников, почем бы примерно могли Вы мне доставить точно такие отпечатки, как в Вашем издании?»

Голышев пишет в ответ огромное письмо, благодарит за «Словарь русских гравированных портретов»: «За подарок этот я не знаю как и благодарить Вас, — тем более такие руководства для меня дороги, что здесь нет никакой возможности не только что-либо подобное приобрести, но и видеть. У меня есть Ваше же исследование «Русские граверы», которое мне подарено В. Е. Румянцевым. Эти вклады драгоценны для науки».

И, осчастливленный вниманием, он пишет Ровинскому: «Удостойте принять для Вашей библиотеки» — и шлет свои «Древности Богоявленской церкви».

С просимыми Ровинским отпечатками с пряничных досок вышло затруднение. «Доски я брал, — писал Голышев, — на время (на что имел маленький расход) и потом… возвратил их владельцам». Однако он собирается снова взять доски и заверяет Ровинского, что тот может рассчитывать на его «слабое содействие, если будет надобность». А на заданный Ровинским вопрос о медных досках шлет ему в письме целое свое исследование о них.

Почерк у Ровинского был исключительно неразборчивым, и Голышевы обычно вдвоем расшифровывали письма, часто не все понимая.

— Ишь чего захотел вельможа, — говорил Иван Александрович жене, — прежние медные доски, особливо с предосудительными подписями. Да таких теперь и не найдешь,

все уж в металл переплавили, а те, что есть, все уже с исправленными подписями, и в основном духовного содержания.

У него было десять таких медных досок, приобретенных в свое время у Логинова, еще прежней гравировки, на зеленой меди, без крепкой водки, служивших для печатания больших картин на четырех склеенных листах писчей бумаги. Он с них печатал, переводом на камень, и теперь.

Была у него еще одна медная доска, двулистовая, «Мыши кота погребают», но уже с исправленными подписями. Она по дозволению цензуры печаталась еще у Логинова.

Иван Александрович описал все эти доски Ровинскому. И тот ответил: «Покорнейше благодарю Вас за обязательный ответ» — и просил прислать ему по одному отпечатку со всех логиновских досок и с имеющихся деревянных.

В июне 1874 года исполнялось пятнадцать лет пребывания Ивана Александровича Голышева в статистическом комитете. Он написал отчет о своей деятельности и представил Тихонравову, одновременно выступил на заседании комитета с докладом: «О значении изданий статистического комитета по археологии и археологический отдел музея комитета». Музей насчитывал уже до Двухсот предметов. Для него наконец нашли помещение — в одном из залов губернской гимназии, а потом — в Дворянском доме.

Московское археологическое общество отмечало в своих «Трудах»: «…мы не можем не занести с особым удовольствием в библиографический раздел нашего журнала радостный факт, что в последнее время археология начала входить в круг занятий некоторых из наших губернских статистических комитетов». Отмечалось, что во «Владимирских губернских ведомостях» немало «драгоценнейших сведений о памятниках Владимирской губернии», но и что «шесть городов и шесть лиц дело делают, а остальное, громадное большинство, если и производит, то весьма немного».

Голышев был одним из самых активных членов владимирского статистического комитета. За пятнадцать лет работы в нем Ивану Александровичу было выражено сто двадцать официальных «признательностей». Он считал. Эти «признательности» были для него важнее денежных доходов. Снова владимирские и петербургские друзья Голышева хлопотали о награждении Ивана Александровича, и хлопоты удались. По представлению губернского училищного совета «за отличия неслужебные» по министерству народного просвещения Ивану Александровичу Голышеву была пожалована золотая медаль для ношения на шее на Станиславской ленте. В хлопотах о

награждении была большая доля нового владимирского губернатора, председателя статистического комитета Иосифа Михайловича Судиенко, относящегося к Голышеву с большим уважением.

Медали Голышев очень обрадовался. «Награда эта, — писал он, — для меня была приятна особенно потому… что я, бывший крепостной человек и крестьянин, мог иметь лишь серебряные медали и не мог получить золотой».

С первой, в раннем детстве, поездки с отцом на Холуйскую ярмарку помнил Иван Александрович лесную часовню на глухой поляне Шуйского тракта, невдалеке от перевоза через Клязьму. Она поразила тогда его стоящей в полутьме огромной белой фигурой угодника Николая Чудотворца с большим мечом в руках. Под ногами угодника был желтый ящик для монет-приношений.

«Один вор запустил было руку в кружку с подаяниями, а обратно-то и не вытащит. Как ни крутил, не отпускает кружка руку. Так и сидел, пока люди не пришли да не освободили его», — рассказывал отец.

Пошаливало немало проходимцев в этом глухом местечке. И один помещик, Толмачев, решил перенести образ Николая Чудотворца в церковь близлежащего погоста. «Перенес он, это, угодника, — рассказывал отец, — а утром — глядь, нет уж его в церкви. Пошли в часовню, а образ — там, на прежнем месте».

«А я другое слыхал, — включился в разговор ехавший на ярмарку ковровский мужик, — один офеня, сказывают, позарился на образ, украл да и ослеп сразу. Так год цельный искали угодника, пока этот слепой не подбросил его обратно. Вернул он, это, Николая Чудотворца на место и прозрел сразу».

Часовня эта разрушалась теперь, и зарисовать ее Иван Александрович отправился вместе с женой.

Заглянули в погост Нередичь Никольский, лежащий в полутора верстах от часовни, нашли священника. Тот еще порассказал им всяких легенд о часовне, все их он записывал в церковную летопись.

«Раньше бывало, — жаловался священник, — большие вклады делали в ту лесную часовенку, и деньги шли на процветание церкви. А теперь не только вклады, а и малые приношения разворовывают. Так вот по ночам проходимцы стали могилы раскапывать. А уж в часовне-то Николая Чудотворца мы чево только не делали, чтобы образ лихоимцы не терзали, аж решетку ставили. Все одно найдут, как побезобразить. Совсем ветхая стала часовенка, да и отремонтировать не на что. Однажды и саму церковь чуть не ограбили, глухая сторона, особливо зимой».

Голышев написал о часовне Николая Чудотворца сначала в

губернской газете, потом поместил эту статью вместе с рисунком в «Трудах» статистического комитета, а затем выпустил отдельной брошюрой, тоже с рисунком-литографией, сохранив, таким образом, для потомков вид и историю этого удивительного памятника русского деревянного зодчества.

В том же десятом выпуске «Трудов» поместил Иван Александрович свое большое исследование об офенях. Об офенях он писал несколько раз в газету, собрал и опубликовал словарь офенского языка. Говорил в газете о бездорожье, мешающем офеням, выступил с докладом о коробейниках на заседании статистического комитета. В 1875 году Ивана Александровича избрали уездным и губернским гласным. На первой же сессии уездного собрания он выступил с докладом о недостаточности содержания учителей и вообще о необходимости улучшения народного образования.

Доклад Голышева «встретил полное сочувствие». Земское собрание ассигновало, в результате, на дело народного образования, вместо отпущенных ранее на 1875 год трех с половиной тысяч рублей, на новый год — 8740 рублей, то есть на пять с лишним тысяч больше, и учителям было повышено жалованье.

В одном из следующих заседаний Голышев выступил с докладом в защиту офеней. Положение их становилось все тяжелее и тяжелее. Прежде они торговали свободно. Потом с них стали требовать удостоверения в благонадежности и неподсудности, взятые у волостных правлений. Теперь требовали особых свидетельств от уездных исправников. Голышев писал: «Офени попали в такое положение, что их сначала обирали за написание прошений и выдачу удостоверений в волостных правлениях, а потом у уездных исправников канцеляристы».

В традиционный августовский день у Голышевых собралось намного меньше коробейников, чем бывало прежде.

— Далеко топерь, Иван Лександрыч, не уйдешь, — жаловался Матвей Корягин. — Сколь порогов обил?! Сперва, как надобно, уплатил вперед все подати, заплатил за написание прошения, потом — за само удостоверение, потом еще уездных канцеляристов да исправников одарил. Одним словом, ублажил старшину и старосту, десятского и сотского, писаря и урядника. И что же? Свидетельство дали только на наш уезд и на один год. Что же я тут наторгую? И попробуй, без удостоверения, выйди к соседям!

— Я уж попробовал летошний год, — поддержал его молодой офеня Петр Горячкин. — У меня тоже только на наш уезд была бумага, а я пошел на Урал. Думаю, не у каждого же, поди, ее

спрашивают. И пробирался-то маленькими деревеньками, обходя подале места, где становые. Да куда там. Думается, они нарочно нас выискивают, чтобы ободрать. Сперва-то это я подачками помирному от них отделывался, да только смотрю, уж самому ничего не остается, ну и отмахнулся от одного станового да дале пошел. Так он меня — за шкирку да в участок. А там весь мой короб перетормошили, что им приглянулось — себе забрали, написали какой-то протокол да еще говорят: скажи спасибо, что весь товар не конфисковали, продашь — на штраф накопишь, который на тебя наложил мировой судья.

— А тебе на сколько удостоверение выдали? — спросил подошедший в конце разговора коробейник Тимофей Ларичев.

— На год.

— Так тебе еще повезло. Мне только на семь месяцев. А одному вон в Юрьевском уезде на три дня только дали.

— Да как же так? — зашумели, заволновались все.

— А вот так. На сколько вздумают, на столько и выдадут.

— Заплатишь поболе, так и получишь.

— Так закон надо поглядеть.

— Шустрый больно. Так тебе этот закон и показали. Этот коробейник был прав. Закон, ограничивающий

торговлю офеней, о сроках, на которые нужно выдавать удостоверение, не упоминал, то есть свидетельства могли быть и бессрочными. А местные власти пользовались безграмотностью офеней. Ведь многие из них и читать-то не умели. Такому и ткнут в нос постановление, на, мол, гляди: приказ правительства; он и верит, и не верит, а поделать ничего не может. Ну, мыслимо ли офене в каждом уезде новое свидетельство выправлять?! Да и кто его там даст, кто удостоверит его личность? А без дальней дороги не только барыша нет, а и тоска душой овладевает. Дальняя дорога, с новыми людьми и местами, это, пожалуй, самое привлекательное для офени в торговле. До Туркестана и Владивостока кое-кто доходил, а некоторые и границу России пересекали, забирались в Сербию, Болгарию, Румынию.

Голышев писал в губернскую газету, возмущаясь издевательствами над офенями: «…сами-то досмотрщики очень мало понимают. Нам известен случай, что один становой, да и не в глухой какой-нибудь губернии, а в бойкой местности, термин «кустарная промышленность» понимал в смысле древесных пород и отчислял его чуть ли не к розгам…»

«Что остается делать бедняку преклонных лет, с детства привыкшему к своей промышленности, теперь лишенному всяких средств вести свою торговлю, как не просить милостыню, — возмущался Голышев. — И как легко такому человеку из

хорошего превратиться в негодяя и, падая все ниже и ниже, дойти и до преступления. Если всмотреться поближе в образ жизни как мелких, так и зажиточных офеней, то окажется, что их торговый труд далеко не легок. Сколько их гибнет в далеких странствиях от непомерных трудов, сколько их грабят по дорогам, убивают. Про них подлинно можно сказать: скитальческие косточки, в каких местах вас нет!.. Сколько их выселялось отсюда вследствие некормилицы матушки-земли, вынуждающей покидать родное гнездо и все свое достояние: дом, усадьбу, землю.

На бедных офеней, в зимнюю пору, часто бывает жалко смотреть: в трескучие морозы, одетые в лохмотья, с обмороженными лицами, насквозь прохватываемые ветром, их фигуры свидетельствуют слишком красноречиво об их горькой доле. Недаром у таких торгашей часто покупают и хорошие господа, и зажиточные купцы — та же милостыня!»

На очередной сессии земского собрания гласный Голышев сделал заявление об облегчении правил книжной торговли для офеней. Земство поддержало его и ходатайствовало по этому делу перед правительством, но оно «не было уважено, и облегчения офеням не последовало».

Огромный успех «Атласа рисунков с старинных пряничных досок» окрылил Голышева. Всей душой отдается он теперь русской старине, поискам исчезающих предметов. Больше всего страдали, вплоть до исчезновения, деревянные изделия. Ими в первую очередь и занялся теперь Иван Александрович. Он ходил по деревням и древним городам, зарисовывал резьбу на старых избах, деревянных церквах. Собирал через офеней и старинщиков резные деревянные изделия. Изучал литературу по резьбе на дереве.

Эпиграфом к новому альбому «Памятники старинной русской резьбы по дереву» Голышев взял слова Погодина: «Памятники в некоторых случаях гораздо более драгоценны, нежели золотое монисто или серебряное ожерелье».

Еще в четырнадцатом веке резьба на дереве была у русских любимым искусством. Резьбой украшали храмы, хоромы внутри и извне. В церкви многое было деревянным и резным: иконостасы, иконы, запрестольные образа и кресты, обручальные венцы, паникадила, богослужебные сосуды, подсвечники и лампады для свечей, киоты, аналои, фонари, священнические кресла.

На резьбу накладывали грунт из левкаса и покрывали золотом, серебром или раскрашивали по орнаментам разноцветными красками.

Татьяна Ивановна опять встревала с воспоминаниями.

— У зажиточных-то, бывало, — светелка над воротами,

летняя горница то бишь; а ее уж, как сказочный теремок, отделают. Тут и фамилию домохозяина напишут да орнамент какой пустят. И ворота все размалюют непременно. Иной рисунок вырезанный раскрасют, а то положут на светлое железо, так оно дюже красиво просвечивает. И ставенки, и наличники — яко в сказке.

Иван Александрович отправлялся к местному плотнику-художнику. Изба у него была прямо как музей: божница в красном углу — глаз не оторвать. Своими руками сделанные шкапчики-поставцы, резные полицы, лавки с опушками. Хозяин милостиво разрешал Голышеву делать зарисовки. Льстило мастеру, что его художества собираются вставить в книжку.

В разных местах находил Иван Александрович то жбан, то старинную солоницу, гребни для пряжи льна, веретена.

«Пожары… равнодушие к отечественным памятникам, — писал он, — и по большей части невежественное с ними обращение, во имя того, что резьба, по мнению многих, никуда не годна, металлического веса в ней нет, что можно было бы продать в лом», приводят к их гибели.

В церковных описях он встречал отметки: «по негодности предано сожжению», «за ветхостью сожжены», «преданы огню». «Огонь является бичом истребления древностей, — с горечью замечает он, — и по совершившимся случаям и по доброй воле людей».

— Ты про дуги да упряжь не забудь, — напоминала ему Татьяна Ивановна. Очень радостно было ей, что сын с таким почтением относится к «бывалошному».

— Что означает конек, который непременно на крышах ставят? — спрашивал Иван Александрович у матери.

— Раньше говаривали: «В кобылью голову счастье», — поясняла Татьяна Ивановна. — Древние наши предки на крыше не деревянные конские головы пристраивали, а настоящие, в качестве жертвоприношения богам, таким образом просили у богов дождя или солнца.

Предисловие в альбоме Голышев заканчивал словами: «Дорого сохранить в изображениях всякое народное русское создание, что сохранилось и уцелело до нас и еще не погибло окончательно». В альбоме было двадцать листов рисунков автора.

Опять через своих столичных знакомых Иван Александрович послал новый альбом царствующим особам. И те скоро откликнулись с благодарностью «за труд», «имеющий целью сохранить памятники драгоценной старины русской, в рисунках предметов народного творчества». Великие князья Сергей и Павел прислали автору золотые часы с надписью. Редактор «Русской

старины» Семевский писал: «Исследование это исполнено с обычным всем Вашим трудам тщанием и займет видное место в литературе отечественной археологии». Директор министерства иностранных дел, барон Бюлер, отмечал, что издание «весьма замечательно в археологическом и художественном отношении». Редактор журнала «Древняя и новая Россия»

Шубинский откликнулся на дар: «Искренне благодарю Вас за любезное внимание ко мне… С величайшим удовольствием напишу отзыв о Вашем издании. Дай бог, чтобы полезная и делающая Вам честь деятельность Ваша не ослабевала, а постоянно расширялась».

А барон Богушевский писал: «Ваши издания для нас, археологов-горожан, чистые клады… Мы, археологи, должны благодарить бога… давшего Владимирскому краю такого деятеля, каков Вы… Удивительная деятельность Ваша, удивительная потому, что Вы сами, без посторонней помощи и при самых неудобных обстоятельствах, создали из себя почтенного и полезного археолога, да притом еще не археолога пустячного… а серьезного изыскателя сведений об археологии народа столь великого, а еще главное — народа, имеющего такую будущность, каков русский православный народ».

ГЛАВА 9 «Памятники деревянных церковных сооружений»

Складного ядрового мыла два косяка также две кадочки огурцов и вишен два бочонка ведерных пришли в Москву все конечно немедленно и не ожидая о том впредь к себе нашего указу», — читал Иван Александрович послание 1733 года владельца Мстёры Головкина к старосте Василию Фатуеву. «Значит, в старину славились не только владимирская вишня и клюква, — думал Голышев, — но и огурцы хороши были».

Другой акт был требованием помещика прислать четыреста ведер оброчного вина, «за оное вино с каждого гнезда денег по двадцати одному алтыну по две деньги с мирского совету положили».

В 1876 году Голышев публикует в «Губернских ведомостях» статью о старинных актах. «Старинные акты, — пишет он, — открывающие нам дела давно минувших дней, приносят неоспоримую пользу для истории разных местностей… жизнь прошлого, с ее хорошей и дурной стороной. К сожалению, сохранилось уже немного старинных актов… если и попадаются иногда рукописи, то благодаря какой-либо случайности, если что-нибудь пролежало незамеченным и ускользнуло от злодейских рук. Судьба таких рукописей самая незавидная…». Каждый акт — кусочек прошлой жизни. Акт 1705 года повествовал об истязании крестьян деревни Осинки Вязниковского уезда: «Староста Купреян Васильев, собрав многолюдство скопом нарядным дело сконьми и спищальми… приезжали под вотчину Государя моего под деревню Осинки нощным временем воровски… и… таскали били и увечили смертным боем…». Другой указ мстёрскому «укащику» требовал «оброчных и других денег» за вымощенный в Москве князьями Ромодановскими каменный мост. И грозили князья своему старосте: «а буде ты… вышеозначенных оброшных и всякого сбору денег на вышеписаный срок к нам в Москву не пришлешь и за ту твою неприсылку доправлен с тебя будет штраф, не малой и с приказу переменен будешь беспременно».

И в каждом почти номере «Владимирских губернских ведомостей» Голышев продолжал публиковать статьи: «Заметки о сохранении отечественных древностей», «Живописное и иконостасное заведение в ел. Мстёре», «Капустник в слободе Мстёре», «Старинные деревянные резные кресты», об упадке холуйских ярмарок, появлении парохода на реке Клязьме, о дамской швейной мастерской в Вязниках и по-прежнему —

регулярные заметки-наблюдения о погоде.

Перестали появляться в газете статьи его учеников. Иван Александрович вспоминал:

«К сожалению, мои старания и заботы не оправдались: после нескольких попыток питомцы мои не пошли далее. Особенно заботился я о моем племяннике; из него не было пути: в молодых летах, в 1876 г., он утонул, купаясь хмельной. Один только, бывший тогда купцом, Н. Г. Доб-рынкин, по моему предложению избранный в члены статистического комитета, был прилежным деятелем».

Сам Голышев, подводя в 1878 году, в связи с сорокалетием, итоги своей общественной работы, писал, что с 1861 года опубликовал во «Владимирских губернских ведомостях» 103 статьи по статистике и этнографии, 43 — по истории и археологии, 107 — из современной хроники, 80 старинных актов. Итого: 338 публикаций только в губернской газете. «Для музея статистического комитета принесено в дар: старинных вещей, рисунков, этнографических предметов и своих сочинений — 84; и 28 литографированных рисунков для изданий комитета в 6400 экземплярах». В Московское археологическое общество подарено 64 разных предмета, в географическое — 47. Московское общество любителей духовного просвещения выбрало его в действительные члены, императорское русское археологическое общество — в члены-сотрудники. Не сумев быть на последних археологических съездах «по материальным соображениям», он принимал в них участие своими научными изысканиями, изданиями и выставками предметов старины.

6 декабря 1876 года умер Александр Кузьмич Голышев. В последнюю неделю перед смертью отец с сыном помирились. Иван Александрович ежедневно навещал отца. Александр Кузьмич «осознал свои ошибки», мирно расспрашивал сына, как идут торговые дела, а перед уходом его всякий раз говорил: «Прости меня христа ради».

Александра Кузьмича похоронили с почестями. Сын написал некролог, отметив, что отец сорок лет честно вел книжную торговлю, основал первую в губернии литографию, создал православное братство и девять лет был его попечителем, значительную сумму потратил на украшение Богоявленского храма, намерен был расписать его и изнутри…

На сырной неделе, по четвергам, молодые мстёрские девушки, одевшись в хорошие платья, собравшись по двое, по трое, везли на салазках на Мстёрку полоскать белье. Кухарки и работники в этот день отдыхали. Даже девушки из богатых семей, которые никогда дома не имели дела с корытом, в этот день не

стыдились черной работы.

Это были своеобразные смотрины девушек. Разряженные, склонялись они в тот день над прорубью, встряхивали над водой кружевными оборками. Множество мстерян, особенно парней, кружась, как обычно, в масленичном катанье по слободе, специально проезжали возле полоскаль-ни, чтобы полюбоваться на девушек.

Мыли и полоскали тут, у мельницы, круглый год. По субботам, когда топятся бани, стирали белье, а потом сотни салазок волочили его к полынье, которая даже крещенские морозы не замерзала.

Три года назад, во время январской оттепели, лед обломился, и восемь женщин с салазками и бельем оказались в ледяной воде. Крику было на всю Мстёру. Те, что побойчее, быстренько выбрались из воды, а те, что позамешкались, потом заболели.

Иван Александрович вспомнил сейчас про этот случай, проезжая мимо праздничного девичьего полоскания на масленице.

Он возвращался из Владимира и вез новое свое издание — альбом «Памятники деревянных церковных сооружений».

Альбом получился замечательный: двадцать одна ли тография рисунков деревянных церквей, сделанных им во Владимирской округе. Одна другой краше.

Он испытывал огромное наслаждение, перерисовывав эти ветхие и, в большинстве своем, потом скоро погибшие деревянные церквушки.

Можно было издать и просто иллюстрированный аль бом. Но Голышев написал еще и сопроводительный текст изучив опять много всяких исследований «об искусстве русских издавна по части изделий из дерева». Голышев писал, что первые две деревянные церкви на Руси были построены еще до крещения Владимира. В летописи за 945 год говорилось: «А хрестеяную русь водиша родъ в церкви святаго Ильи, яже есть надъ ручаемъ…»

После крещения Руси греческое церковное зодчество оказало в основном влияние на каменные христианские постройки. А в деревянных церквах и часовенках «удержалось русское зодчество».

Основою деревянной церкви служил сруб избы, «к коему прирубался алтарь и крыльце», «над островерхим кровом приделывали шейку с главою, увенчанною крестом».

Церкви эти обычно строились жителями одной городской улицы или селения и назывались «обыденными».

В «Требнике Петра Могилы» описывался образ закладки такой церкви. Когда приготовляли подлоги, бревна для церкви, то

звали епископа или иерея, и он трижды ударял в среднее бревно, «олтарное», глаголя: «Начинается дело сие во имя Отца и Сына и Святаго духа…» И называлось имя святого, в честь которого закладывалась церковь.

Стены церквей рубили «в присек», «в лапу» и «в замок». И были те церковки маленькие, низенькие и назывались «церквицы». Часто вмещалось в такую церквицу не более семи человек. «Кругла яко столп и не широка только сажени единыя со олтарем внутри», — так описывается новгородская церковка XVII века.

По селениям и дорогам полно было часовенок, «особливо по перекресткам, под именем то крестов, то пятниц».

Был на Руси обычай ставить большие деревянные кресты на проселочных дорогах. Устанавливали их на местах, где находили убитых или скоропостижно умерших. Родители, у которых умер ребенок, водружали такие кресты на всех перекрестках округи, чтобы потом «иметь детей в живых». А зажиточные ставили кресты на сельских трактах «и для лиц здравствующих», и для продления жизни. При этом приговаривали: «святые преподобные отцы наши Абросим и Ефим и Кирило, святый прекрасный Иосиф, спасите и сохраните и помилуйте от болезни сия раба Божия…». Далее произносилось имя, ради продления жизни которого хлопотали. «…Прогоните трясавиц к отцу своему сатане дияволу…».

Древняя деревянная церковь была простенькой. Позднее к ней стали пристраивать приделы, трапезные, притворы, ходовые паперти под навесом, звонницы. Умножались и украшения, состоявшие из резных полотенец, прилепов, князьков, баляс и других вычурных порезок и выборок, кои отличались особенною затейливостью, замысловатостью и причудливостью, согласно с местным вкусом».

Лес использовали для постройки церкви разный: сосновый, пихтовый, еловый, лиственный, дубовый. И основы были уже не только квадратные, а и прямоугольные, и круглые, и «кресчатые», без углов, «в замок», И «одне становились на подклетях, другие на стульях». Одни — с входным крыльцом, другие — с прирубленною папертью под навесом, «где стаивали женщины и повинные епитимье». И кровли были разные: двух- и четырехскатные — и покрывались деревянного чешуею или тесом. Верх рубили «бочками» и «городками», над коими возвышались главы: от одной до тринадцати. И ставили церковь так, чтобы «отовсюду видимо бысть, аки зерцало».

Голышев видел и полуразрушенные, темные деревянные храмы из кругляша или дуба, с неотделанными мрачными

стенами и закоптелыми образами, с крошечными, несимметрично расположенными окнами, с низкой, покривившейся колоколенкой.

Ему хотелось взять под защиту эти отживающие, неповторимые деяния своих предков. Но что мог сделать он? Одно: писать. И Голышев писал статьи, выступал, где возможно, защищая эти церковки от уничтожения. Но удалось ему сохранить только вид этих церквиц для потомков в своих рисунках-литографиях.

Погост архидьякона Стефана он рисовал дважды: в 1877 году и в 1878-м. Два храма стояли на крутой возвышенности, создавая вместе с холмами, горами и вековыми деревьями живописный уголок.

Церковь во имя пророка Ильи близ села Карачарова и города Мурома была построена в 1629 году, в царствование Михаила Федоровича. Во времена мора, бывшего при царе Борисе Годунове в 1601, 1604 годах, сельские жители, опасаясь заразы, хоронили всех умерших в общей могиле на временном кладбище в лесу. И на месте моровой могилы позднее и соорудили эту церковку.

А часовенка, близ того же Мурома, была построена там, где лежало когда-то тело святого князя Михаила, убитого муромцами в 1192 году.

Князь Михаил Константинович был послан с «немногими людьми» к Мурому «для увещания». Муромцы заманили неопытного молодого князя в город, якобы для мирных переговоров, и убили его, а тело выбросили за город.

Отец убитого, князь Константин Святославович, «по осаде» взял Муром, похоронил сына «со псалмы и песнь-мы и с подобающею честию» и соорудил деревянную церковь пресвятой богородицы. А на месте, где лежал убитый

сын Михаил, поставил божницу, или часовенку, с шатровым верхом.

Опять разослал Иван Александрович альбом своим друзьям и царствующим особам. И опять косяком пошли во Мстёру награды: бриллиантовый перстень с рубинами, золотой перстень с аметистом и бриллиантами, золотой перстень с бриллиантовым вензелем — от царствующего дома, золотая медаль «За усердие» для ношения на шее на Аннинской ленте, большая серебряная медаль «За ученые труды по археологии».

ЧАСТЬ 5 Осознание своего пути 1878–1896

27 января 1878 года Вера Засулич стреляла в петербургского градоначальника Трепова. 1 февраля в Ростове-на-Дону был убит шпион Никонов. 25 февраля в Киеве было совершено неудавшееся покушение на прокурора Кот-ляревского.

31 марта в Петербурге перед зданием окружного суда состоялась большая демонстрация в защиту Веры Засулич. Суд, под председательством А. Ф. Кони, оправдал девушку.

Александр II был взбешен таким приговором. Он увеличивал и усиливал жандармскую полицию.

Создан был институт полицейских урядников, в помощь становым приставам, «для надзора сотских и десятских на местах». Должность урядника была введена и в сельской местности. В крупных городах завели тысячи коннополи-цейской стражи.

В 1879 году убийства и покушения продолжались. В Петербурге, по предложению графа Шувалова, провели поголовную проверку живущих. Столичная полиция вооружилась револьверами.

Министр внутренних дел собрал журналистов и поучал их «в грубой менторской речи». Редактор «Русской старины» М. И. Семевский сравнил это с тем, как в старину какой-нибудь полупьяный городничий трепал какую-либо непотребную девку, «так и статс-секретарь… отвалял в своей непотребной речи русскую печать».

Все ожидали чего-то зловещего. В полицию приходили предостережения, что «злоумышленники» готовятся «скопом» выступить.

В Одессе губернатор, расправляясь с бунтовщиками, творил полный произвол, высылая всех без разбора. Эти действия «наводили ужас не на злодеев-социалистов, а на общество мирное, готовое поддерживать разумные мероприятия».

Граф Валуев жаловался, что всюду какое-то неопределенное, обуявшее всех неудовольствие. Все на что-то жалуются и ждут перемен.

1 марта 1881 года был убит Александр II, и на престол взошел его второй сын — Александр III. Его не готовили в детстве для престола, дали «скромное образование». Туповатый, но упрямый и усидчивый, он мечтал дослужиться до должности начальника гвардейской дивизии. И вдруг в 1865 году умер его

старший брат Николай, наследник престола. Двадцатилетний Александр стал цесаревичем, но немного уже можно было поправить в его воспитании, и до конца жизни он говорил «грыбы», «инергия», писал скучные дневники, тайком пил с начальником охраны.

Вместе с титулом цесаревича Александр наследовал и невесту покойного брата, юную принцессу Дагмару, полюбил ее и был хорошим семьянином.

В 1891–1892 годах в России разразился страшный голод. Еще в августе 1891 года министр двора И. И. Воронцов-Дашков писал Александру III из своего Тамбовского имения о надвигающемся голоде, предлагал создать Комитет для призрения голодающих, отменить при дворе балы и большие обеды. Но император отмахнулся, он не поверил и считал «средством деморализации народа» заботу о нем. Балы и званые обеды продолжались, и, в то время как тысячи людей умирали с голода, Александр III беззаботно охотился в Дании, потом — в Крыму. Министр внутренних дел Дурново долгое время, боясь разгневать императора правдой, скрывал от Александра истинное положение в стране. Только в декабре 1891 года Дурново сообщил в Государственный совет о бедствии, когда от голода и эпидемий умерло уже множество людей. Но и тогда правительство выделило недостаточную сумму в помощь голодающим.

ГЛАВА 1 «Воспоминания»

В начале апреля 1879 года Тихонравов прислал Голышеву вырезку из журнала «Древняя и новая Россия». В разделе «Книжные новости» отмечалось, что новое издание «Памятников деревянных церковных сооружений» «следует поставить в большую заслугу г. Голышеву». Был и наказ: «Желательно, чтобы г. Го-лышев ввел нас и во внутрь этих деревянных храмов… сделал бы подробное описание их… тогда почтенное его предприятие получит вполне законченный вид».

Тихонравов сделал приписку: «Затем остается передать Вам, что г. Губернатору очень приятно, что труды Ваши так достойно окупаются; пожелать Вам новых и многих подарков еще и еще, да не охладеет Ваша энергия».

Иван Александрович поехал по делам в Москву, а на обратном пути заглянул к Тихонравовым. Константин Никитич сразу бросился обнимать его:

— Поздравляю!

— Да с чем поздравляете-то? — недоумевал Голышев.

— Ты гляди, Аннушка, — обратился Тихонравов к жене. — Он ничего не знает! Вся Россия его читает, а он ничего не знает!

— Да не томите! — воскликнул Иван Александрович. И Тихонравов уже совал ему апрельскую книжку «Русской старины», открыв ее на заложенной странице.

«Воспоминания Ивана Александровича Голышева», — прочитал Иван Александрович, и глаза его затуманились.

Написать «Воспоминания» Ивану Александровичу посоветовал несколько лет назад сам редактор «Русской старины» Михаил Иванович Семевский.

Не без робости приступал Иван Александрович к своему жизнеописанию. Тихонравов советовал: «…самое лучшее — пишите все, что только можете припомнить из вашей писательской деятельности, — и главное, пишите с полной искренностью. Выход Ваш из дюжинной среды в известность особенно знаменателен и представляет редкое явление, и потому каждая, даже мелкая подробность, всякий факт проявления деятельности имеет большое значение…»

«Воспоминания крепостного крестьянина» — озаглавил Голышев свой труд, хотя сел за него спустя пятнадцать лет после отмены крепостного права. Он делил листы на две половины. Слева писал, справа делал вставки или переписывал зачеркнутое. «Писать просто» было трудно. Воспоминания, цепляясь одно за другое, ширились, волновали, просились на бумагу. Иван

Александрович терзался: то ли он пишет, интересно ли будет читать людям о перипетиях его судьбы?

Хотелось как-то осмыслить пережитое. К какому-то подвести итогу. С детства он мечтал о чистой, искренней, спокойной жизни. Не о безделье. Много трудиться он научился рано. Праздность была чужда его натуре. Но в трудах мечталось не о сытости, не о мещанском благополучии. Хотелось оставить что-то после себя, чтобы люди вспоминали потом добрым словом.

Редактор «Русской старины» прилично поработал над рукописью Голышева. Сократил ее, разделил на шесть частей. Каждую часть предварил развернутым оглавлением-предисловием. Во вступлении к «Воспоминаниям» редакция писала: что рубрика эта в журнале старая, что публиковались в ней воспоминания множества людей, и перечислялось десятка два имен, среди них были И. К. Айвазовский, М. И. Глинка, Н. И. Греч, княгиня Е. Р. Дашкова, П. А. Каратыгин, Т. П. Пассек, Ф. Д. Толстой, князья Н. Ю. Трубецкой и М. М. Щербатов…

«Ныне представляемые вниманию читателей «Русской старины» «Воспоминания И. А. Голышева», — писала далее редакция, — принадлежат перу бывшего крепостного крестьянина, который благодаря неослабному своему терпению, любознательности и жажде знания — почетный гражданин и член некоторых из наших ученых обществ. Этот скромный деятель на поприще отечественной археологии — живое доказательство той несомненной и отрадной истины, что в народной массе Отечества нашего не оскудевают источники тех нравственных сил, представителями которых, у нас в России, были Посошковы, Ломоносовы, Кулибины, Слепушкины, Кольцовы, Никитины и. многие другие…»

В той же апрельской книжке «Русской старины», в которой были опубликованы «Воспоминания» Ивана Александровича, фамилия его упоминалась еще много раз. В разделе «Библиографический листок» был отклик на его альбом о деревянных церквах, «прекрасно выполненный в его собственной литографии»: «Его труд, без сомнения, восполнит существующий пробел в материалах по истории русского зодчества, тем более заслуживающий внимания, что он относится к одной из наиболее важных местностей в истории России». В списке русских исторических книг-новинок были названы его «Лубочные картинки» и новый альбом.

Вторая часть «Воспоминаний» Голышева вышла в июне. 15 июня 1879 года Иван Александрович писал Семевскому: «На сих днях… я имел удовольствие получить июньскую книжку «Русской старины». Приношу Вашему Пр-ству мою душевную и

глубочайшую благодарность за Ваше милостивое и просвещенное ко мне внимание, — моя рукопись наделала Вам столько труда в переработке воспоминаний, Вы им придали совершенно другой характер и в сжатом виде составили более интересными, и потому искренно и от чистого сердца благодарю Вас. С чувствами… и пр. И. Го-лышев».

«Голос» писал о «Воспоминаниях»: «Записки г. Голышева интересны и по содержанию, и по языку. Они написаны как-то особенно наивно, что придает им характер неподдельной искренности… Но это, конечно, не только не мешает их занимательности, а, напротив, возвышает ее, придавая заметкам отпечаток непосредственности».

ГЛАВА 2 Потеря друга

Утром прислали телеграмму: «Папа умер Елизавета Тихонравова». Телеграмма ошеломила Голышевых. Пока Иван Александрович с Авдотьей Ивановной собирались в дорогу, пришло письмо из Владимира: «…Константин Никитич весьма трудно болен, ослаб силами, очень жаль. Поспешайте порадовать его своим свиданием. Он сам отчаивается в выздоровлении». Письмо запоздало.

«И я приехал к холодному трупу, — сокрушался Иван Александрович, — чтобы на своих руках опустить своего покровителя и наставника в последнее убежище, сырую неприветливую могилу…»

Тихонравов был для Голышева и учителем и большим другом. Огромна была их переписка, часты встречи.

Когда они познакомились во время приезда Тихонравова с губернатором во Мстёру в 1859 году, Голышеву шел всего двадцать первый год, а Тихонравову исполнилось тридцать семь. Голышев тогда еще — крепостной крестьянин. Тихонравов — коллежский регистратор канцелярии самого губернатора, редактор губернской газеты.

Однако очень скоро отношения их стали дружескими. И в этом была заслуга Тихонравова: он был совершенно чужд сословного чванства.

Сын мелкого чиновника, исполнительный мальчик, прошел суровую «бурсацкую школу» Суздальского духовного училища, вдали от дома и близких, поступил во Владимирскую духовную семинарию. Она давала «всем желающим… много всесторонних знаний, и притом разнообразных», воспитывая «в питомцах светлое суждение, острый ум, добрый и простой сердечный строй и любовь к труду» и уча «изящно и бойко излагать свои мысли в статьях, годных для печати».

Еще будучи семинаристом, читал Тихонравов «Владимирские губернские ведомости», редактируемые Герценом.

Тогда уже и родился у него интерес к прошлому своего края. Через два года после окончания семинарии Тихон-равов возглавит статистический комитет и газету.

На первом же заседании его Тихонравов ставит задачу изучения развитых в губернии ремесел, мануфактуры и заводской промышленности, призывает описывать все виды древних памятников зодчества, предлагает комитету издавать, кроме имеющейся уже «Памятной книжки», «Труды», организует при комитете музей.

Программа огромная. Но страстью своей Тихонравов умел зажечь других, и за тридцать лет его работы в комитете под его руководством во Владимирской губернии были собраны уникальные материалы. Он не только сам вел постоянные и разнообразные археологические, статистические исследования, а создал вокруг «Губернских ведомостей», при комитете, кружок из провинциальных изыскателей своего края.

Говорили, что Тихонравов, увидев в одном монастыре стены, оклеенные актами XVII века, чуть не упал в обморок. Константин Никитич с первых дней знакомства с Го-лышевым старался втянуть его в работу статистического комитета и газетные дела. Тихонравов был прост в обращении, всегда шутлив и предельно уважителен, очаровал стариков Голышевых, а уж юноша Иван был от него без ума. Ивану Голышеву особенно нравилось, что Тихонравов умеет говорить человеку любого ранга правду, да так, что на него не обижались. С губернатором он был почтителен, но мог сказать ему, что тот точно столб верстовой, только другим путь кажет, а сам ни с места. И губернатор не обижался.

«В понедельник, 11 сентября, исполнится 25 лет моей службы. Прошу Вас, пожалуйста, если можно, провести со мной этот знаменательный день и приехать прямо ко мне, — писал Константин Никитич Голышеву, — Ваш приезд доставил бы душевное удовольствие. Еще раз прошу, не откажите разделить со мной, если можно, день, решивший мою служебную участь…» То ли экономя бумагу, то ли шутя, Тихонравов часто писал письма на пустующих осьмушках присланных ему писем. И всегда его послания были с усмешечкой: «Ах, милейшая Авдотья Ивановна, у вас всегда

Тепло и хлебосольно
И сердцу русскому отрадно и привольно!..
Ах, Авдотья Ивановна,
На небе все прекрасно,
Небо чисто, небо ясно…

Ну, заболтался, не изурочить бы, — небо ведь очень урочливо». В каждом письме были поклоны «патриархам» Александру Кузьмичу и Татьяне Ивановне.

С возрастом Тихонравов начал страдать одышкою, которая мешала ему ходить пешком и «особливо в холодное время». Весной он немного оживал: «…начало весны, земля начинает покрываться зеленью, деревья распускаются, все оживает, и моя несносная болезнь уступает природе; с нею я тоже начинаю оживать, выдержавши полугодичный карантин, и вот первый признак моего оживания — это письмо к Вам, любезный Иван Александрович».

В конце апреля 1879 года Тихонравов писал Голышеву: «Счастливые месяцы выпали на долю мою, в каждом письме поздравлять Вас, любезный Иван Александрович, с Высочайшими подарками и вместе с тем надеяться, что такие радостные поощрения поддержат… Вас и поощрят к дальнейшей энергической деятельности по изданию в свет памятников старины родной. Действуйте неустанно, пока не прошло время благоприятное: силы и здоровье еще не изменяют, средства позволяют, да и счастие улыбается. Опыт убедил меня в истине, что никак не должно откладывать до завтра того, что можно сделать сегодня. Как часто случается, что вчера бывает гораздо лучше, чем ныне, и ныне еще хуже, чем прежде. Главное же — здоровье! А ведь мы беспардонно как расходуем его, страсть, — а потом уже сидишь да и дуешь себе в кулак. Куда, например, гожусь я теперь с милой моей подругой — одышечкой — сижу и нянчусь с ней. Зато прежде думал, что и веку не будет… а вот теперь и вышел — тряпка человек. Вожжи врозь, — ну хоть брось, — экая досада! Уж дугу не могу я согнуть, как надо».

И последняя записка Тихонравова во Мстёру: «Трехэтажному обладателю Голышевки — Ивану Александровичу Голышеву, Вязниковскому земцу-ратоборцу. От обывателя Ильинской улицы во Владимире, ветхого домовладельца».

На последнем заседании статистического комитета, 17 мая 1879 года, Тихонравов выступил с отчетом. Чувствовал себя уже плохо, читал отчет с остановками: перехватывало дыхание. Губернатор Судиенко предложил передать чтение письмоводителю комитета, но Тихонравов отмахнулся: «Наберитесь терпения, я хочу сам; может, в последний раз это…» Все тяжело замолчали, потому что шутник и острослов Тихонравов сказал это совершенно серьезно, и все поняли, что дело плохо.

Жили Тихонравовы очень скромно. Жалованья Константину Никитичу не хватало на семью из пяти человек. Брали в кредит у мясников и водовозов. В то время как многие чиновники потихоньку, путая свой карман с государственным, наживались, он, при скудости отпускаемых статистическому комитету средств, постоянно тратил на комитетские дела свои деньги. И умер, не оставив семье ничего, кроме чудом сбереженных — специально на гроб — двадцати пяти рублей.

Иван Александрович тяжело переживал безвременную смерть друга. Сначала он вместе с другими хлопотал о пенсии для осиротевших жены и детей Константина Никитича. Потом сел за книгу-некролог о Тихонравове. Поставил эпиграфом к работе слова: «Память бескорыстных поборников правды и добра не

должна умирать». При Тихонравове сменилось девять губернаторов, отмечал Иван Александрович. Уезжая, как правило, с повышением, каждый из них звал Тихонравова с собой, но он «пренебрег выгодами наживы… на заманчивых должностях, не захотел барствовать мироедом» и на всю жизнь остался секретарем статистического комитета. Он любил приговаривать: «Старого не покидай, вновь не заводи, где родился, тут и пригодился». Говорили, что голова Тихонравова напоминала собой библиотеку, сверху донизу набитую историческими изданиями, но стояли они «в прекрасном порядке».

«После покойного Константина Никитича тихо ползут дела нашего… комитета… — пишет Иван Александрович Семевскому, — «жатва многа, делателей же мало». Мы ожидали, что преемник его продолжит начатки покойного, но увы! он хотя и дельный человек, но ужасно ленив… дела остаются часто в забвении… До сих пор биография о Константине Никитиче не напечатана…»

Со смертью Тихонравова хуже стала работать и типография. Только спустя год после его смерти с трудом вышел, подготовленный еще им, третий том «Ежегодника» комитета, а он оставил готовым к печати и четвертый. Статистический комитет не собирался уже полтора года. Иван Александрович осиротел, таким образом, дважды.

Единственным радостным событием в этот период для Голышева было награждение его новой большой серебряной медалью от С.-Петербургского археологического общества. Он писал Семевскому, принимавшему участие в хлопотах о награде: «Не знаю — я имею ли столько прав… на присужденную мне… медаль — я теряюсь при столь великом счастии и смущаюсь за свои небольшие заслуги на столь важную награду ученой археологической семьи… Этот новый знак милостей да будет мне еще более… возбудителем скромно идти избранной дорогой и неослабно посвящать время и силы на исследование драгоценной старины…»

ГЛАВА 3 «Альбом русских древностей»

Выросла, расцвела воспитанница Голышевых Симочка-Сеночка, и выдали ее замуж за мстёрского писаря Ивана Крылова.

Голышев хотел получше устроить зятя, чтобы безбедной сделать жизнь племянницы, хлопотал перед отцом Пименом об освободившемся месте священника вязниковской Покровской церкви.

— У него призвание к этому, — говорил Иван Александрович про зятя. — И хочется, чтобы они с племянницей были рядом, это доставило бы мне сердечное утешение.

Хлопоты увенчались успехом, и молодые переехали в Вязники.

Супруги Голышевы, хоть и грустили, расставаясь с любимицей, но и радовались, что выдали Сеночку по любви. Муж души не чаял в своей жене.

Это радостное время омрачено было болезнью матери Ивана Александровича. Татьяна Ивановна уже едва ходила, но все рвалась в церковь. Добираться до Богоявленского храма было далеко и «отяготительно», и она посещала близкую к Голышевке единоверческую церковь.

Однажды в мае Татьяна Ивановна вернулась от всенощной вся в слезах, рассказала, как староста этой церкви кричал на нее:

— Щепотница, не молись, щепотницу — вон! Иван Александрович, в отличие от отца, относился к староверам с терпимостью и порой даже с сочувствием. По делам своим часто сотрудничал с ними, а кое с кем и дружбу водил. Но эта выходка единоверца по отношению к больной женщине возмутила Голышева. Он сел писать письмо архипастырю…

Вскоре Татьяна Ивановна умерла. Иван Александрович говорил, что кончина матери «причинила ему великое горе, тяжелую и незаменимую потерю».

Совсем тихо стало в доме Голышевых. Авдотья Ивановна первое время не находила себе места и зачастила в Вязники. Иван же Александрович весь ушел в работу. Для губернской газеты он написал новые статьи об иконописи и книжной торговле во Мстёре, но главной его заботой в это время был готовящийся к изданию большой «Альбом русских древностей».

Голышев давно уже работал над ним. Еще год назад ездил в Переяславль-Залесский рисовать знаменитый Спасо-Преображенский собор. И он теперь красовался на литографии:

одноглавый, строгий и соразмерный. Он был построен в 1152 году Юрием Долгоруким.

«Того же лета (1152) князь великий Юрий Долгорукий Суздальский, быв под Черниговом ратью и возвратися в Суздаль на свое великое княжение и, пришед, многи церкви созда: на Нерли св. страстотерпцев Бориса и Глеба», — так сообщает древняя летопись о создании в трех верстах от Суздаля, на берегу речки Нерли, церкви св. Бориса и Глеба в селе Кидекше князем Георгием Владимировичем Долгоруким. По преданию, была в Кидекше загородная дача князей суздальских. И будто бы князь Георгий хотел перенести в это местечко, очень нравящееся ему, весь Суздаль, «но по некоему явлению возбранен бысть», и тогда «согради» тут монастырь, и «прозва то место Кидекша», что означает — покинутое. Иван Александрович описал гробницы князей в этой церкви, изучил архитектуру храма и заключил: «Вековая кладка храма сохранила до нас эту церковь как свидетельство о благочестии великих князей русских и усердии их к созданию храмов Божиих».

Иван Александрович помещает в альбом страницу храмовых окон. Какие они разные! С мысообразными и стрельчатыми карнизами, с тройными дуговыми кокошниками. По бокам украшены подвесками и перешейками. И все это создано из так называемых шаблонных кирпичей, которые в XVI–XVII веках делали в железной форме из глины и обжигали потом, как обыкновенный кирпич.

Теперь уж таких нет, замечает Голышев. Нынче подобные украшения высекают из обыкновенного кирпича, и они получаются менее прочными.

Потом в альбоме была целая страница древних прорезных подзоров — из листового железа, «которыми издревле на Руси любили украшать храмы».

В одной церкви бывали подзоры разных, самых замысловатых рисунков. Их окрашивали или золотили, только ныне их осталось мало, «остальное сорвано ветром или временем и уничтожается обращением в старое железо, как самый негодный материал». Опять упрек современникам.

Поместит он в альбом и древнюю резную плащаницу. Такие вещи были редкостью уже, ибо в 1722 году указом Синода и Сената повелевалось: «А резных икон и отливанных не делать и в церквах не употреблять, кроме распятий, искусною резьбою учрежденных, и иных некиих штукатурным мастерством устроенных и на высоких местах поставленных… А в домах, кроме малых крестов и панагий, искусною ж резьбою деланных, отнюдь никаких резных и отливных икон не держать».

Он опишет редкие, хранящиеся в Богоявленском храме, резные по дереву и кости иконы, финифтяной образок, а потом и небольшое, но весьма интересное исследование посвятит крестам и изобразит литографически семнадцать их, разнообразных форм и образцов: мужских, женских, детских… Кресты делались из разных металлов, часто из серебра и золота, украшались ценинной поливой или финифтью разных цветов.

Потом он зарисует резной на кости медальон с профильными портретами Петра II и Елизаветы Петровны, древний серебряный кубок с ножкой в виде Геркулеса, поддерживающего чашу. На чаше с трех сторон, в орнаментах, были портреты Петра I, Екатерины II. Такие кубки, как родовая драгоценность, украшали праздничные столования, переходили в наследие от поколения к поколению. Ими награждали, как потом будут награждать перстнями и орденами. И удостоенные такого дара именовались жалованными людьми.

«Не одни татарские разорения и пожары были причиною уничтожения памятников древних русских искусств и художеств», — пишет Голышев. Тот же синодальный указ в 1722 году повелевал отобрать на церковные всякие потребы привески у образов, что и было исполнено в церкви Владимирского Княгинина Успенского девичьего монастыря XII века. Повсюду на Руси было уничтожено множество украшений древних икон. С болью писал Голышев в альбоме, что по «равнодушию, беспечности, холодности, а сплошь и рядом по невежественному обращению… уничтожалось множество драгоценностей старины… особенно в среде провинции».

«Время изгладило старину родную», — с горечью отмечает он, — и вышивки «ныне утратили свой оригинальный характер изящества», а было время, когда на стенах во время свадьбы развешивались «в числе приданого» вышивные полотенца и простыни были с затейливыми рисунками.

— Ванечка, тебе целая пачка писем, — вошла в кабинет мужа Авдотья Ивановна, — и сразу два от барона.

— Почитай мне сама, — попросил Иван Александрович.

Барон Николай Казимирович Богушевский, член С.-Петербургского и Московского археологических и Британского исторического обществ, был самым активным корреспондентом Голышева. В 1877 году он впервые написал Голышеву, прочитав о нем статью Стасова в столичном журнале, и попросил его альбомы «для исследований» о России и ее древностях, которые он издавал в Англии.

Барон был сверхобразован. «Иностранец по воспитанию», как он себя называл; кончил курс в Гейдельберге, учился в Англии —

в Итоне и Оксфорде. Происходил он из важного и богатого рода. Жил Богушевский в своем имении под Псковом холостяком и писал, что не собирается жениться. В тридцать лет увалень, весом в пять пудов, при росте пять футов, списывал свою лень на текущую в нем малороссийскую "кровь.

«…Деревенский житель и любитель деревни, — писал барон о себе, — любитель нашего, хотя бедного, но чистосердечного народа — все обычаи его — особливо имеющие следы древности — для меня дороги… горжусь тем, что хотя потомок древних крепостников, но первый, даже за 12'/г месяцев до Манифеста… сам отпустил крестьян своих (1180 душ) на волю». Но и после этого Богушевский остался самым крупным землевладельцем своего уезда, имея в шести усадьбах пятнадцать тысяч десятин земли, которые отдавал «в кортому» — аренду.

Барон жаловался Голышеву, что получает очень большую корреспонденцию и потому у него постоянно залеживается пятьдесят — шестьдесят писем, но Ивану Александровичу с ответом он никогда не медлил и писал письма на огромных листах, по шесть и более страниц.

Видимо, он был очень одинок. Чуть задерживался Голышев с ответом на его письмо, как Богушевский уже беспокоился: «Не нашли ли чего неприятного в моих письмах? Если да, ради христа простите, ведь не всегда слова по вершкам удается размерить — пишется что на ум набредет, без дурной мысли».

Как-то Богушевский, выпрашивая у Голышева за деньги автограф письма Некрасова, видимо, неосторожно назвал Ивана Александровича офеней, Голышев обиделся.

Барон перепугался, как бы дружба их не пострадала: «Когда, позвольте спросить Вас, сказал или намекнул я, что Вы — офеня или поступаете, как офеня? Сколько помню, об такой грубости и помину с моей стороны не могло был. и Вы никогда не подали мне малейшей причины на такуто нелепую выходку. Я добавлю, что я очень чту и дорожу вниманием Вашим… ни за 10 000 р. не согласился бы с Вами разойтись, да еще по своей вине или грубости (а ее у меня и в характере сроду не было)… Все Ваши действия, добавлю, благородны и почтенны — а если чем и досадил Вам, то прошу извинить уважающему Вас земляку и позабыть… Буду ждать с нетерпением от Вас весточки — чтобы услышать, что не сетуете на меня долее».

Очень обрадовался, что недоразумение устранилось, попросил Голышева прислать свое фото и сообщал: «Карточка будет в моем альбоме в достойном Вас обществе европейских ученых, друзей моих. Между ними есть и Кар-лейль, и Виктор Гюго, и Бульвер-Литтон, и Оуэн и Дарвин, и наследный принц

Германский, и много еще важных, а главное — добрых, чистосердечных людей». «Таких любителей археологии, — писал Николай Казимирович Го-лышеву, — как Вы да я, на Руси очень мало, большинство гоняется за наживой по другим, менее почтенным стезям и относится к археологии — особенно же провинциальной — либо с насмешкой, либо с полнейшим равнодушием…»

Прочитав в «Голосе» некролог Голышева о Тихонраво-ве, Богушевский писал: «Жаль, жаль, что у нас полезные деятели умирают, не оставляя ничего — даже для похорон, а пустомели, бюрократы, казнокрады и подлипалы… оставляют капиталы семьям, пенсии любовницам и слугам и ложатся под мраморные саркофаги в Александро-Невском!»

Богушевский постоянно просил Ивана Александровича присылать иконы, доски для икон и пряников, брошюры и голышевские альбомы.

Чины он не почитал, даже про свой титул барона писал Голышеву: «мне он противен» — и довольно резко отзывался в письмах о людях своего круга. Отказался быть членом управы, так как «не хотел быть заодно с подлецами и грабителями, делить трудовой кусок, отнятый у хлебопашца». Про общего их знакомого говорил: «…откровенно скажу: не почитаю. Это все из тех же подлипалов-фанфаронов… Это у нас всегда так. Ложись на лежанку и спи на лаврах, благо 2 брошюры написал, из других книг склеив их!!» Редактора «Русской старины» Семевского он одно время тоже не жаловал, считая, что он «превращается из любителя изысканий в истого Бюрократа».

Наверное, подобные письма сыграли немалую роль в формировании мировоззрения Голышева, вернее в изменении уже сформированного школой, церковью, семейным воспитанием верноподданнического мировоззрения.

Голышев в ответах Богушевскому выражал недовольство цензурой. Тот живо откликался: «Очень и очень сожалею, что цензура так обескураживает… Блаженна та страна, которая не имеет цензуры…»

И теперь Богушевский первый откликнулся на новый альбом Ивана Александровича: «Поистине… альбом Ваш превзошел все прежние отличные издания Ваши. Рисунки и нарисованы хорошо, и отпечатаны отменно хорошо».

А Голышев печалился, что новый альбом не продается. «Очень жаль, — пишет Богушевский, — что Ваш прекрасный альбом не получил должного распространения… Если дураки… их теперь не ценят, то оценят после умные. У нас дожди все погубили. Сено погнило, трава забила все в полях, а рожь

наполовину метла! Я, как Вам известно, тоже живу с того, что Бог уродит… а потому убытки оказываются за эти 3 годка у меня очень изрядные. Но если бы их и не было — то прискорбно за других, мелких землевладельцев, которые просто разорены этими непогодами».

Барон скучал и болел от безделья, жаловался на дожди. Дожди шли и во Мстёре. Иван Александрович простудился, кашлял. Болела спина. Это мешало сидеть долго за столом.

В конце июня неожиданно пришло письмо от князя Николая Николаевича Голицына из Варшавы. Князь составлял… родословную и просил Голышева узнать что-либо о князе Борисе Александровиче Голицыне, воспитателе Петра I. Он был похоронен во Флорищевой пустыни, неда-леко от Вязников.

Переписка Голышева стала так велика, что мстёрские почтовые работники отказались доставлять письма и посылки на дом.

Голышев нервничал. Разговор с начальником почти ничего не дал. Пришлось обращаться в губернское правление…

Лето 1880 года выдалось жаркое, необычайно сухое. И весь июнь во Мстёре свирепствовали пожары. Сгорело двадцать шесть домов «бедного люда», как сообщал Голы-шев Безобразову.

Пожарам способствовала и скученность домов, и то, что вопреки губернскому предписанию высаживать перед домами березы, которые бы препятствовали перекидыванию огня с порядка на порядок, во Мстёре посадками никто не занимался.

«Скучна и темна наша провинция!»» — сетовал Голышев в письме Безобразову и радостно-горестно, с иронией сообщал: «Наконец и наша Мстёра поступила в казну, выкупная операция утвердилась». Только спустя девятнадцать лет после реформы Мстёра вроде бы получила свободу. Крестьяне поспешили вносить выкупные деньги, чтобы скорее получить давно желанную собственность, но волостной старшина принялся тормозить дело, вызывал к себе, угрожал.

Раскольники будто нарочно изживали все, что сделал в свою бытность старшина Голышев. Был уничтожен хлебный магазин, «банковская сумма распущена». Никто теперь не занимался мстёрской статистикой. Безобразов просил Голышева прислать новые данные о Мстёре, о производстве и торговле. Иван Александрович обивал пороги волостного правления и ничего не мог добиться.

Время было тревожное. Одно за другим шли покушения на императора Александра II.

— Сказывают, какой-то Степан Халтурин устроился столяром в Зимний дворец, а столярная-то была как раз под царской

столовой. Наносил он будто бы туда взрывчатки да и взорвал, а царь-от как раз вышел куды-то, снизу-то этому Халтурину не видать было. Опять, видно, не судьба, второй раз господь руку убийцы отводит.

— До третьего разу топерь.

— Не каркай!

— Я чо? Я — ничего.

Только 3 марта дошла до Мстёры весть о новом покушении на царя. 1 марта царь был смертельно ранен. Слухи были разные. Одни говорили, что царя убили прямо в карете. Другие оспаривали, утверждая, что была повреждена только карета. А вот когда Александр II вышел из сломанной кареты, кто-то бросил бомбу в него. Убийца был сам убит этой бомбой, а царь еще пожил немного.

Потом дошли вести, что убийцы были повешены, среди них баба — Софья Перовская.

— Говорят, она это на Курском вокзале взрыв устроила, только тогда ее еще не разоблачили. Она и бомбы на Спасской улице закладывала, а царь не поехал по ней. Да у них, поди, на кажной улице стояли свои бомбы.

— Есть же люди, которые прячут убийц?!

— Намаялись, можа, от царя-то.

— Чего ты мелешь?

— Да уж господам-то этим худо ли живется? Чай, получше, чем нам.

— Тут они, дурак, об тебе пеклись, тебе хотели помочь.

— Так они ж меня не знают.

— А зачем им тебя знать. Они знают, как всем нам живется. Сладко?

— Како там! Да только грешно человека убивать, царя аль бродягу какого, — всё одно грешно.

— А баба-то, баба-то — иродка.

— Они все, бабы, змеи, вот моя…

На престол вступил сын убитого императора Александр III, которому, в бытность его цесаревичем, Голышев не раз посылал свои издания.

И теперь, стараясь засвидетельствовать свое почтение новому императору, Иван Александрович поспешил отправить через друзей ему свой новый «Альбом русских древностей Владимирской губернии, с 40 листами рисунков».

Журнал «Исторический вестник» откликнулся на альбом большой статьей: «Изучение русских древностей и старины — занятие весьма неблагодарное. Публика не поощряет его своею поддержкой…» Не поддерживаются археологические изыскания и

государством, отмечал журнал. «Нас же интересует стоическое упорство скромных тружеников. Замечательно, что, при всей неблагодарности изучения отечественной старины, при всем равнодушии общества к нему, находятся стоики, с неисправимым бескорыстием продолжающие без шума и треска свою работу на пользу науки, не щадя ни усилий, ни личных средств. К числу этих стоиков следует отнести г. Голышева, издателя лубочных картинок для народа».

Редакция отметила прошлые издания Голышева и продолжала: «„Альбом русских древностей" не только достойно дополняет серию этих изданий, но и превосходит их во многих отношениях; во-первых, по разнообразию содержания… Во-вторых, „Альбом" имеет преимущество в сравнении с прежними изданиями… по выполнению рисунков. Большинство их сделаны отчетливо, чисто, а некоторые — даже художественно. Видно старание сохранить подлинные черты оригинала, видно стремление совершенствовать техническую отделку рисунков, при наличности лишь весьма скромных технических средств, имеющихся в распоряжении издателя. Такие труды, конечно, никогда не потеряют своего значения для науки и техники… труды, подобные изданиям г. Голышева, при всей их видимой скромности, составляют патриотическую заслугу предпринимающего их. Они достойны полного внимания и поощрения…»

И поощрения пошли косяком: бриллиантовый перстень с рубином, осыпанным бриллиантами; бриллиантовый перстень с альмандином; орден Станислава третьей степени…

ГЛАВА 4 «Памятники русской старины»

Новый, 1882 год начался оттепелями. Распутица, мокрый снег, туманы, неблагополучие в стране нагоняли тоску.

Безобразов, поздравляя Голышева с Новым годом, писал: «Дай Бог, чтобы для всех нас он был лучше 1881, опозоренного мученическою кончиною нашего государя». И уверял Ивана Александровича: «Ваши письма всегда очень для меня интересны. Верьте моей душевной преданности».

Барон Богушевский писал о том же: «Тот-то год не утешил, а всячески сокрушил… Сокрушил он, разрушил нашу святую веру в Правду, в Святую Волю Господню. 1-е марта порвало в нас во всех какую-то струну — это не струну ли Веры и Надежды на Будущность?..»

Голышев тоже оплакивал убитого Александра II, тем более что год царствования его преемника действительно убил все надежды на будущее. Александр III твердой рукой расправлялся со всяким свободомыслием. Он вызвал в столицу волостных старшин и заявил им:

— Следуйте совету и руководству ваших предводителей дворянства и не верьте вздорным слухам о переделах земли, даровых, прирезных… всякая собственность должна быть неприкосновенной.

Отмененная двадцать лет назад крепостная зависимость все еще продолжалась. Выйти крестьянину из общины было почти невозможно, так же трудно было отделиться от семьи выросшим, имеющим свою семью детям.

Закрывались учебные заведения, появился так называемый «циркуляр о кухаркиных детях», который запрещал принимать в гимназии детей прачек, кухарок, кучеров и мелких лавочников. Была повышена плата за обучение. Год, непутево начавшись, приносил плохие вести. Газеты писали, что в Александровском уезде прошел снег с червями. Предсказывали, что это — к голоду, мору, к войне.

В марте на восемьдесят восьмом году жизни скончался в Петербурге граф Сергей Григорьевич Строганов. В восемьдесят лет он еще ездил в Рим, ходил там по музеям. И в день смерти, в светлое Христово воскресенье, стоял заутреню, а потом, вернувшись домой, «бережно прилег… у своего рабочего стола и, скрестив руки на груди, заснул вечным сном».

В Москве открылась, по существу, первая Всероссийская

промышленно-художественная выставка. Голышева пригласили участвовать в ней, и он представил все свои издания. Но в газете выражал недовольство организацией выставки. Мстеряне, например, готовили к ней коллекцию кожаной обуви, сусального серебра, литых аплике, иконных риз и хоругвей, но не были допущены. Не было на выставке ничего из Холуя и Палеха.

Приехав как-то во Владимир, в апреле, Голышев услышал в типографии, что во владимирском Успенском соборе начались «возобновления» и что прежние рисунки собираются соскабливать. Ранее уже были там закрашены древние росписи. Уваров, Тихонравов писали об этом соборе. Что же теперь затевается?! Иван Александрович тут же отправился в Успенский. Все подтвердилось. Пригласили уж из Москвы мастера для новой стенописи.

Иван Александрович возмущался:

— Наши владимирские иконописцы, из Вязниковского уезда, палехские крестьяне Белоусовы приглашены в Москву для росписи стен в Грановитой палате, звали их и в Троицкую лавру, а в своей епархии этих мастеров не признают, нанимают московских.

Московские же посчитали, что в древних фресках нет «никакого изящества», что они несовременны и что «подобные работы должны сохраняться» лишь в музеях, «так как они могут быть интересны для одних археологов», что недостаточно в стенной древней росписи «яркости красок, румяных лиц и блеска золота».

— Куда ни сунься — никому нет дела до этих сокровищ, — сокрушался Иван Александрович. — В канцелярии губернатора только посмеялись, а губернатор сказал: «Художникам виднее».

Домой Иван Александрович вернулся подавленный. Почему о*н, в недавнем прошлом крепостной крестьянин, малограмотный человек, понимает, что важно сохранить старинные рисунки такими, какими их нарисовал древний художник, а нынешние властители все стараются подновить да подкрасить?! И он сел писать статью в московскую газету.

3 мая 1882 года эта статья была опубликована в «Современных известиях» под псевдонимом Проезжий.

«…Если святотатственная рука не пощадит фресок, — в запальчивости гневно писал Голышев, — пусть рука эта отсохнет…» И, опасаясь, что и газета не поможет, Иван Александрович бросился в Москву, отыскал графа Уварова. Алексей Сергеевич ужаснулся затеянному подновлению, хотел было сразу ехать во Владимир, но потом понял, что владимирский губернатор может и его не послушать.

Решили срочно создать комиссию из самых влиятельных ученых-археологов, членов московского археологического общества. Уваров всю свою прислугу разослал разыскивать профессоров. Дорог был не только день, но и час. Нашлись Забелин, Румянцев, Мансветов, Иловайский… — все люди известнейшие. Забелина избрали председателем комиссии.

Через десять дней после статьи Голышева в «Современных известиях» ключарь владимирского Успенского собора протоиерей А. Виноградов заверял общественность, что фрески XV века работы Андрея Рублева и Даниила Иконникова и не собирались уничтожать. Но 15 мая созданная в Москве комиссия ученых, включая графа Уварова, все-таки прибыла во Владимир.

Ученым удалось защитить древние фрески. Неуемному в переделках московскому мастеру было отказано. Голышев предложил реставратора — мастера из Палеха Сафонова. Сафонов был в Палехе «ученый и просвещенный», потомственный иконописец, водил знакомство с московскими и петербургскими церковными живописцами, что «дало ему вкус и понимание старины». Отец его составил целый сборник древних образцов иконописи византийского стиля. Сын приобрел еще Строгановский сборник и десятки других карандашных снимков с древних икон. И принципом в своей работе Сафонов сделал «возвращение иконописи к ее первым образцам первых христианских лет на Руси».

Теперь Голышев успокоился. Этот мастер не испортит старины. «Слава богу, благое дело увенчалось успехом. Как я рад этому! — писал он Семевскому. — Во Владимире из археологов уже нет никого за смертью К. Н. Ти-хонравова, и вандальское разрушение драгоценной древности, к сожалению, не редкость. Сперва владимирские власти духовного звания, во главе с преосвященным, сердились и обижались на меня за печатное слово правды, но потом сами же убедились, что это послужило к полнейшему благолепию и сохранению замечательного искусства, а вместе с тем и к их собственной пользе и чести, что у них есть такое сокровище…»

Через два года реставрация в соборе будет успешно завершена. 18 марта 1884 года Общество истории и древностей московских при Московском университете, членом которого был уже и Голышев, будет праздновать свое восьмидесятилетие. После торжеств почти вся гвардия собравшихся ученых отправится во Владимир на открытие после реставрации Успенского собора. Два дня ученые будут обозревать фрески и вынесут «полнейшее удовольствие и восторг».

Во время реставрации произведены будут «опыты» и будет

открыто еще множество изображений, восходящих к XII веку. Голышев опишет все это потом в статье «Счастливая судьба фресков Владимирского кафедрального собора XII века», сделает еще и оттиск с этой статьи в виде брошюры.

В статье о торжествах Голышев восхищался реставраторами: «простые — смиренные работники… русские… мужички, нашей родной Владимирской Палестины, бывшие крепостные крестьяне, изучившие искусство на Палехской почве, воспитались и возросли здесь, обучились друг от друга здесь же, не в стенах академий, а на своей родине, в своих хатах, деревенских избушках. Это доморощенные художники, хотя и не имеющие высоких званий и дипломов, — честь и слава им!»

О своей роли в спасении фресок Голышев даже не упомянул в статье. Однако начальство пригласило его на торжество. Гости съехались из разных городов страны. Иван Александрович оказался среди именитых людей один из крестьян, без ученых степеней. Было 13 ноября. Чем-то это число было отмечено в его жизни.

«Что же было 13 ноября? Вспомнил!» 13 ноября, ровно тринадцать лет назад, после раздела с отцом, он с девятью копейками в кармане метался, не зная, как выйти из затруднительного положения. Вот почему запомнилось это число. Помнилось еще, как он выпросил тогда у священника 35 рублей в долг на «продовольствие».

С хозяйством он справился. Дело повел исправно. И теперь «сидел за почетным столованием и прочими рос-кошами» среди самых знаменитых ученых России.

«Вот как божественный промысел устрояет дела людские», — думал он, сердце «сжималось» и «трепетало» при «воспоминаниях минувшего».

Иван Егорович Забелин после торжественной части заторопился домой, в Москву. Голышев, чтобы побольше побыть с ученым, тоже отказался от застолья у соборного старосты и пошел провожать Забелина на вокзал.

— Теперь еще одна забота, — говорил Иван Александрович, — на Успенском соборе устроить крышу и привести в должный вид памятник святого князя Андрея Боголюбского — каким он был в двенадцатом веке. — Будто это было его обязанностью.

В субботний день 24 апреля горел Палех. Причиной послужила неосторожность при приготовлении для иконописи вареного масла, смолы. Через три дня сгорела бумагопрядильная фабрика в соседней Юже, а 4 мая, после обеда, заполыхали соломенные крыши Татарова. В десяти саженях от домов

невозможно было пробежать. Огненный вихрь «нес пламя, как волны», напишет Голышев в статье о пожарах.

Огонь охватил колокольню, колокола попадали с нее с жутким зловещим гулом, потом упал крест с церковного купола.

Паника охватила и обитателей Голышевки. Огонь свирепствовал уже у соседа, помещика Протасьева. Его рабочие изо всех сил старались уберечь писчебумажную фабрику, им это удалось, сгорело только несколько хозяйственных и жилых построек в имении. В одном пепелище нашли обуглившийся труп, без рук и ног, бывшего камердинера Протасьевых Василия Николаева. Почти сорок лет прослужил он у помещика, сколотил состояние в несколько тысяч, и вот…

Сгорели и дома управляющего писчебумажной фабрикой Квицинского. Говорили, что с них пожар и начался, что это — поджог, месть, что Квицинскому уже грозили поджогом за «его усердие» на пожарах. До Голышевых огонь не дошел.

Разлив рек, речек и оврагов в этом году был самый ничтожный. Такого маловодья старожилы не помнили.

5 мая ожидалось солнечное затмение, которого мстеряне тоже опасались, но день выдался такой пасмурный и темный сам по себе, что затмения почти и не заметили.

Иван Александрович заканчивал брошюру-отчет о двадцатипятилетии литографии. Хлопотал, чтобы дата эта не осталась незамеченной. Но главным своим занятием в этот год считал составление нового альбома — «Памятники русской старины».

Рисунки для него он готовил в течение нескольких лет. Религиозной поэзией средних веков называл он иконы. На этот раз Голышев решил рассказать о двух образах, тесно связанных с крестьянским бытом, — уже описанной раз им, очень распространенной в народе, «кумошной» иконе, прозванной еще иконой «двенадцати кумох-лихорадок», и о, тоже очень любимой народом, старой иконе, именуемой «лошадиным праздником». О второй иконе, на которой были изображены покровители скота архистратиг Михаил и святые Модест, Власий, Флор и Лавр, Иван Александрович уже писал в своих статьях и брошюре. Теперь толкование сопровождалось искусно выполненными изображениями икон. Расширился и комментарий.

В одной рецензии на альбом как-то отмечалось, что текст, мол, голышевских альбомов — не самое важное, что он часто заимствован из других источников и порой представляет собой сплошные цитаты. Но чтобы составить и текст из цитат, Голышев изучал множество книг. Вот и при работе над этим альбомом он ссылается на двадцать книг, тогда как текста в альбоме было

всего три листа. И записки замечательно комментируют приложенные иллюстрации, давая полную историю и характеристику рассматриваемого предмета. Потом шло пять листов литографий иконных окладов, два листа — венцов с древних образов, золотых, серебряных; оригинальных рисунков, рельефных и гладких, с украшениями из поливы и финифти.

«Древние ризы, оклады, венцы с домашних икон в большинстве утратились, — писал Голышев, — они то и дело снимаются с икон и поступают в переделку или обращаются в лом, ввиду ценности и высокого качества употреблявшегося на них металла; причем не обращалось никакого внимания на фигурные рисунки, которыми наши предки так заботливо и усердно украшали свои родовые иконы».

Альбом «Памятники русской старины» вышел в 1883 году, с 17 листами рисунков и тремя оттисками с больших старинных медных досок. На него живо откликнулся журнал «Русская старина». Редакция отмечала, что уже давно знакома с «труженическою жизнью» Голышева и что «настоящий выпуск его издания превосходит все предыдущие его альбомы по своей внешности: видимо, литография в Голышевке близ Мстёры все более и более совершенствуется»; отмечалось также, что «достоинство» альбома — «в безукоризненно выбранных рисунках… Для исследования творчества русского народа, его верований и суеверий, его бытовой жизни в старину — как настоящий, так и предыдущий выпуски изданий г. Голышева составляют весьма полезные труды…».

«Исторический вестник» писал, что «Иван Александрович Голышев, известный крестьянин-самоучка, оказал нашей исторической науке существенные услуги изданием разных древностей и памятников старины». «Каждый такой сборник г. Голышева снабжен прекрасными рисунками… Настоящее издание… посвящено исключительно старинной живописи. Книга издана in-folio… На первом плане здесь памятники древней иконописи… затем идут любопытные образчики старинного русского орнамента: оклады и венцы… Всего замечательнее в книге… отдел о пряниках (33 рисунка)… Внешность книги… вообще заслуживает внимания во всех отношениях». Говорилось, что новые альбомы «помимо их научного значения, отличаются необыкновенно художественной работой, ставящей деревенскую литографию г. Голышева наравне с лучшими столичными литографиями… Полезные труды г. Голышева заслуживают полного поощрения…».

Теперь Иван Александрович работал уже над новым изданием — «Альбомом рисунков рукописных синодиков 1651, 1679 и 1686

годов». Синодиками называли списки умерших, которые родственники сдавали в церковь для «поминовения». Рукописные синодики, «помянники о пособии мертвым», велись издавна в русских храмах и в домашнем обиходе.

Было установлено читать синодики после седьмого вселенского собора всенародно в первую неделю великого поста. В XVII веке помещали перед списками, в начале синодика, душеспасительные истории. Потом синодики стали украшать виньетками, рисунками, замысловатыми изображениями.

Исследованием синодиков Голышев занимался давно, когда, описывая монастыри и церкви, стал находить в них эти заброшенные древние поминальники. Публиковал о них статьи в газете. Еще в 1882 году он начал издание «Синодиков» с четырьмя рисунками в красках, а остальные — «в чертах». Послал образцы графу Уварову. Тот порадовался «как-то особенно» и сказал: «Это куда хотите не по-деревенски», — и добавил: «Хорошо бы сделать все рисунки, как первые, красками». Иван Александрович принял совет к сведению.

Эти синодики он разыскал в вязниковском Благовещенском монастыре. Они пленили его замечательными орнаментами, рамками, бордюрами, сделанными от руки тушью, золотом и киноварью. Довольный вернулся он тогда домой, позвал Авдотью Ивановну поделиться радостью. Вместе рассматривали они древние рисунки.

«Сохраняя воспоминания о предках, — писал Голы-шев, — синодики давали благочестивым людям обильный материал для назидательных размышлений» и «служили справочными книгами, в которых каждый мог найти объяснение церковных правил о поминовении усопших и приличные случаю молитвы»; он отмечал, что синодики были интересны «по разнообразию и возвышенности мысли» наших предков и «еще важнее» — их рисунки и изображение, «исходящие самобытно, как наследие от наших предков, труды которых составляют наше сокровище, славу и гордость». И призывал к сохранению для грядущих поколений этих «письмен в олицетворении с отеческими преданиями».

Альбом синодиков, с тридцатью листами хромолитографических рисунков, орнаментов, виньеток, букв и бордюров, искусно переписанных и срисованных Голышевым и отпечатанных красками и золотом, вышел в 1885 году и принес Ивану Александровичу новую славу.

Восьмидесятидвухлетний вице-президент Академии наук Виктор Яковлевич Буняковский живо откликнулся на присланный ему Голышевым новый альбом, благодарил «за дорогое

внимание», отмечал, что издание иллюстрировано «высокохудожественными рисунками». Писал: «Важность заслуг Ваших по исследованию русских древностей уже признана всеми нашими специалистами и знатоками этого предмета», сообщал, что труд его будет представлен на мартовское общее собрание академии.

Графиня Прасковья Сергеевна Уварова, занявшая после смерти мужа его место председателя императорского московского археологического общества, писала: «Благодарю от души лично от себя и археологического общества за изящно изданный Альбом синодиков…»

Директор императорской публичной библиотеки Афанасий Федорович Бычков отмечал, что издание по исполнению может поспорить с изданиями, выходящими из лучших типолитографических заведений в столицах.

Леонид Николаевич Майков, председатель отделения этнографии императорского русского географического общества, писал: «Ваш край оскудел учеными силами, зато приятнее видеть, что Вы сами не устаете трудиться и дарите ученую нашу публику полезными изданиями… в Петербурге ценят подобные труды, очень интересуются Вашими книгами…»

Директор археологического института И. В. Андриевский просил Голышева «вписать» его «в список самых расположенных… лиц». «Исторический вестник» в пятой книжке 1886 года отмечал: «Синодики Вязниковского Благовещенского монастыря (Владимирской губернии), в настоящее время воспроизведенные Голышевым, с замечательным изяществом и безукоризненной совестью, заслуживают особого внимания по разнообразию украшающей их орнаментики и заключающемуся в них оригинальному иконографическому материалу… В общем, новый труд г. Голышева представляет богатые данные для изучения древнерусского искусства и, с той точки зрения, заслуживает особого внимания не только специалистов, но и всякого художника».

Неожиданно пришла печальная весть о смерти барона Николая Казимировича Богушевского. Он умер в сорок лет, убитый горем после пожара, унесшего самое дорогое в его жизни — замечательную коллекцию автографов и книг. Собрание автографов было богатейшим в России, в нем — подписи Лжедимитрия первого, Марины Мнишек, все подписи царских личностей XVIII–XIX столетий, даже детская подпись царя-ребенка Иоанна VI (III) Антоновича, 6 писем Мазепы, письмо Кочубея… Всего более тридцати тысяч автографов и восемь тысяч портретов.

Иван Александрович и сам похвастаться здоровьем не мог. В последнее время оно особенно ухудшилось. Способствовали нездоровью трудности с литографией и неудачи в торговле, бесполезные хлопоты о пенсии и многое другое.

Как-то вечером, после особенно трудного и печального дня, Иван Александрович достал пачку писем Богушевского и перечитал их заново и другими глазами. «В коллекциях заграничных и музеях есть много русского, оттянутого у нас из-под носу, покуда мы о наших памятниках древности не заботились нисколько! Назад их уже не вернуть теперь!.. Да й наличных-то ученых у нас ценят только тогда, когда о них заговорят в ученом мире в Германии, Франции либо Англии! В своей стране пророком не быть никому!.. Вы упоминаете о знакомых, рано умерших от гнета крестьянской судьбы, — очень и очень их жаль, и даст бог, их со временем оценят по заслугам, так же, как и нас с Вами. Для этого-то и следует стараться тем, которые еще живут в сем мире, сохранить память о них с тем благочестием, с каким древние христиане сохраняли капли крови тех первых мучеников, пострадавших безвестно за правду. Нам скажут большое спасибо за это будущие поколения, для которых будет иначе менее известно о трудах и усилиях нынешних неоцененных мучеников науки, чем нам известно о доисторических жителях Земного Шара… Очень и очень сожалею, что здоровье Ваше плохо… мне кажется, бог в своей премудрости дал здоров ь е лю-дям посред ств енным и за то лишил их дарований, а~TgX77jnjTopbiM Даровал способности и ум, — оделилТтоль-""ксмжудной долей здоровья и других олаг мира сегоТГу нас ~всё~ёще то же, что оыло 5U лёт томутШадГ—~ хоть бы с великим народным и природным поэтом Никитиным. Будь Никитин из класса хоть бюрократического — и пошел бы в гору, развился бы талант и стал бы великим поэтом, но был он крестьянин — и заглох, умер едва замеченным. Знаете его стихи? Прелесть! вот неиспорченное чувство, вдохновение ничем не подкрашенное…»

ГЛАВА 5 Суздальское торжество

В начале июня 1885 года в Суздале проходило торжество открытия памятника Дмитрию Пожарскому. Голышев выпустил к этому времени монографию «Место земного упокоения и надгробный памятник боярину и воеводе князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому в городе Суздале с 4 таблицами и родословной» и посвятил ее графу Уварову. Суздаль украсился флагами. Массы народа собрались у «обители преподобного Евфимия». Ректор Владимирской духовной семинарии произнес «прочувственное слово». Хор архиерейских певчих порадовал зрителей «строгим и трогательным пением». Потом архиерей и Иван Александрович Голышев вручали гостям голышевское издание о Пожарском. Вечером была устроена иллюминация, «потешные огни», но вот праздничные огни погасли, «в городе мало-помалу водворилась тишина, и прозрачная летняя ночь спустилась над древним Суздалем», — так писал потом в губернской газете о торжествах в Суздале Иван Александрович.

А в письме к директору археологического института Николаю Васильевичу Покровскому сожалел:

«Суздальское торжество у нас скомкали кое-как, по-казенному». Московские ученые и графиня Уварова обиделись, что их даже не пригласили. Не объявили о празднике в газете и для владимирцев. «Не будь моего письма, — писал Голышев, — ничего бы не осталось с воспоминаниями, все было очень семейно и ограничено, многие официальные лица были не приглашены за трапезу, меня тоже не удостоили этой чести, конечно, как маленького человечка, это, впрочем, мелочи, местного редактора ведомостей и того не пригласили; конечно, я не имел в виду ничего и ехал добровольно, мой долг был… почтить память по чувству патриотизма князя… и… по преданности своей почтить память графа А. С. Уварова, моего незабвенного покровителя, за что меня глубоко благодарили в Москве…» Нижегородский депутат А. С. Гациский, доехав до Владимира, повернул обратно, потому что цены за проезд до Суздаля по случаю празднества достигли баснословной цифры. «Все как-то шло неловко», — отметит Иван Александрович.

Свои издания Голышев раздавал в Суздале бесплатно, «за деньги никто не взял ни одного экземпляра, даже и самый монастырь…», о коем была книжка. «Нижегородцы в 1850 годах учредили две стипендии в память Пожарского и Минина, — писал Иван Александрович, — ныне депутация привезла серебряную лампаду к образу могилы, но владимирцы решительно ничего,

только…суздальский голова ограничился очень убогим венком на могилу, так-то мы зачерствели и находимся рядом с Москвой!»

Покровский предлагал учредить во Владимире ученую архивную комиссию, просил Голышева похлопотать об этом. Иван Александрович поговорил с губернатором, архиереем, с другими светскими и духовными лицами и «не встретил должного сочувствия». Отвечали: «Открывайте и действуйте». «Но что же я один могу сделать вдали от Владимира? — писал Голышев. — Везде стремятся… разыскивать и охранять драгоценную старину, а у нас она в каком-то загоне, опустела наша древняя Палестина в любителях дорогой археологии, а статистический комитет после кончины К. Н. Тихонравова и Н. А. Артлебена можно считать номинальным… очень жаль, что и посеянное прежде разрушается…».

Дела с литографией сильно пошатнулись, маленькая сельская печатня не выдерживала конкуренции. В типографии Маркса в Москве завели паровую машину. 75 рабочих днем и ночью печатали один из самых распространенных печатных органов журнал «Нива». А потом владелец типографии приобрел в Германии и скоропечатную машину, которая оттискивала заодно с картинками и текст, кое-где начали применять и электричество.

«Промышленные дела в наших краях как прошлый год, так и нынешний год самые скучные и безобразные, — только и слышатся убытки и безденежье, даже вообще и по кустарному производству», — говорил Голышев.

Иван Александрович болел лихорадкой. Она с детства то и дело трясла его. Настроение было мрачное. Голышев писал своему нижегородскому другу Александру Серафимовичу Гацискому: «…М. И. Семевский сделал мне предложение и вызов написать вторую часть воспоминаний… что мной и составляется; не могу сказать, как я ее окончу, — то немочи, то недосуг бывает помехою».

Несмотря на недуги, Иван Александрович старательно работал над продолжением «Воспоминаний». Анализ прошлого был горестен и сладостен. Он многого достиг, многим нужен, письма идут из разных концов России, чуть не ежедневно почта приносила хорошие отзывы о новом альбоме «Памятники русской старины».

Иван Александрович всю жизнь совершенствовал свое производство, отлаженное уже, казалось, до мелочей. Следил за всеми техническими новинками в Москве и в столице. Однако из-за малых средств мог заимствовать только часть технологических и химических новшеств, и московские литографии становились серьезным конкурентом. Литографические картинки при новом

способе печати, с использованием паровых машин, значительно подешевели. Голышеву с его ручным производством пришлось сократить их выпуск. «…Наше скромное литографское заведение, — писал Иван Александрович, — причислялось к заведениям с громким названием: «с машинами»… одного оброка с меня… взималось 143 р. сер. или 500 руб. на асе. в год». Кроме этого, облагали сборами за повинности сторожевые, подворные, дорожные и другие.

Все эти трудности он описал в «Воспоминаниях». В них он снова говорил о жалкой участи офеней, положение которых год от года ухудшалось, писал о земстве, пиявкой высасывающем средства у крестьян. Досталось в рукописи и богачам-раскольникам. Голышев рассказал, как они закабаляют бедняков, как покупают у священников справки о крещении в православном храме. Только напрасно исписал Иван Александрович этими сетованиями несколько страниц, все их редакция «Русской старины» потом выкинет.

Критически относясь к низкому качеству народных картинок, Голышев размышлял в рукописи, отчего они живучи и по-прежнему любимы народом. Почему разные «учреждения» и «комитеты» не сумели вытеснить «эти нелепые издания»? Потому, отвечал он, что издание лубка идет «без проволочек и всяких стеснительных формальностей и канцеляризма», к которым так привержены всякие комитеты грамотности, заботящиеся о просвещении народа, и прочие «филантропические учреждения», ибо ведут те дело «рутинно, казенным способом, с соблюдением разных формальностей». Вот и получалось, что питают «пищею ум народа» издатели «темные, малограмотные».

Голышев еще в 1860 году предлагал петербургскому комитету грамотности программу постепенного вытеснения из народного обихода Бовы Королевича и Еруслановв Лазаревичей. Он советовал, издавая книжки в том же формате и «в той же обертке», сопровождать их предисловиями, чтобы «опровергать нелепых фантастических богатырей и взамен их вводить исторические личности».

Сам Иван Александрович в 1865 году принял на себя комиссионерство по распродаже синодальных изданий, а также изданий петербургского комитета грамотности. Дело это провалилось тоже из-за проволочек, множества формально» тей.

Получалось, что пока в народе у издателей лубка соперников нет. И если дело Голышева все же шло на убыль, то только потому, что из-за притеснений шло на убыль офен-ство. И холуйские ярмарки стали с тех пор хиреть, потому что держались главным образом на контактах с офенями.

Голышев подробно раскрыл технологические секреты производства народных картинок, рассмотрел современные методы печатания картинок в столичных заведениях.

И московские крупные, сильные фирмы терпели уже тогда давление со стороны заграничных издателей. Не могли русские печатные заведения соперничать с зарубежными уже потому, что бумага в России была гораздо дороже. Пытались наши издатели через правительство обложить иностранные издания пошлиной, чтобы поднять их цену до своих, однако «сила и солому ломит» — москвичам пришлось покориться.

До пятнадцати ручных станков довел Голышев свое хозяйство. Тринадцать мастеров-литографов рисовали на камне и писали литографскими чернилами, буквами навыворот, текст к картинкам. Теперь литография сократилась до шести станков, но Голышев гордился тем, что она продержалась двадцать пять лет, и это тогда, когда взгляд на подобные провинциальные заведения был «самый вздорный». Их не вносили даже в статистику, не решались причислять хоть к кустарным производствам. Однако надзора за ними было немало. Следили местные власти — в лице волостного старшины, урядника, десятского и сотского; наезжие — от исправника до станового и чиновника особых поручений при губернаторе; цензурные комитеты; торговая депутация и чиновники казенной палаты, проверяющие, правильно ли берется установленный пошлинный билет на заведение; земство следило, не увеличивается ли производство и не появляются ли какие-то усовершенствования, чтобы обложить тогда производство большим сбором…

Заканчивал Голышев свою «безыскусственную летопись» так: «Мы живем в такое время, когда труду медленному и упорному, не приносящему скорой и легкой наживы, не дают почти никакой цены; теперь господствует умение создавать путем всевозможных операций дутые денежные предприятия с фокусами и изворотами, приводящими капиталы к быстрому вращению и оборотам и к громадному росту. Литографское же заведение приносит самый умеренный прибыток, требует приложения непосредственного, личного труда и прилежания… поэтому существование литографии может показаться новому поколению явлением крайне диким». Однако же, он запальчиво говорил, видимо, его литография «просуществует до тех пор, пока проживет на земной поверхности ее содержатель…». Он закончил «Воспоминания» в том же 1884 году. На биографию эта вторая часть получилась мало похожей. Скорее это было исследование литографического производства по выпуску лубка второй половины XIX века, социальное осмысление лито-графско-печатного дела в России

тех лет и, связанного с производством лубка, офенства.

В 1884 году Иван Александрович и отослал рукопись Семевскому: «Все, что признаете неудобным или лишним, вычеркните, я распространился довольно о книжной торговле, — думается мне, что этот предмет в народной производительности небезынтересный и который в достаточной степени не был разработан в литературе; но затем все и вся предоставляю Вашему просвещенному усмотрению».

Семевский скоро ответил: «…Статью Вашу «Двадцатипятилетнее бытие деревенской литографии» я получил и по исправлении ее изложения (согласно данному на то Вами раз и навсегда разрешению) помещу ее в „Русской старине"».

Семевский обещал напечатать ее в ноябрьской или декабрьской книжке журнала, но еще больше года рукопись не была опубликована.

Целый год готовился Голышев к празднованию этого двадцатипятилетия. В середине сентября 1885 года пришло письмо от воспитателя наследника престола цесаревича Николая Александровича. Он сообщал, что цесаревич, «обращая внимание на многолетние труды» Голышева по изданию сочинений, «относящихся к русским древностям», изволил назначить ему «единовременное пособие четыреста рублей из собственной его императорского высочества суммы».

Иван Александрович послал императору «Альбом рисунков рукописных синодиков», «Описание могилы князя Д. М. Пожарского» и «Отчет о XXV-летней деятельности».

И министр императорского двора, генерал-адъютант граф И. Воронцов-Дашков сообщал Голышеву, что император всемилостивейше изволил повелеть объявить Голышеву «за это поднесение высочайшую благодарность и вместе с тем пожаловать перстень с сапфиром и бриллиантами из кабинета его величества». О получении перстня и документа он должен был «уведомить канцелярию министерства».

Подарок пришел накануне Нового года. Иван Александрович ходил будто придавленный «высокою милостью»: тихий, молчаливый, задумчивый.

Авдотья Ивановна примеряла перстень, щурила глаза от играющего в гранях драгоценного камня огня, смотрела на мужа ласковыми, любящими глазами, потом молча прижималась к нему: щека к щеке.

«Высочайший подарок» подхлестнул подготовку юбилея. Весть о нем в мгновение облетела всю Мстёру, Вязники, Владимир.

Из Вязников тут же приехали тесть и теща подивиться на

царский подарок.

И с легкой руки государя все полгода до юбилея шли поздравления и подарки. Друзья хлопотали о пенсии, но пришло только «вспоможение», в сумме трехсот рублей.

Петербургское императорское русское археологическое общество присудило ему малую золотую медаль, отмечая его преданность отечественной науке: «многие вещественные и бытовые памятники старины, которые скорее, чем другие, гибнут для науки, сохранены Вами в изображениях и описаниях».

Императорское общество истории и древностей российских под председательством И. Забелина «во уважение юбилея», «полезной и почтенной деятельности по изысканию, описанию и изданию разнородных и любопытных памятников Русской старины» единогласно избрало его в действительные члены.

Императорская публичная библиотека Петербурга избрала в число почетных корреспондентов. Общество любителей древней письменности — в число членов-корреспондентов. Киевское историческое общество «единогласно» — «в действительные члены». Комитет Ростовского музея церковных древностей постановил предложить Голышеву принять звание члена-сотрудника музея. Владимирский и Нижегородский губернские статистические комитеты избрали его своим почетным членом.

В самый канун юбилея пришло сообщение, что «монаршею милостью» по случаю юбилея и «во внимание к долголетним, плодотворным и бескорыстным трудам» Иван Александрович награждается орденом Св. Станислава 2-й степени.

Праздновали юбилей в воскресенье, 8 июля.

Голышевка принарядилась. Дом украсили флагами, а столовая превратилась в музей.

На стене поместили фотографические портреты великих князей, с собственноручными дарственными надписями, и фотографию деятелей и членов Владимирского статистического комитета избрания 8 июня 1861 года и список его, там был и Иван Александрович. Над этой группой висел портрет А. С. Уварова.

Гости осмотрели рабочий кабинет юбиляра, где были выставлены для обозрения коллекции старинных медных досок, с которых печатались лубочные картинки, старинные пряничные формы, кафельные изразцы, шкатулки, подсвечники, кокошники, повязки, полотенца, башмаки…

Много было в тот день сказано юбиляру добрых слов. Духовный отец Ивана Александровича — Руберовский говорил: «Если Холмогоры справедливо гордятся родиной великого ученого Ломоносова, Нижний Новгород гордится родиной

патриота Минина и ученого механика Кулибина… то и Мстёре сравнительно свойственно гордиться родиной Ивана Александровича Голышева, как почтенного самоучки и заслуженного археолога!»

Заслуги Ивана Александровича Голышева давно уже были признаны и отмечены, а он, как долго голодавший, никак не мог насытиться наградами и милостями, жаждал новых и новых, теперь уже мечтал войти в дворянское достоинство.

17 декабря 1886 года Безобразов писал ему:

«Министерство внутренних дел… отклоняет… Вашу просьбу, как к нему не относящуюся. Вообще Вы желаете вещи, совсем и никогда не бывалой. Очень трудно, чтобы она удалась. Я, конечно, всеми силами готов Вам помогать и очень понимаю Ваше желание, но мои силы слишком ничтожны, чтобы устроить такую небывалую вещь.

Мне казалось бы, что после всех наград и поощрений, которые Вы имели от Правительства, и от всех ученых учреждений России, Вы наконец должны бы считать Вашу деятельность оцененною и быть довольны…»

Удовлетворенности и тем более самодовольства не было. «Нелегко как-то живется ныне у нас в провинции, — писал Иван Александрович издателю журнала «Древняя и новая Россия» Сергею Николаевичу Шубинскому, — всюду приписки, всюду партии, всюду по русской пословице «объегоривания», всюду злоба, зависть, ненависть, подлость; я не вхожу ни в какие дела и партии, не вожу компаний с начальством и земством, состоящих в кутежах, азартной игре и разврате, например, в маленьком городке Вязниках продается одних карт свыше чем на 3000 рублей… и это все для земских и юстицких людей…». Тужил, что некому тут высказать то, что наболело на душе, «задавят и проглотят» «беззаконные исполнители закона», получающие солидные оклады и расходующие «беспардонно народные деньги и расхищающие их».

ГЛАВА 6 Последние издания

Соратники Голышева по владимирскому статистическому комитету уходили из жизни. «На земной поверхности остались только мы с Вами от того времени, — писал он Якову Петровичу Гарелину, — все наши сочлены уже перешли в вечность». Портрет группы владимирских деятелей 1861 года висел у Ивана Александровича на стене, и он частенько с грустью смотрел на него. Но и Гарелина скоро не стало. Перед самой смертью он начал переделывать свой дом, сломал давно интересовавшую Голышева старинную изразцовую печь и писал Ивану Александровичу: «Если Вам угодно, то прошу пожаловать ко мне и снять рисунки… Квартировать можете у меня по старинному русскому обычаю».

Голышев тут же отправился в Иваново-Вознесенск. Это была их последняя встреча. «Остался единый и нижайший последыш», — писал теперь Иван Александрович о себе.

Жилось все тяжелее. Иван Александрович прекратил печатать картинки, продавал станки, оставив только один, чтобы печатать литографии для своих альбомов. Распродавал и собственные коллекции старинных печатных досок, деревянных фигурок, русской национальной одежды.

Все силы он теперь отдавал изданию альбомов. Несколько лет назад офеня принес ему рукописный синодик 1746 года. Иван Александрович листал синодик, а коробейник рассказывал:

— Из Вологодской губернии привез. Я по Архангельскому тракту хожу, потом по Устьянской проселочной дороге, что при реке Устье. В ста семи верстах от города Вельска есть село Климовское. Небольшое, двадцать три двора всего, сто семь душ. Так я в то село заглядываю. И про старину спрашиваю. Вот мне ноне и выносит один мужичок. Ране, мол, сей синодик принадлежал Богородице-рождественской церкви. Поди, бывалошная вещица-то? Иван Александрович сразу увидел, что «бывалошная»,

замечательная вещь, с шестьюдесятью четырьмя рисунками, но виду офене не показывал, а то вздернет цену, это офени умели, и уйдет синодик к какому-нибудь старинщику-пройдохе. Иван Александрович тогда же и загорелся желанием издать этот синодик. Но уж больно много рисунков, трудно их было выполнить с больным зрением. Потом он все-таки осилил это дело. Отпечатал сперва рисунки черно-белыми, в узком, удлиненном альбоме «Синодик 1746 года, с 64 рисунками» (1888 г.). Но рисунки много потеряли в черно-белом исполнении.

И через год Голышев выпустил еще «Альбом рукописного Синодика 1746 года», только с 34 листами рисунков, но зато — цветных.

«Здесь выражаются черты самодельщины, — писал Голышев в предисловии, — доморощенного самобытного сочинения, своеобразного, самородного и вместе с этим прелестного старинного народного творчества», «это сокровище староотцовских и дедовских трудов, их сердечных бесхитростных простых преданий сынам своим».

Губернатор Иосиф Михайлович Судиенко, с большим уважением относящийся к Голышеву, разрешил отпечатать текст синодика в губернской типографии бесплатно, только бумагу Иван Александрович доставил свою.

Он весь издержался с изданием новых альбомов, решил попытаться хоть часть их продать, опубликовал в «Историческом вестнике» объявление. «Русская старина», «в уважение» к его трудам, сделала тоже объявление — бесплатно, а оно стоило бы пятнадцать рублей. Но покупателей нашлось немного.

М. И. Семевский, получив альбом с синодиком, писал Голышеву:

«Воспроизведение этого рукописного синодика, действительно замечательного во многих отношениях, выполнено превосходно с присущим Вам знанием и любовью к памятникам отечественной старины. Долгом почту в одной из следующих книг моего журнала дать отзыв об этом н" о-вом подарке, который Вы преподнесли любителям археологии и древней письменности. С совершенным почтением покорный слуга М. Семевский».

Как-то от Семевского пришло письмо с неожиданным вопросом: «Не посетуйте, если Вас спрошу: почему Вас не интересует мое издание? Вот уже 20 лет оно издается, и, если не изменяет мне память, я ни единого раза не видел Вас в числе подписчиков. Дорого ли оно? Или действительно для Вас ничего не заключает в себе интересного?»

Господа не понимали, что средства его невелики. К тому же «Русская старина», хоть и печатала его статьи и заметки об его изданиях, все ж таки была не народным, не популярным изданием. Потому, тратя некоторую сумму на подписку, Иван Александрович выбирал другие журналы.

Как-то совершенно случайно в его руки попало «Родословие от Адама до нынешних времен», посвященное августейшему имени «в бозе почившего».

— Вот это книжица! — радовался Голышев.

— Смотрите, Иван Лёксандрович, — нахваливал находку офеня, — облечена-то в сафьян с золотом. А толщины-то,

толщины-то какой!

Голышев полистал. Сто десять страниц.

— И где же ты нашел ее?

— В Вологодской губернии, Иван Лёксандрыч. Перекупил. Чуть было не уплыла книжица. Знакомый ходебщик встретился мне. Сели у дороги, покалякали, как и что, а он и вынимает из тряпицы: глянь, говорит, какую книжицу я выменял, самому императору, сказывают, посвящалась. Тут я и догадался, что для Вас, Иван Лёксандрыч, эта книжица сущим кладом будет, и принялся уговаривать своего знакомого, чтобы мне уступил ее. Он посопротивлялся, но против цены хорошей не устоял. Так что уж не обидьте, Иван Лёксандрыч.

Иван Александрович сразу понял, какое сокровище идет ему в руки, и решил для себя, что любые деньги отдаст за книгу, но все-таки поторговался с офеней.

Коробейник ушел, а Иван Александрович принялся изучать находку. Восемьдесят пять лет странствовала книга по разным землям. Само сочинение сохранилось в целости, а уголки поистрепались, поискрошились.

Но книга — царская и должна быть на царском столе, думал Иван Александрович.

Через некоторое время он уже сочинял сопроводительное письмо монарху. Говорил в письмах с августейшими и знатными особами Иван Александрович часто однотипно, имея запас церемониальных слов, с которыми подобало обращаться к ним, и почти все письма начинал одинаково.

Мечтал Голышев, заплативший офене солидную сумму за «Родословие…», с лихвой вернуть затраченное, потому намекал в письме императору на ограниченные средства свои. Александр III не поскупился, вскорости прислал Голышеву за подарок булавку, украшенную драгоценными камнями.

В 1891 году Голышев выпустил новый альбом: «Сборник русской старины Владимирской губернии», с пятнадцатью рисунками.

Закончив «Синодик» и «Сборник русской старины», Иван Александрович писал губернатору Иосифу Михайловичу Судиенко: «…И кажется, это будут мои последние издания, с прискорбием и грустью на душе, м. б., придется сказать, моя песенка спета, заведение едва ли придется тянуть, и скрепя сердце вынужден буду прекратить, жизнь изменяется так, как и не ожидаешь, а по совести нужно сознаться, что все это тяжело и горько отзывается в глубине души, и приходится покоряться обстоятельствам, вызванным не от себя самого, а какими-то неведомыми жизненными колебаниями…»

В марте 1892 года умер Михаил Иванович Семевский, редактор и издатель «Русской старины», последний покровитель Ивана Александровича Голышева. Голышев написал воспоминания о Семевском и послал их новому редактору Николаю Карловичу Шильдеру.

А вскоре умер от рака муж Серафимы, воспитанницы Голышевых, священник отец Иоанн, Иван Крылов.

У них уже было трое детей. Старший Александр только что уехал учиться в Москву. Лидочке было шесть лет, а Сереже только три. Серафима Александровна была в отчаянье. Почти в беспамятстве хоронила она мужа в Москве, где он умер в больнице. Ей было едва за тридцать. И вот — вдова с тремя детьми.

Лидочку Голышевы оставили у себя, воспитают ее до взрослости, выдадут замуж.

У Ивана Александровича появились новые, молодые друзья, можно сказать, поклонники.

Владимирский врач-библиофил А. В. Смирнов писал Голышеву: «Во Владимире прошел слух, что Вы очень серьезно больны… Избави Бог… Вам еще надо жить… все больше и больше восторгаюсь Вашими атласами — изданиями по древности. Жаль, что у меня не все Ваши издания: достать и другие теперь трудно».

Из Петербурга писали, что теперь альбомы Голышева можно купить только по очень дорогой цене, с рук.

Узнав, что у Голышева была переписка с Семевским, Ровинским и другими видными деятелями, тот же Смирнов уговаривал Ивана Александровича опубликовать письма: «Как же Вам не грех все это хранить под спудом…»

В Голышевку проездом заглянул энциклопедист Евгений Францевич Брокгауз с намерением поближе познакомиться с Иваном Александровичем и написать о нем статью для энциклопедического словаря. Он привез новости. В Москве, прямо в Думе, совершено покушение на городского голову. Градоначальник так плох, что его боятся перевозить, операцию делали прямо в Думе.

Два года оставалось Голышеву до смерти, а он был полон замыслов, неутомим в поисках старины и опять и опять спешил поделиться находками со всеми. В 1894 году вышла новая его работа «Стих о злой траве Ших». Это была народная переделка славянских поучений о злых женах. Под словами «ших трава» подразумевались грехи прелюбодеяния — прельщение, соблазн. Рукопись была найдена случайно в одном из мстёрских переулков. Сначала Голышеву попалась половинка листа, старая, помятая. Текст заинтересовал Ивана Александровича, он стал

искать далее, нашел вторую половину, а потом уж не жалел времени на поиски и в домашней рухляди мстёрского иконника, среди разных лоскутков, отыскал всю древнюю рукопись.

Графиня Уварова, получив новое издание Голышева, попросила прислать в археологическое общество все ранее изданные. «Как?! — удивился Иван Александрович. — Я же все посылал, все до единого». Мало того, в 1882 году, после художественно-промышленной выставки, он все, что привозил в Москву, оставил в обществе. И вот все это богатство растащено. То же произошло и во Владимире. Иван Александрович с горечью писал издателю журнала «Древняя и новая Россия» Сергею Николаевичу Шубинскому: «…во Владимирском статистическом комитете… буквально все расхищено, и я слышал достоверно, что мои альбомы таскали канцеляристы, продавали, а более отдавали за угощения или магарычи, таким же образом погиб и музей древностей, но это провинция, а столица — страж археологии… я обещал графине, что постараюсь пополнить и час-тию отослать… а по правде сказать, некрасиво, и не делает чести обществу, пожалуй, и охладится охота у некоторых лиц к жертвам, если узнаются подобные вещи, но ради Бога пусть это будет секретом…»

В 1895 году Иван Александрович выпустил брошюру «50 лет книжного и картинного производства И. А. Голышева». Она подводила итог прожитому и сделанному.

Он все больше хворал. Летом во время купания с ним приключился удар. Отнялась левая половина тела и правая рука. Иван Александрович долго лежал в постели, потом поднялся. Хотелось закончить начатый новый альбом «Рукописная повесть о видении Косьмы-игумена, 1688 года».

За неделю до смерти он писал Георгиевскому: «…здоровье мое незавидно… пишу теперь с большим трудом… перо еле держу, что грустно и досадно, хотелось бы докончить последний альбом по археологии… рисунки все давно готовы… дело стало за одним текстом, — и бумага для него уже лежит в амбаре. Во время разгара болезни я поручил жене просить Вас в случае смерти моей докончить начатое дело — написать предисловие изъяснительное к тексту рукописи и издать… но теперь думаю, что исподволь и сам допишу…»

Повесть о видении Косьмы — духовная повесть, была она одной из самых любимых народом, часто переписывалась и много читалась.

Иван Александрович увлекся работой, и казалось, начал поправляться. Но вдруг ему резко стало хуже, он впал в беспамятство и 9 декабря 1896 года, на пятьдесят девятом году

жизни, скончался.

Последний альбом был издан уже без него. Посмертно в С.-Петербурге вышел подготовленный Иваном Александровичем в двух книгах-выпусках первый том задуманного им двухтомного собрания сочинений.

И хотя давно нет замечательного голышевского сада, а там где был дом, стоит современное здание детского сада, Местечко по-прежнему зовется в народе Голышевкои.

Тень недоверия пала и на личность Ивана Александровича Кто-то задним числом увидел в нем сходство с некрасовским купцом-выжигой из «Кому на Руси жить хорошо» Имя Ивана Александровича Голышева выпало из энциклопедических словарей. Произведения его ни разу не

Шдоˆастоящего времени его исследования по мстёр-ским ремеслам, лубку, офенству, крестьянскому быту являются уникальными и непревзойденными.

Авдотья Ивановна Голышева после смерти мужа совсем прекратила литографское производство и книжную торговлю.

Она надолго пережила мужа, умерла в двадцатые годы нового столетия. В период раскулачивания, — а в мастеровой, зажиточной Мстёре раскулачено было около трехсот семей, — когда Авдотье Ивановне было уже за восемьдесят, она испытала притеснения местных властей и писала в Вязниковский исполнительный комитет:

«Дожив до светлых дней, дней народного правления, я надеялась дожить спокойно остаток дней своих. Но благодаря неправильному пониманию декретов центральной власти или злому умыслу некоторых личностей, состоящих на народной службе, губящих основы своего государства, подрывающих доверие своими необдуманными поступками к настоящему правительству, терплю незаслуженные нападки…».

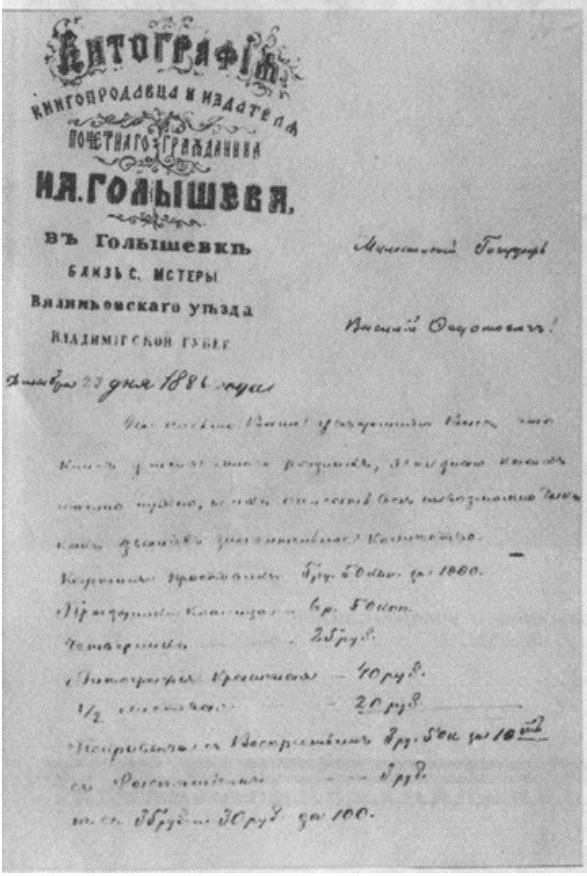
Притеснения прекратили. Но она, чтобы вновь не попасть в беду, продала большой дом и доживала очень скромно, существуя только за счет коровы.

Дом простоял до семидесятых годов, а березовая роща, значительно поредевшая и состарившаяся, еще жива.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

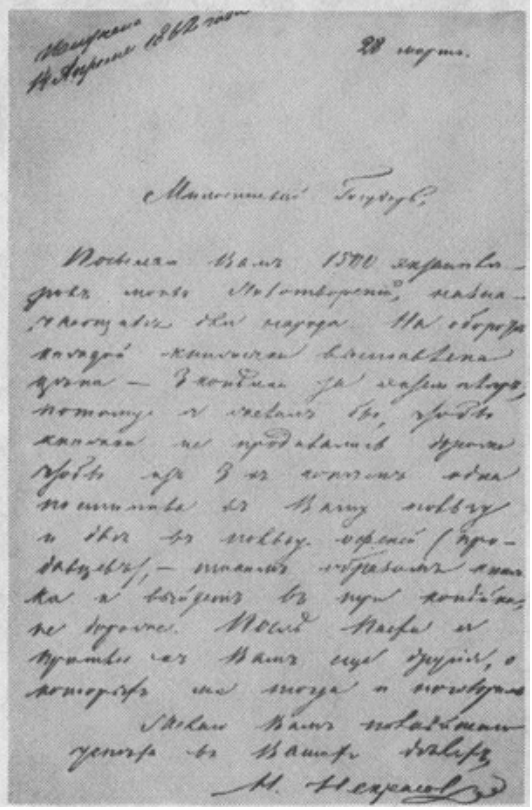
ИЛЛЮСТРАЦИИ

Дом И. А. Голышева
в Голышевке, близ Мстёры



Эмблема литографии Голышевых и автограф И. А. Голышева

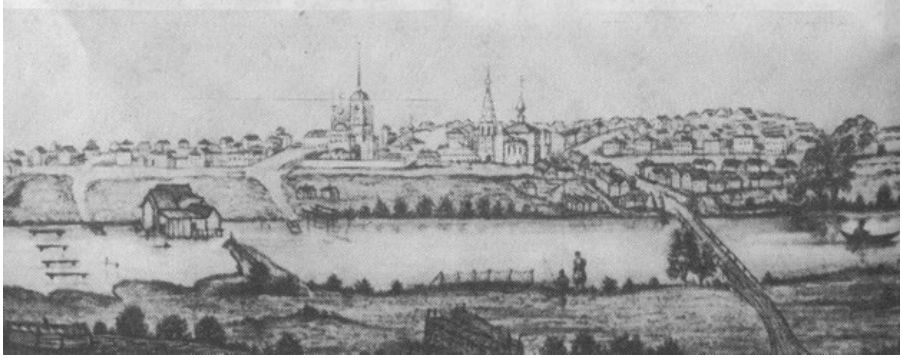
Константин Никитич Тихонравов



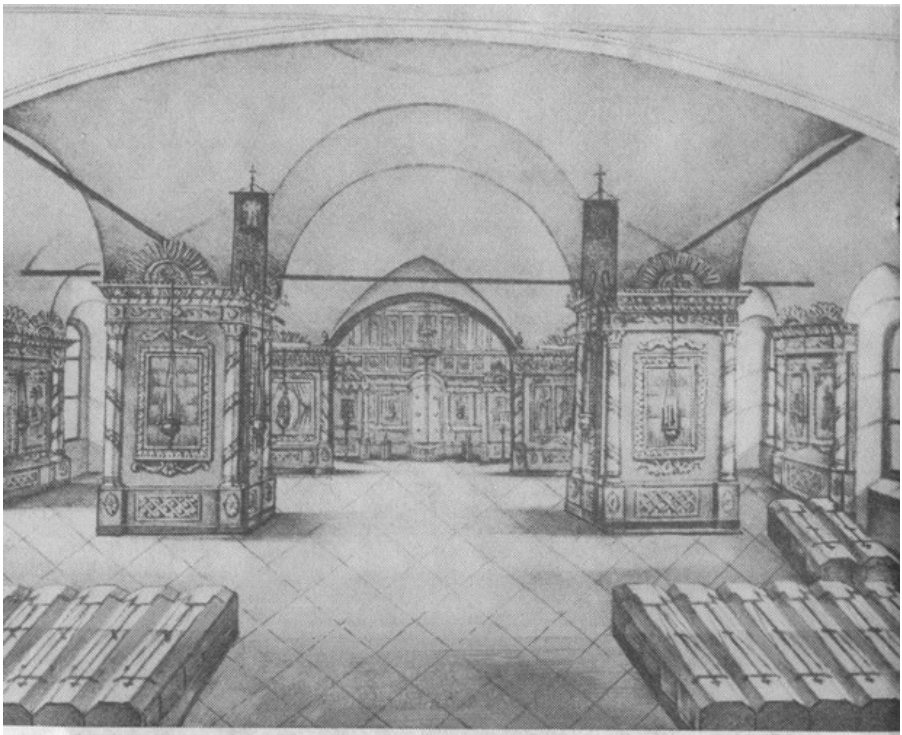
Письмо Н. А. Некрасова Голышеву

Владимир Александрович Борисов

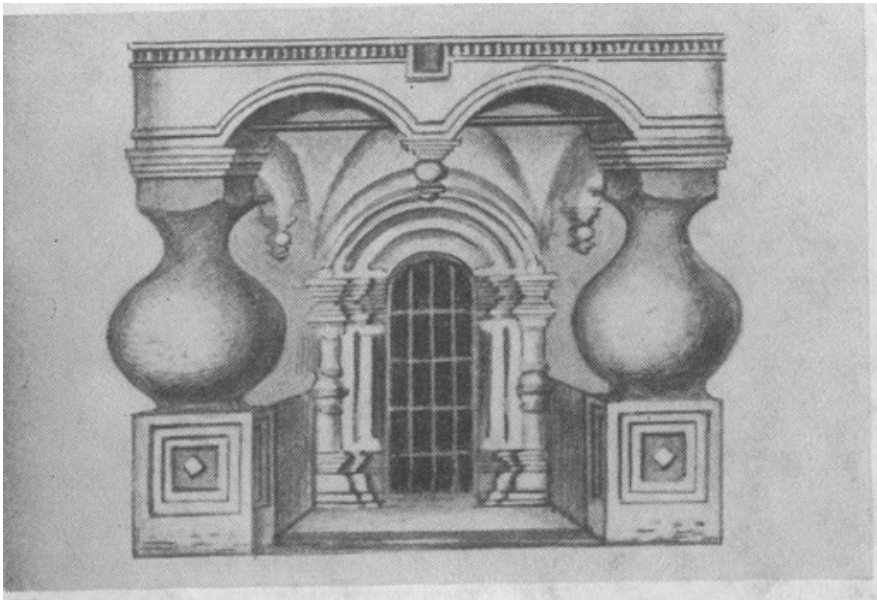
Вид Богоявленской слободы
Мстёры



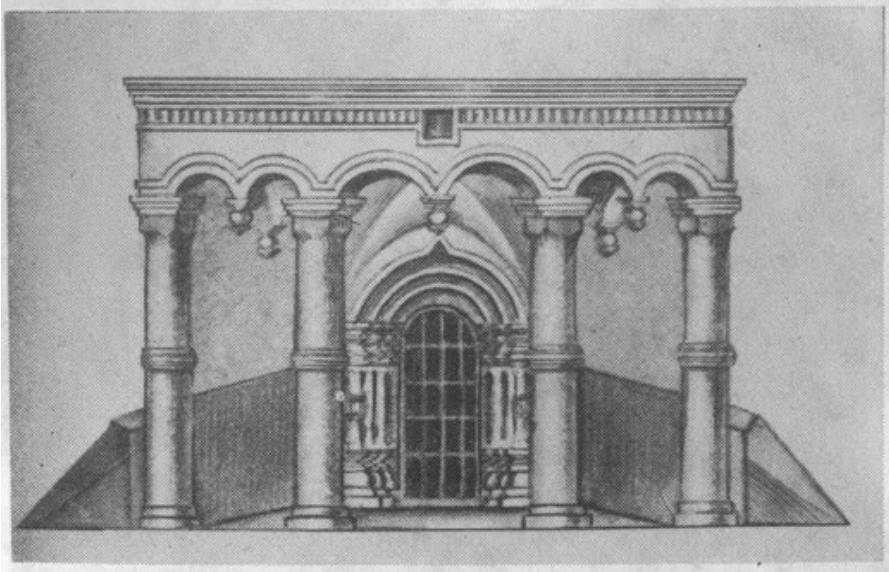
Вид церкви Богоявления Господня во Мстёре

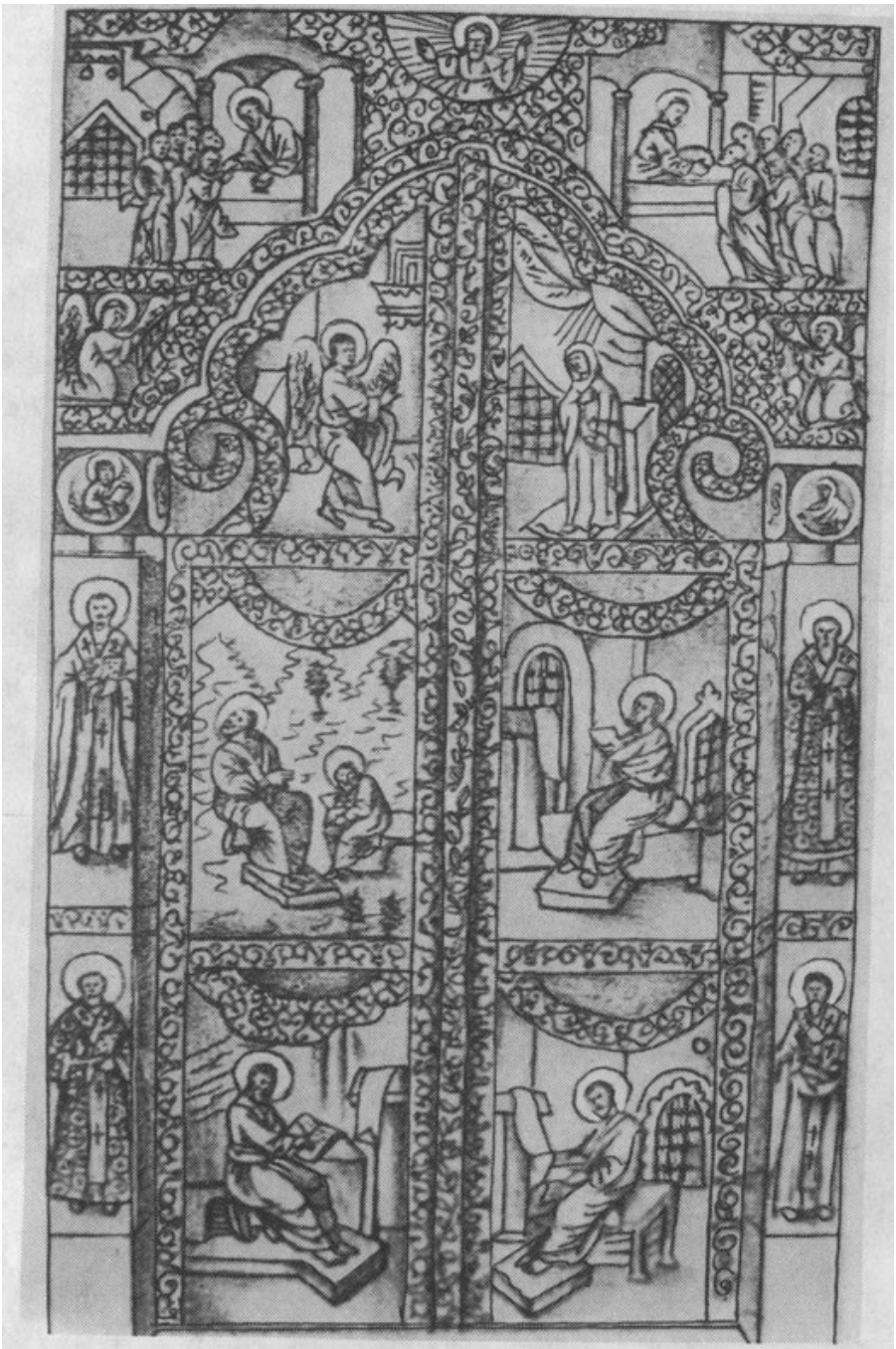


Внутренний вид церкви Богоявления во Мстёре с гробницами князей Ромодановских



Паперти Богоявленского храма

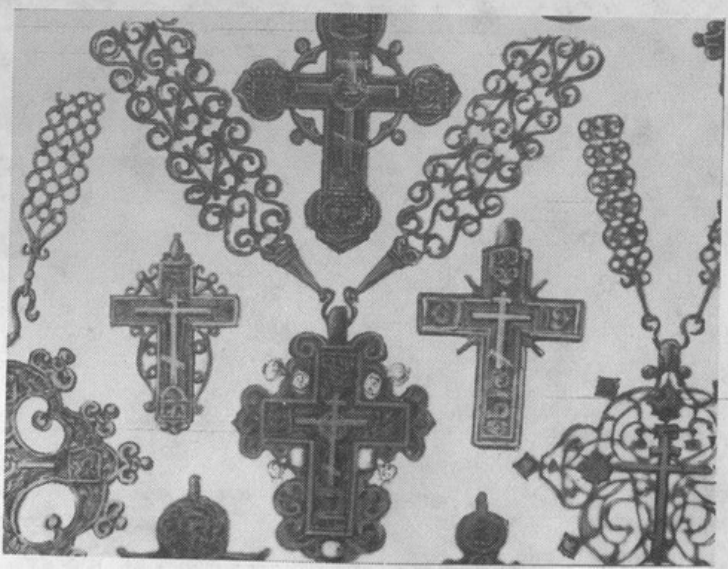


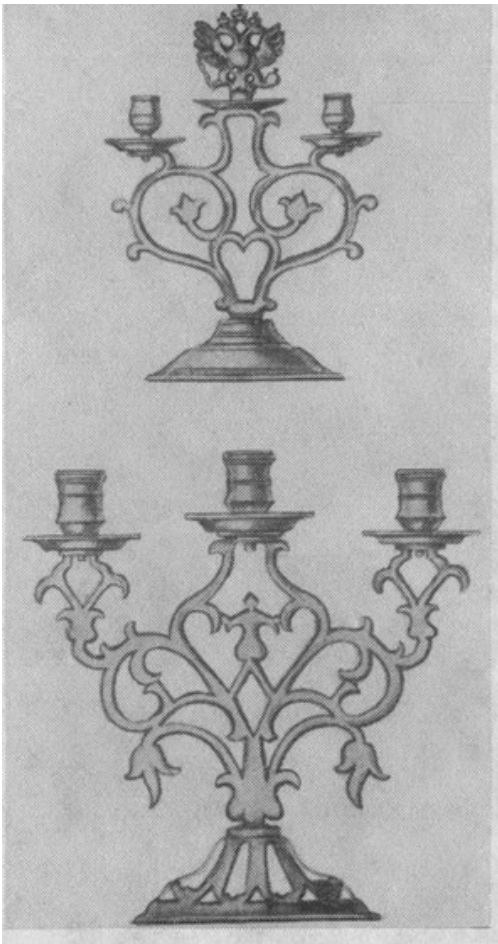


Церковные двери во Владимирской церкви слободы Мстёры

Владимирская икона Божьей Матери, вышитая шелком, жемчугом, золотом, серебром и разноцветными камнями в церкви Богоявления Мстёры

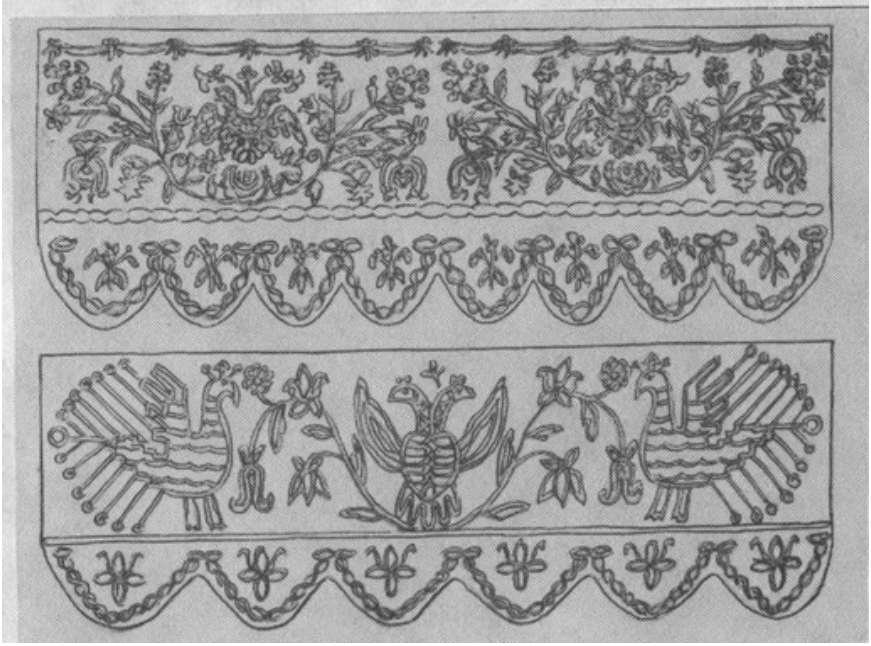
Серебряные тельные кресты





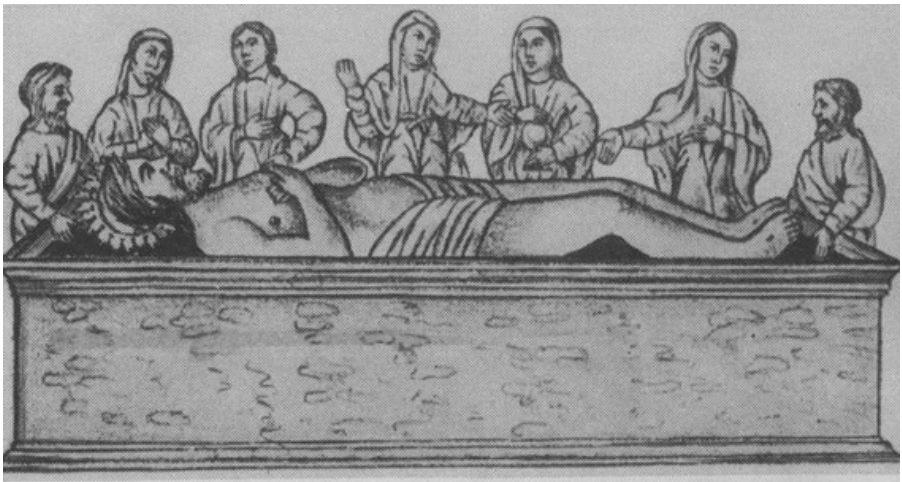
Медные домашние подсвечники

Полотенца



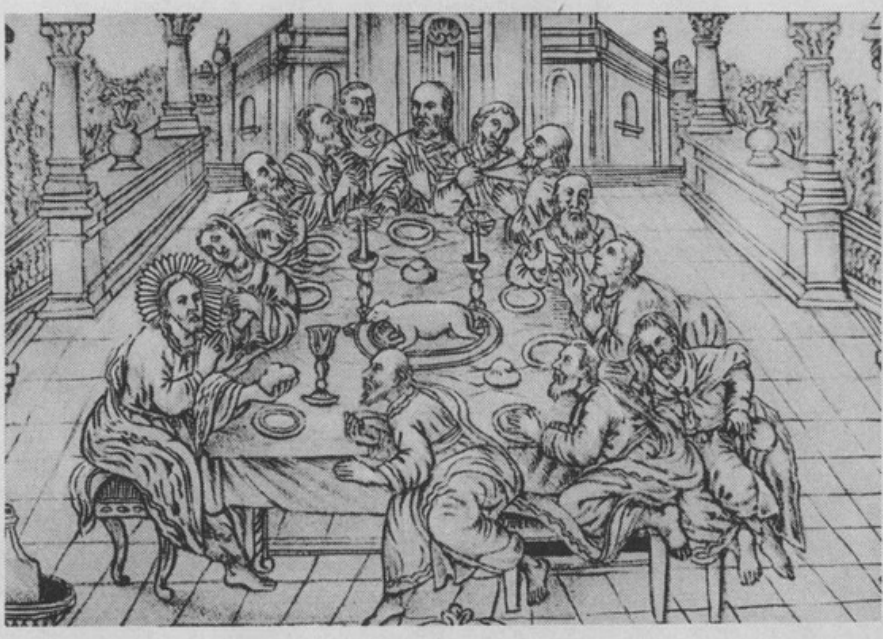
Вид церкви во имя Владимирской Пресвятой Богородицы во Мстёре

Единоверческая церковь во имя Троицы во Мстёре



Плащаница из Богоявленского храма Мстёры

Тайная вечеря. *Резная на кости икона*



Резной на дереве образ святого князя Владимира

Резной на кости медальон с профилем Петра III и Елизаветы Петровны

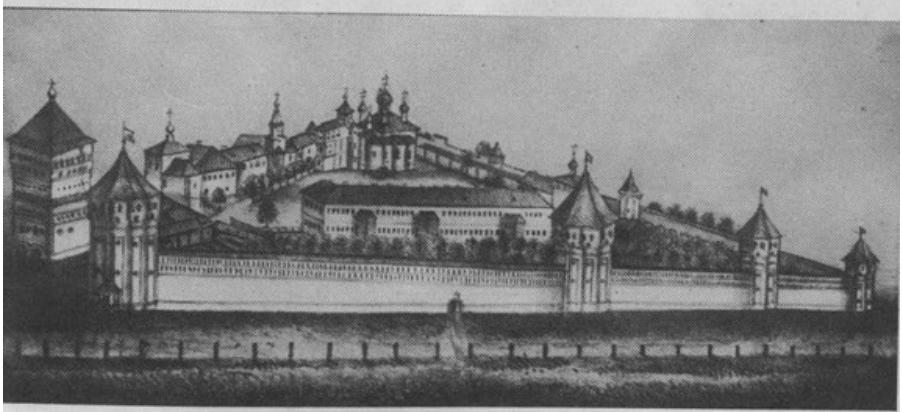
Древняя плащаница, вышитая золотом, серебром и разных цветов шелком

Памятник на могиле князя Дмитрия Михайловича Пожарского

Погост архидьякона Стефана Вязниковского уезда

Великомученик Георгий

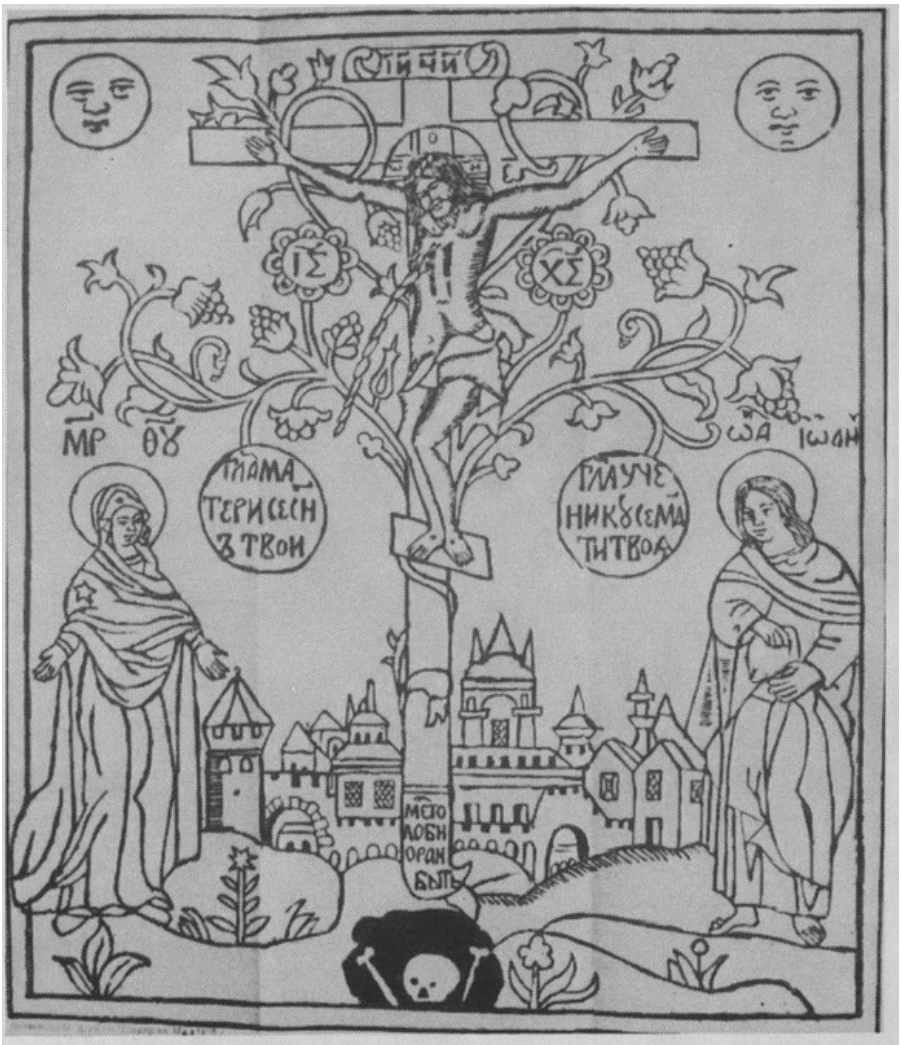
Спасо-Евфимьевский монастырь в Суздале



Серебряная дробница

Древний воздух, вышитый золотом, серебром и разных цветов шелком

Апостолы Петр и Павел. *Резная на кости икона*



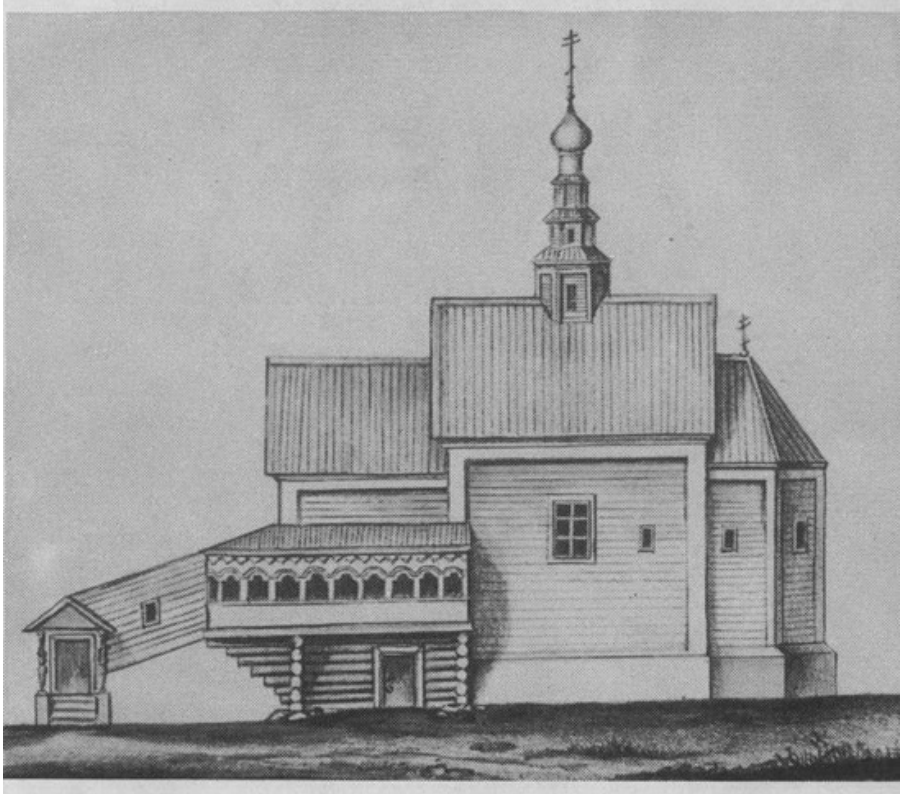
Распятие Христово. *Лубочная гравюра. Оттиск со старинной деревянной доски*

Медный поднос 1755 года

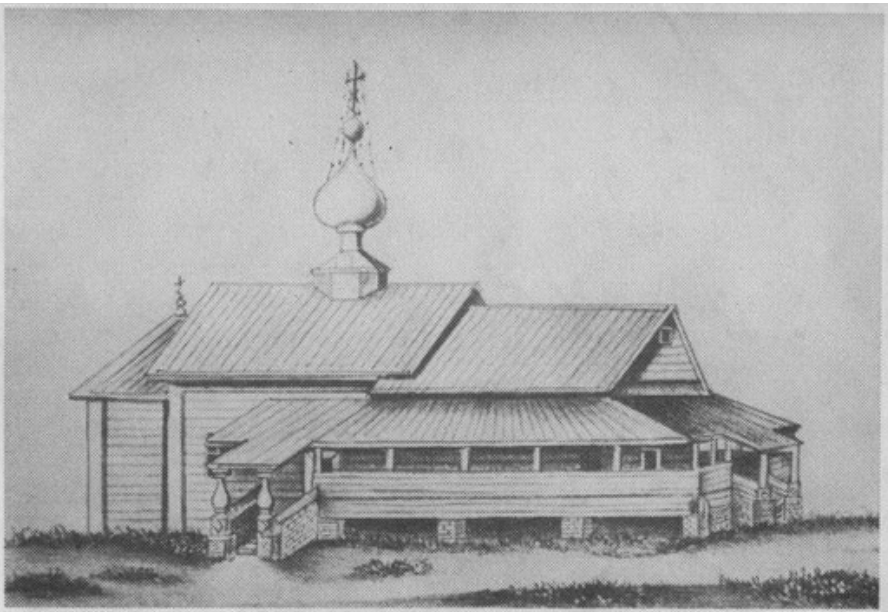
Иисус Христос в багрянице. *Лубочная гравюра. Оттиск со старинной деревянной доски*

Теплый храм во имя святых 12 апостолов в селе Станки Вязниковского уезда

Церковь во имя архистратига Михаила в селе Драчево Меленковского уезда

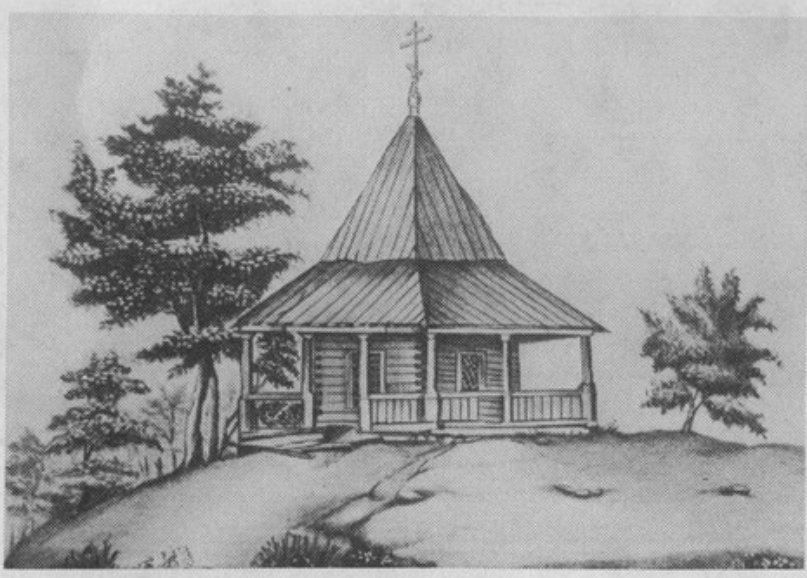


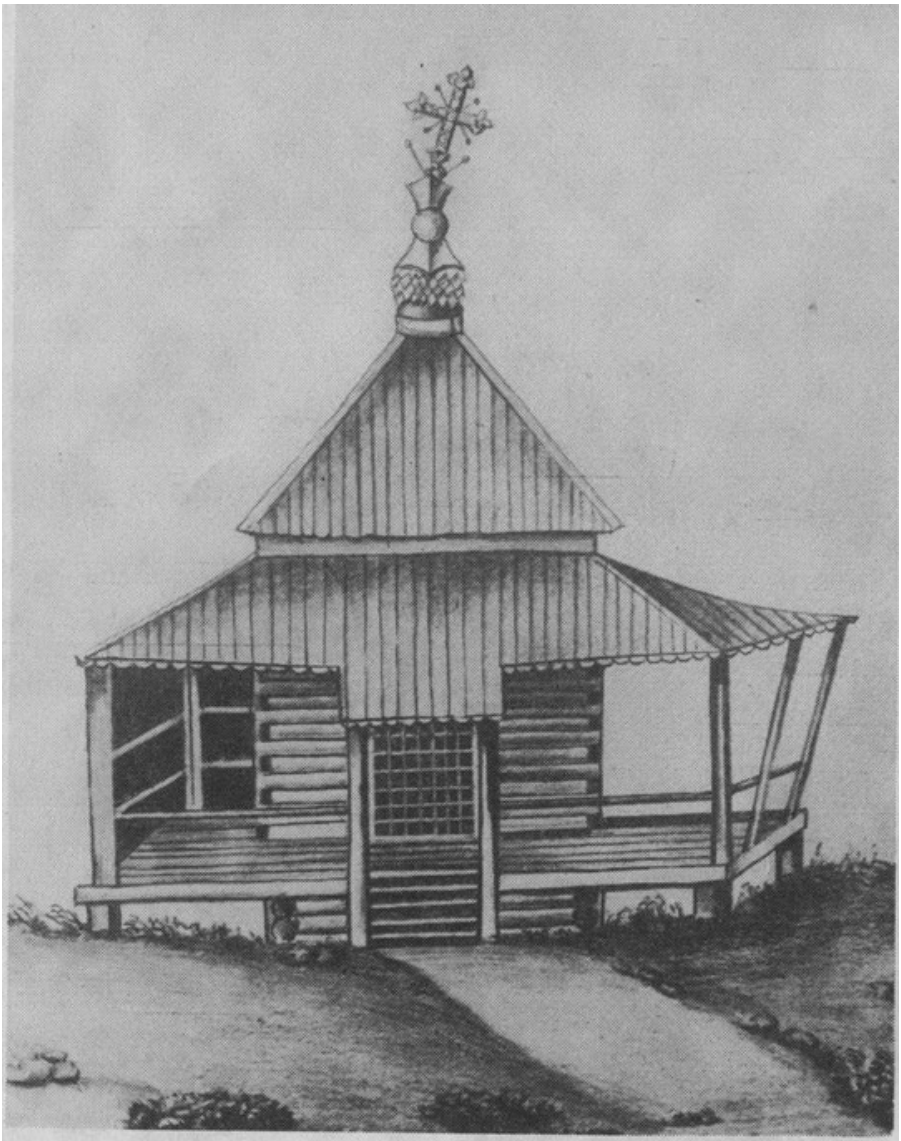
Церковь в погосте Спас-Купалищи Судогодского уезда



Церковь во имя пророка Ильи, близ села Карачарова и города Мурома

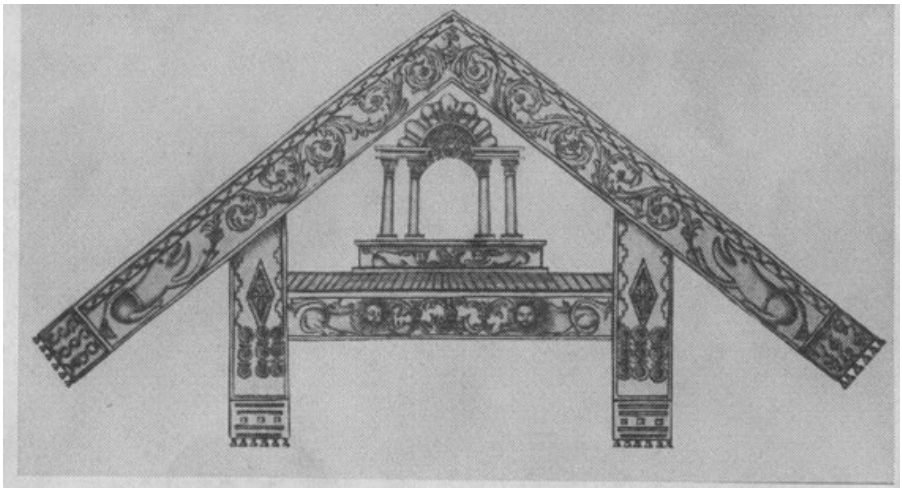
Убогий дом в Вязниках



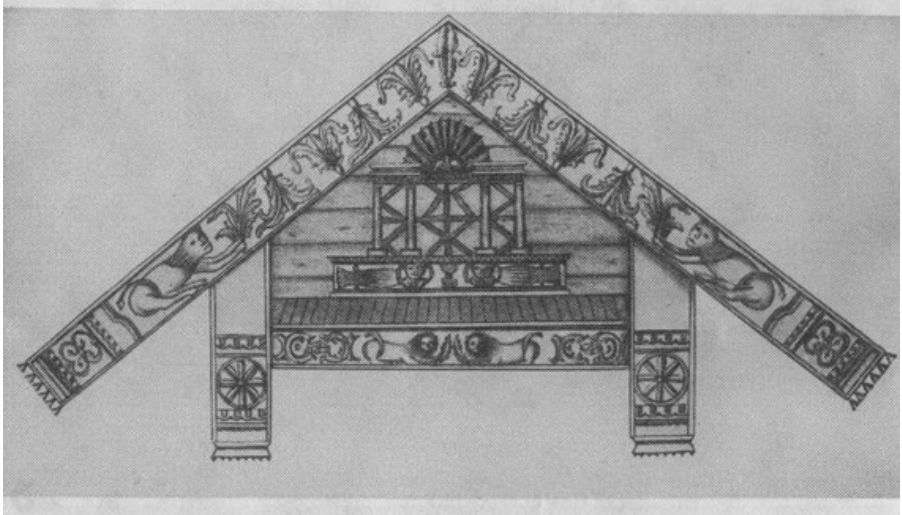


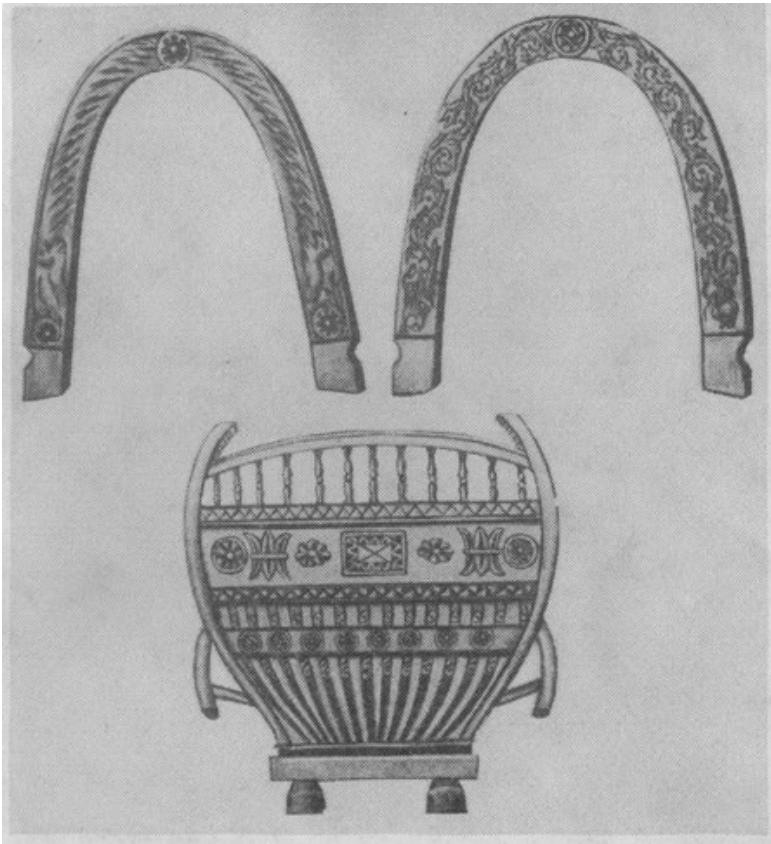
Часовня близ Мурома, бывшая на месте, где лежало извергнутое из города тело святого князя Михаила, убитого муромцами в 1192 году

По владимирскую клюкву. *Лубочная картинка.*



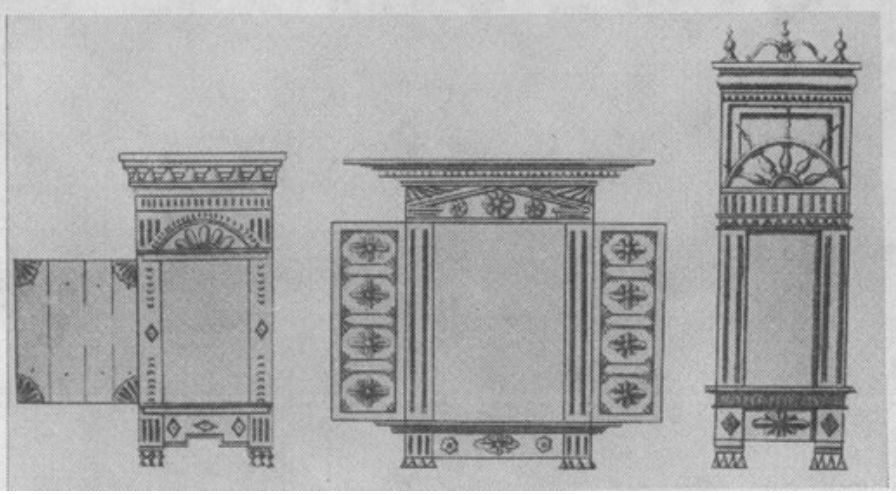
Старинные резные деревянные украшения в крестьянском доме слободы Холуй Вязниковского уезда

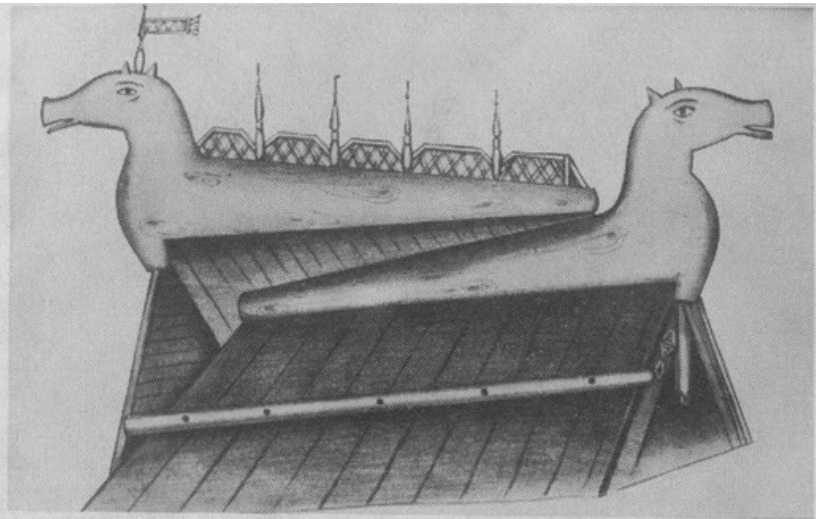




Резные сани и дуги

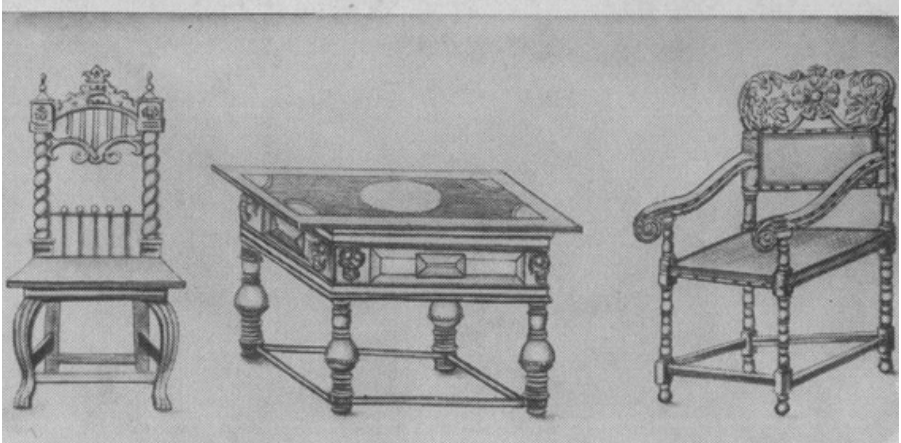
Старинные деревянные украшения с домов в Холуе





Коньки на крестьянских крышах с домов в деревне Михеево Ковровского уезда

Дубовые стул, стол и священническое кресло в слободе Мстёра

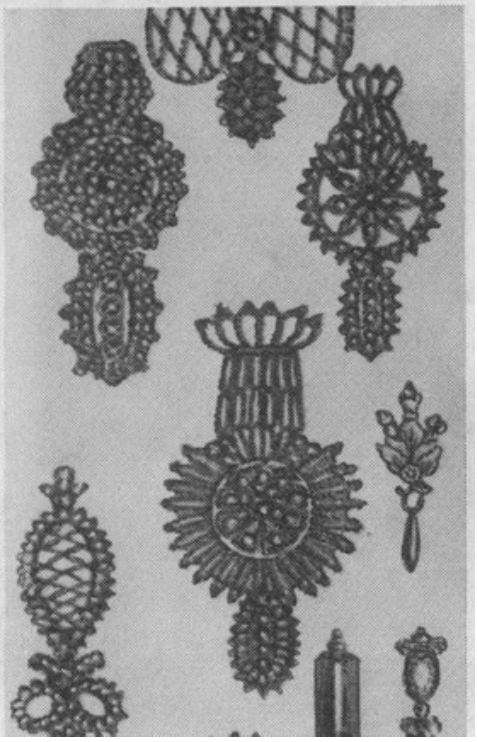


РУКОПИСНАЯ ПОВѢСТЬ
ШКИДЖНИКОСМЫ ИГУМЕНА
ДАХБИ
Составилъ и издалъ И. Голышевъ.
Дѣйствительный Членъ Императорскихъ Обществъ Исторіи и Древностей Россійскихъ, и Московскаго Археологическаго, Членъ Сотрудникъ С. Петербургскаго Археологическаго, Любителей Древней Письменности, Соревнователь Историческаго Музея и другихъ.
Голышовка.
Близъ Слободы Жестеры,
Владимірской губерніи, Вязниковскаго Уѣзда.
1896.

Заглавный лист рукописной повести «Видение Косьмы-игумена» в издании И. А. Голышева

Заглавный лист самой повести о видении Косьмы-игумена

Древний храмовый образ Богоявления Господня



Серьги

Икона «Двенадцать лихорадок»